





НОВИНКИ-СОВРЕМНИКА

---

Геннадий Пациенко

Кольцевая  
дорога

Повести  
и рассказы

«Современник»  
Москва  
1983

Р2  
П22

**Пациенко Г. Б.**

**П22** Кольцевая дорога: Повести и рассказы.— М.: Современник, 1983.— 272 с.— (Новинки «Современника»).

В книгу московского писателя Геннадия Пациенко вошли рассказы, основная тема которых — земля, труд, забота об охране природы, а также повести «Кольцевая дорога» и «Высокий день» — о труде и исканиях молодого рабочего.

П 4702010200—149  
М106(03)—83 47—83

**ББК84Р7**  
**Р2**

# Кольцевая дорога

Повесть

## 1

На последнем занятии в строительном училище шел разговор о предстоящей практике. Вел его сам директор, Виктор Петрович Сергин. Были в классе и завуч Евгений Долгановский, и мастер штукатурной группы Юрий Щербаков.

Жившие когда-то в одной деревне Игорь Божков и Антон Камышкин сидели рядом. Началась беседа давно, явно затягивалась, и Игорю Божкову больше думалось о своем.

Вспоминал он зимнее томительное ожидание в город уехавшей матери. Отдаленные гудки поездов весь день держали его в напряжении. Если спустя час после мягкого шума почтового матери не было, Игорь ждал уже вечернего пригородного. Обычно мать привозила из города самые неожиданные вещи. Однажды она купила пластинку, и Игорь мигом поставил ее на диск радиолы:

Однозвучно гремит колокольчик,  
И дорога пылится слегка-а-а...

Тоска и сердечность заворожили занесенный снегом дом. Песня напомнила Игорю старинную цветную открытку, которую нашел он в книге: в летнем предвечерье возвращается откуда-то на пустом тарантасе кучер, вероятно отвозивший хозяев. Он задумчиво слушает бречание колокольцев под дугой лошадей, проникаясь раздольем и закатной степной тишью...

Вспомнилось и как ездил мальчишкой в город.

Мать взяла его с собой — старшего из сыновей. У вокзала, торопясь в конце дня к поезду, они очутились на середине дорожного перекрестка, с двух сторон сжатые, стиснутые скрежетом шедших впритык трамваев, а за ними, почти так же впритык, напористо двигались двумя колоннами МАЗы, КраЗы, «Запорожцы», «Жигули», «Волги»...

Пятачок асфальта, на котором стояли Игорь и мать, показался им уходящей из-под ног кочкой. Если бы они решились покинуть ее, оба попали бы под колеса.

Они стояли и ждали, оглушенные чадящей вереницей автомобилей. После Игорь ощутил тошноту и озноб, долго лежал на вокзальной скамье. Надышавшись пылью и выхлопными газами, он выглядел бледным, измученным.

Оттого и беспокоился обостренно, по-детски за мать, когда уезжала в город: как бы не случилось чего недоброго.

С нетерпением поджидал он всякий раз ее со станции, держась обычно вблизи дома.

Весело горел над деревней месяц, когда наконец проникали в отдалении голоса. Игорь различал среди них материнский и радостно бежал навстречу.

Немало минуло времени с тех зимних ожиданий, а помнятся и тревожат они Игоря Божкова и поныне.

И город, тот самый, куда ездила мать, для него сделался сейчас столь же близким, как и родное селение. Он стал даже чем-то дороже, вероятно тем, что в нем подружился Игорь с девушкой, о которой думал сейчас с таким же трепетом и волнением, с каким думал в детстве о матери.

И, удивляясь, пугался даже этой одинаковости отношений, этого чувства беспокойства за свою мать и знакомую девушку.

Вот и сейчас, сидя в учебном классе, думал он о них: о матери, представавшей ему в зимнем, далеком теперь уже прошлом детстве, и о Миле, летом кончавшей школу, а теперь ждущей его неподалеку от того перехода, где когда-то пропускал он машинный поток.

Сквозь открытую форточку в класс проникали запахи молодого тополя и березы. Игорь Божков уже запомнил эту волнующую в жизни приметку: перед щедрым началом лета обострялся запах молодой листвы и зелени, отчего кружилась голова и хотелось сделать что-то очень хорошее. Затихали огорчения, мелели неудачи, и мир представлялся голубым и счастливым. Таким виделся он и сегодня — накануне практики.

Быстрее бы вырваться и бежать к Миле, которая должна ждать его неподалеку от училища. А то рассердится и уйдет. Время еще было, только бы не задержал, не погасил и не отнял бы эти минуты ее отец — директор училища Виктор Петрович Сергин. Как нарочно, затягивал он разговор о летней практике, неторопливо расхаживал по учебной комнате. Заложив за борт пиджака руку, Сергин поучительно рассуждал:

— По преданию, в древней Спарте существовал обычай. Когда малышу исполнялся год, для него раскладывали на полу различные вещи и вели затем в комнату, наблюдая, к чему он притронется. Если касался серпа — быть ему хлеборобом, сидился поднять меч — суждено стать воином, ну а если хватался за молоток, верили — выучится на ремесленника...

— А кельмы там не было? — раздался с последнего ряда басовитый голос старосты Вальки Павлихина.

Оживленный смешок всколыхнул ребят. Рассмеялись не одни они, а и сам директор, и завуч, и молодой мастер Юрий Щербаков, сидевший здесь же, — кельмой звался штукатурный мастерок. Вопрос Павлихина, несомненно, был с подковыркой: по убеждению Вальки, не найти худшей работы, нежели штукатурная, где только и знаешь, что без конца бросаешь да лепишь по стенам. И выпадала она, считал Валька, тем, кто не нашел себе лучшей доли, кроме как пойти в строительное училище. Валька не скрывал, что поступил в училище без охоты, и был уверен, что с тем же настроением оказались в ПТУ и другие ребята.

— Вероятно, имели греки и кельму, — рассудил Сергин. — Инструмент как-никак древний, им возводили здания сотни, а то и тысячи лет назад. Вполне допустимо, что в древней Спарте, в числе прочих предметов, малышу клали для знакомства и кельму.

— И хватался он за нее?

— А почему бы и нет? Разве вы сами, Павлихин, не тянетесь часто к тому, что вам нравится?

— В основном к девочкам, — сострил неуклюже Валька.

И Сергин умолк в осудительной тишине. Юрий Щербаков даже поднялся, с укоризной оглядывая своих подопечных и словно бы ожидая поддержки. Павлихина, с его привычными домоганиями и вопросами, отнимавшими время и у товарищей, и у преподавателей, и в особенности сегодня, когда Игорь Божков сидел как на иголках, самые смелые из ребят, случалось, одергивали. Игорь и теперь возмутился первым, шепотом бросив старосте: что-де хватит валять дурака. Многие из ребят поддержали, но староста и бровью не повел — никто не запретит человеку спрашивать, если непонятно.

— Тогда как же получается, — с показной наивностью продолжал Валька, грузно и нехотя встав, тем самым подчеркивая серьезность своего вопроса, — вот нам говорили, что в те древние времена для греков все строили рабы, так

зачем же им показывать малышу кельму, если все равно ею не пользоваться?

И ребята, и преподаватели быстро усекли Валькины намерения: хотелось ему беседу о предстоящей практике обратить в словесный поединок, чтобы показать, какой он бедовый и смелый. Сергин спокойно сказал:

— Садитесь, Павлихин. Я ваш вопрос понял, постараюсь ответить на него. Профессий на земле появилось столько, что вряд ли кто и знает их точную цифру. И найти среди них свою, единственную, довольно непросто. Но есть профессии основные, наиболее важные, необходимые, без которых людям не обойтись. В их числе и строительные. Выбирая дело, человек познает себя. Специальность иногда приобретается путем «проб» и «ошибок». Не удивляйтесь, Валентин, это естественно. Возможно, что кроме основной специальности вам приглянется на практике и другая, постараемся помочь приобрести и ее. Однако экзамен каждому придется держать по тому делу, которому он учился. Просил бы об этом помнить.

«Ну хватит же, хватит!— хотелось крикнуть Игорю.— Все, собственно, ясно!»

Терпение Игоря Божкова было на пределе. Директор говорил обычное, то, что они слышали от него перед каждой практикой.

Сказать по совести, Игорь подозревал, что и сосед его, Антон, слушая беседу, в эту минуту думает не о практике, а о шустрой и кареглазой, оставшейся после школы дома Светке Сапожниковой, не замечавшей застенчивое ухаживание смуглого молчуна Антона Камышкина, с которым ходила в школу. Антон упрямо надеялся на дружбу со Светкой, но говорить об этом не рисковал даже со своим другом Божковым.

Директор умел держаться и разговаривать и как отец, и как старший товарищ, которому хотелось и подражать и верить. Завуч Евгений Григорьевич Долгановский и мастер Юрий Щербаков слушали директора с не меньшим вниманием, нежели пэтэушники. Долгановский легонько постукивал по столу сухими костистыми пальцами, Щербаков же простодушно смотрел на тщательно выбритое, худощавое и оттого строговатое с виду директорское лицо и время от времени что-то записывал.

Но вот перешел Сергин к главному, и Игорь оживился, угадав близкий конец беседы. Только не полез бы никто к директору с вопросом.

— Вам предстоит отделять не простой жилой дом, а в определенном смысле памятник архитектуры. В его вестибюле вы найдете красочные витражи, оригинально облицованные под березу двери, обновленные шахматные полы, глядя на которые невольно захочется вытереть ноги. Пусть и ваша работа вызывает такое же удивление, делайте все красиво и прочно. Помните, красота воспитывает благородство...

— А где расположен дом?— спросил кто-то.

— Рядом с вокзалом, недалеко от училища. Можете сходить посмотреть.

— Тот, который с силачами?

— Не с силачами, а с атлантами.

— Вот домина! На зависть каменщикам...

Вопросов больше не задавали. Все зашевелились, и Долгановский жестом потребовал внимания. Долгановский был с модной шкиперской бородкой, рыжевато-темной, с сединами по краям.

— Виктор Петрович, как обычно, поделился с вами мудро и обстоятельно. Разговор его надо понимать так: в любой профессии надо сделаться профессором. Здесь нужна сметливость каждого и слаженность группы в целом.

Стоило объявить Долгановскому о конце беседы, как Игорь метнулся к выходу, понесся через двор к трамвайной остановке. Деревья только начали распускаться, и, как бывает в эту пору, разом похолодало. Мила ждала на противоположной стороне, и он радостно замахал ей, а потом и побежал через улицу.

— Извини, еле вырвался...

— Случилось что?

— Да нет. Отец твой рассказывал о практике. Целое лето работать будем. А там и распределение: кого куда...

— Меня тоже не отпускали. Мать зубрить велела. Едва уговорила ее. Обещала скоро вернуться.

Мила стояла перед ним в легкой шерстяной кофте. В прохладную погоду она обычно любила ходить в кино. Он и сам не отказался бы посмотреть фильм, но в кармане пугливо позвякивала медная мелочишка. Присланная матерью трешница быстро поистратилась, а лишних денег, как он помнит, у родителей никогда не водилось. Не было их пока и у Милы, и у пэтэушника Игоря Божкова.

— Знаешь, где мы будем проходить практику? В доме у вокзала,— показал он рукой на площадь.— А потом и в

других местах, какую-то школу штукатурить в сельской местности...

Рассказывая о практике, он отвлекал девушку от киношных намерений, боясь, чтобы она не вспомнила и не предложила бы пойти на ближайший сеанс.

— А мне после школы в медицинский поступать. Я тебе рассказывала как-то. Я бы лучше работать пошла, а мать считает, что я ветреная, за это время забуду все.

— Хочешь, тот дом посмотрим?

— Холодно...— поежилась девушка.— Да и что смотреть? У меня там знакомые жили...

Смотреть пока действительно было нечего: дом закрывали строительные леса. Бродить по нему вряд ли и разрешалось. Интересней вокзал посмотреть, в нем, по крайней мере, тепло, суетно, оживленно.

В зале ожидания Игорю доводилось бывать не однажды: отсюда он ездил пригородными поездами к себе домой. В последнее время поездки откладывались: каждый свободный день, каждый час он проводил с Милой. Если не встречал ее неделю, грустнел, терялся в городе, где кроме этой девушки пока не имел ни друзей, ни знакомых.

— Ты знаешь такую игру — «Кто куда едет»? — спросила она.— Не слышал? Это я ее придумала!

— Расскажи.

— Ты подходишь, скажем, к кому-то и спрашиваешь: куда он едет? Тебе отвечают. И если угадал, получаешь очко. А потом и награду.

— От кого?

— С кем играешь. Ну, как мы с тобой.

— А, понятно: либо ты мне, либо я тебе, так?

— Совершенно верно! Ну что, согласен?

— Согласен!— Игорь прикинул, что мог бы он подарить в случае проигрыша. Из того, что водилось в его пэтэушной тумбочке, вряд ли возможно: мыло, зубная щетка, паста, ручка, тетрадки, учебники — все не для подарка. Была еще книжка стихов, привезенная из дому, но книг, как успел убедиться он, у Милы столько, что и не в каждой библиотеке отыщется. Шоколадку разве, когда деньги будут.

Она по-прежнему время от времени зябко поводила плечами. Вокзал был рядом, но и этого короткого пути достаточно, чтобы простыть и без того часто болевшей Миле. Спихватясь, он снял свой форменный пиджак и, не мешкая, накинул ей на плечи. Она с готовностью запахнулась в него и стала похожа на высокого, тонкого ребенка.

— Значит, на вокзал?— переспросила она, благодарно взглянув на него.— Я, к примеру, спрашиваю троих едущих. И если одного из них угадываю, приз за тобой, идет?

— Вполне.

— И еще. Ты об этой игре в училище не рассказывай. Пусть она будет для нас двоих. Хорошо, Игорь?

— Будь спокойна.— Про себя он прикинул, что если и проиграет, то занять на приз можно в училище, у своего же мастера Юрия Щербакова.

Просторный зал был шумным и оживленным. К вокзалу только что подошел пригородный поезд, и через высокую переходную лестницу заспешили прибывшие. Игорь и Мила посторонились, пропуская их.

Здесь, в вокзале, Игорь отчетливо ощутил: не может он подходить к незнакомым людям да еще спрашивать, куда и зачем они едут. Он стеснялся скорее не того, что этих людей не знал, а что был в форме, обязывающей его достойно вести себя. Закрадывалось сожаление, что согласился на игру с бухты-баракты, но передумать и отменить ее было поздно. Мила пошла по залу, а он присел на скамейку и опустил голову.

Игорь не видел, как в зал ожидания нерешительно вошла пожилая женщина, поставила на край скамьи, почти рядом с ним, обшитую, материалом обтянутую кошелку, утомившую ее, пока поднималась она вверх, а потом спускалась вниз по лестнице. Встряхнула онемевшей от тяжести рукой, огляделась. В городе уже некогда будет рассуждать и взвешивать, там захлестнут ее дела, ради которых она и приехала.

Почему выбрала Мила именно эту женщину? Вероятно, из-за того, что женщина шла последней и задержалась у крайней скамьи возле самого выхода. Дальше в глубине зала сидели, лежали, дремали, говорили ждущие поездов, пробиваться к которым не так сподручно, нежели к человеку, оказавшемуся как раз у тебя на дороге. К таким легче подойти, отвлечь, и они никогда не обидятся за отнятое тобой время. К ним притягивает доступность и простота.

Женщина оглядела зал, как бы ища в нем знакомых, и одновременно поправила выбившиеся из-под платка седые волосы над обветренным лицом, подтянула концы платка. Ее привычные и простые жесты виделись одной Миле. Игорь Божков сидел, будто прикованный к месту, и напряженно ловил разговор Милы с приезжей:

— Куда вам ехать?

— Я, дочка, уже приехала,— просто ответила женщина.

От ее голоса Игорь побагровел от головы до пят. Но некоторое время он еще вслушивался с нахлынувшим стыдом в затеянную Милой игру.

— У меня тут, дочка, сын учится. Не знаешь, где строительное училище?

— ПТУ?

— Оно и есть. Писал, что от вокзала недалеко.

— Надо вам выйти на площадь... Потом пройти на улицу Щорса или на трамвае одну остановку проехать. Сойдете — и перед вами будут как раз ворота училища.

— Спасибо, дочка. Спасибо, милая!

Игорь рванулся к женщине, словно боясь, что она уйдет раньше, чем он подбежит к ней.

— Мама!.. Как ты здесь?..

Давно копившаяся радость выплеснулась мгновенно. Не оказись Милы, Игорь Божков расплакался бы: так горяч был ком, подступивший к горлу. Они расцеловались, мать и сын, и мать улыбнулась, глядя то на сына, то на растерявшуюся девушку. Виновато ей улыбнулась и девушка. Мать поняла, спохватилась и вспомнила, что перед ней — дети: сын и его девушка.

— У меня тут гостинец,— сказала она, показывая на кошелку,— пирог и курица.

Игорь взял из ее рук кошелку, и они пошли к буфету. И курица, и пирог были еще теплыми, и Игорь подмигнул заговорщицки Миле. В углу буфета оказался незанятый столик, на нем и разложили привезенное. Игорь с зажатым в руке трояком занял в буфете очередь.

— Тебе, мама, что брать?

— Ситро купи, сынок.

— А тебе?

— И мне тоже,— сказала Мила.

— Что же ты не писал, сынок?

— Некогда было, мама...

Мать вздохнула и пристально взглянула на Милу и Игоря.

## 2

Таких домов, со скульптурами, было в городе два. Два одинаковых дома, стоящих окно в окно с двух сторон улицы. Они были как бы вокзальными воротами города.

До практики ребята толком не знали, какой дом отведут

им. Хотя училище и располагалось неподалеку, но как-то не верилось, что штукатурить такой дом разрешат практикантам. Каменщиков, когда сошел снег, послали в колхоз возводить коровник. Смех — строить коровник!.. Штукатуры волновались, боясь, как бы не отправили и их в тот самый колхоз, откуда были Игорь Божков и Антон Камышкин. И скотный двор строился каменщиками за оврагом, как раз вблизи деревни.

Зимой, по несколько часов в неделю, их группа бросала ковшом и кельмой поверх дранок «учебную» глину. Она заменяла раствор. Но штукатуров оставили в городе, и теперь все с нетерпением ждали тепла, весны и настоящей работы. Как же хотелось увидеть с высоты стройки город, заглянуть за его черту, откуда еще недавно наплывали в скверы и площади волглые предвесенние ветры. Они обдували застрехи крыш, пахли капелью, подтаявшим снегом и низовой водой в тальниках подле речек.

Древний город таил в себе притягательность. О работе здесь Игорь мечтал. И хотя практикантам надлежало набивать пока только дранку на деревянные перегородки, они все равно гордились, что именно им выпало счастье восстанавливать былую красу. Отделывая квартиру, Игорь потом не раз думал о тех, кто жил в этом удивительном доме вблизи вокзала. Из окон было видно вокзал, поезда, просматривались сосны на Юрьевой горке за железной дорогой. Знали люди, где строить город!

В дощатом сарайчике во дворе ребятам выдали апельсинового цвета каски. За поясом спецовки у каждого торчал молоток.

Мастер Юрий Щербаков повел группу по заваленной щебенкой и мусором лестнице — от площадки к площадке, от этажа к этажу.

Игорь Божков замыкал цепочку, не торопился, хотел, чтобы им с Антоном Камышкиным досталось место повыше. Ему не терпелось взглянуть сверху, с последнего этажа на город. И ждал он этой минуты, как чуда.

Все шло, как и предполагал. Этаж оказался последним. Мастер отвел им квартиру, и Игорь, не торопясь, вышел на балкон. В городском музее он как-то видел картину, на которой было первое поселение на речном яру. От него пошел здешний город. Игорь отыскал серебристо-серое здание гостиницы, рядом с которой соседствовал небольшой соборчик, казавшийся с высоты игрушечным. В чуть мгlistом небе за городом висел аэростат.

По-над самой рекой, вблизи моста, увидел он место с развороченными глыбами. Оно смотрелось недавно разбомбленным. Гуляя как-то с Антоном, они пробовали отколоть от древних глыб на память кусочек. И не смогли. Глыбы-монолиты уступали многовековое свое место еще одной стеклянной гостинице с окнами на реку.

Строение на глазах пэтэушников лихо дробили, корежили, грызли бульдозером, били с размаху железным шаром, но стены цепко стояли. Последними взялись за дело саперы-десантники, что прыгали за городом из корзин аэростатов. И старинная кладка нехотя уступила, осела с гулким продыхом, превратилась в колотые большие глыбы.

Стук молотка Антона напомнил о деле: и завтра, и послезавтра найдется время поглазеть на город. Игорь вернулся к другу и рьяно взялся за работу.

Каждый набивал дранку своим методом. Игорь брал гвозди из кармана спечовки. Антон зажимал их губами, и смуглое лицо его казалось вымазанным чернилами. Оба учились вгонять гвоздь с одного маха и крайне досадовали, когда гвоздь гнулся.

Кули дранки подавали наверх подъемником. Стоял густой запах смолы и распиленного мокрого дерева. Иногда дранку почему-то задерживали, и тогда опережал тот, у кого был задел. Игорь и Антон тоже постепенно научились обзаводиться и дранкой, и лучшими ящиками под раствор, и лесенками-стремянками, и гвоздями, и удобными мастерками.

К концу дня они покрыли в комнате обе стенки. Оставалось набить в одном лишь углу какой-то метр. Ждали дранку, но ее не везли. Игорь тщательно осмотрел коридор, сходил к месту разгрузки подъемника — все до них подобрал. Лежал один на гряде шлака темный, измазученный куль. Никто не хотел грязнить им спечовку и отскребать потом руки. Весь день подавали дранку чистую, и брать такую не имело смысла.

И куль отбросили на кучу шлака, как отбрасывают все ненужное, непригодное в дело... Наверно, если бы в начале работы не глазел Игорь Божков на город, дранки хватило бы. Но он упустил время и чувствовал себя виноватым перед напарником.

Хотелось в глазах Антона исправиться, чтобы, чего доброго, не передумал и не взял бы кого другого в напарники. Лучше всего набить дранку сейчас: пусть он, Игорь Божков, измажется, но зато работу завершат.

— Юрий Владимирович!— позвал он мастера, услышав неподалеку голос.

— Что у тебя, Божков?

— Дранка кончилась.

— Совсем нет?

— Совсем.

— А куль на шлаке?

— Это не наш. Да и какой-то он вымазанный...— ответил Антон, надеясь, что мастер возьмет для них у кого-то.

— Раз без дранки остались, берите, а то и этого не будет.

— Сходи возьми,— поддержал мастера и Антон, стоя на подмостках.— Дареному коню в зубы не смотрят.

— Сейчас принесу!

Дранка почти не отличалась по цвету от шлака, на который ее бросили.

— Нашел!..— обрадованно прокричал он удивленному Антону, когда тот показался в дверях квартиры.— Теперь хватит!

— Живо подавай!— распорядился Антон, забираясь опять на лесенку. Руки его, как только он прикоснулся к дранке, мигом потемнели.

— Нарочно намазали, что ли?..

— Не знаю. Один этот куль и валялся.

— Подшутили, наверно,— заключил Антон, особо не сетуя. Он стучал молотком как одержимый. Не попрекал напарника, но в спешке и торопливости его заключался сам по себе укор: попусту не глазей впредь. «Не буду, не буду»,— как бы отстукивал молоток Игоря.

Надо было довершить работу, пока не заглянули соседи. Топот и стук ботинок на лестнице напоминали о конце рабочего дня. Соседи уже спускались во двор к месту сбора.

Наконец дранка набита. И Антон спускается с лесенки, довольно трет о подоконник руки, оставляя мазутный след. Но что мазут, что руки — дело закончено, а с ним и первый день пэтэушной практики.

\* \* \*

Игорь не сразу пошел во двор. Он побежал к окну еще раз взглянуть на город.

Он как бы робел после своей деревни и сплошного ее раздолья перед громадами этажей, путаницей проводов, крыш, разных труб. Но в нем рождалась уверенность, ког-

да видел, что скопление площадей, улиц, проспектов, кварталов существует не само по себе, отдельно каждое, а подчиняется упорядочению и согласованию, напоминая хорошо отрегулированный механизм.

За воротами стройки Игорь Божков решил позвонить тут же Миле. Хотя и родилась, и выросла она в этом городе, а вряд ли с высоты видела свои улицы и площади, по которым ходила. Дом, где жили Сергины, был невысокий и находился в новом районе, у самой кольцевой дороги.

Кому как не ей рассказать о доме в начале проспекта, поделиться впечатлениями от первого трудового дня? Именно сегодня он стал рабочим!

Но тревожить Милу не решился. Завтра у нее начинались выпускные экзамены. Нельзя было отвлекать: трубку все равно сняла бы мать и вряд ли подозвала бы Милу...

### 3

Теперь ежедневно приходилось носить на работу стальные пластинки с деревянными ручками: кельмы. Припрятывать их на стройке категорически запрещали. Удобная кельма немало значила: рука привыкала к одному мастерку, чувствовала его.

Утром во дворе Долгановский проводил инструктаж.

— Несмотря на современное многообразие отделочных работ,— бесстрастно говорил он,— штукатурные работы не потеряли своего назначения...

— Как по учебнику шпарит.

— Слово в слово,— поддержал Антон. Группа разместилась с солнечной стороны строительного вагончика. Рабочие уже приступили к делу, и кроме пэтэушников да завуча с мастером во дворе никого не было.

— Штукатурные работы в многоэтажных зданиях начинаются с верхних этажей,— продолжал Долгановский.— Ваш мастер расписался в специальном журнале стройки за соблюдение вами техники безопасности. Мусор, доски, кирпич из здания спускайте только по закрытым желобам и ни в коем разе не сбрасывайте...

— Нам уже говорили...

Долгановский пропустил замечание.

— Дранку теперь используют редко из-за ее трудоемкости. А в новых домах не применяют вообще. Но здесь вам придется поработать дедовским методом. Желаю успеха!

Мастеру тоже нашлось о чем порассуждать:

— Перед работой осмотрите свои места. Все лишнее, особенно доски с торчащими гвоздями, уберите.

«Откуда там доски с гвоздями?— подумалось Игорю.— Нарочно, что ли, оставил...»

— Если доски тяжелые и нельзя убрать, загните гвозди, чтоб не было травм,— продолжал Щербаков.— Рекомендую также, в порядке пожелания, покрыть олифой ручки молотков, терок и полутерок. Не будут намокать, и раствор не пристанет.

— А где взять олифу?

— У старосты группы.

— Главное, не терять инструмент,— напомнил еще раз Долгановский, перед тем как разойтись.

По словам Евгения Григорьевича, за утерянный инструмент могли вычестить из причитавшихся за работу денег.

Здесь будет первая получка за практику. В прежней жизни каждый ограничивался той мелочью, которая выпадала от родителей. Этой мелочи знали цену. Теперь же они сами должны были получить кое-что. Будет о чем поговорить родителям.

Игорь размешивал в ящике раствор, бросал его мастерком на стенку и по звуку определял, удачен ли шлепок. Он воображал, каких после практики наберет покупок — отцу и матери, всерьез начнет помогать родителям. А каким непохожим придет сам он в родную деревню, явится вечером в клуб. На стройке они заприметили уже многих рабочих. Больше других понравился крепкий, высокий парень, он приезжал на работу каждое утро на собственном мотоцикле. Парень, как выяснилось, окончил то же училище. Ребята завидовали ему. Со временем и они приобретут такие же мотоциклы. Игорь даже прикидывал втайне, как будет вонзить на своем мотоцикле Милу.

Оштукатуренные стены приобретали ухоженность. Работа преображала их. Труднее давались углы, где линия должна получаться четкой и ровной. Сделать ее такой с одного раза часто не удавалось. Доводить угол считалось не простым делом.

Больше часа пытался Игорь забросать стену раствором и разровнять. Ту самую стену, где набивали они с Антоном мазутную дранку. Сколько ни водил он в том месте теркой, сколько ни ровнял — раствор не держался. Одно время казалось, что он застыл, и ребята начали было уже переносить ящик с раствором к другой стенке. Но не успели и двух

метров пройти, как за спиной чавкаяще упал огромный шлепок.

Опустили ящик, оглянулись — да так и застыли: на стене оголенно зияла дранка. Хоть плачь. Зияла там, где они набивали последний куль. Раствор на глазах сдвигался, полз с шорохом вниз, подобно скользящему по крыше отсыревшему снегу, потом отваливался, оголяя немалый участок дранки. Оба смотрели то на стенку, то друг на друга. Просто не верилось, что так скоро и с такой легкостью рушилась их работа.

Антон взялся лепить угол снова. Но свежая штукатурка сползала еще быстрее. И тогда решили насыпать в ящик побольше вяжущего алебастрового порошка.

Мигом размешав, выметнули раствор и, не давая сползти, разровняли, загладили место.

Раствор вначале как будто замер, утихомирился. А чуть спустя штукатурка ожила заново, нависла наплывом и отвалилась знакомым шлепком.

После Антона попробовал Игорь. Он лихо и хлестко метнул несколько раз, но получилось то же самое. Вот тебе и заработок... Да так и на еду-то не хватит!

Место на стенке коварно держало их, они не могли из-за него двигаться дальше. И, чего доброго, рисковали оказаться в группе последними. На крайний случай можно бы обратиться к мастеру Щербакову: так, мол, и так, Юрий Владимирович, не получается что-то. Однако мастера на месте не оказалось. По правде говоря, неохотно и принимался он поправлять работу своих подопечных, предпочитая, чтобы доводили все сами. Мастеру предстояло к тому же писать на каждого отзывы, давать заключения, и неувязки могли быть потом упомянуты. Лучше уж с самого начала доделывать все самим, чтоб никто и не знал о твоём невезении, чтобы не послали вместо почетной стройки куда-нибудь к чертям на кулички.

Дело меж тем основательно застопорилось. На беду, заглянул еще Валька Павлихин и пуще взвинтил. Вальке, здоровенному, с коротким широким носом бигюгу, надлежало сообщить, что принимать работу, возможно, придет сегодня сам завуч училища Долгановский. И надо, чтоб работа смотрелась как полагается.

Показывать плохую работу — мало приятного. Начнут вникать, что да как, а там, глядишь, штукатурить свинарник отправят. Предупреждал ведь Долгановский перед практикой. А такая работа казалась штукатурам занятием

самым что ни на есть обидным: этим можно заниматься и не оканчивая строительного училища.

Форма... Хранил Игорь Божков у себя фотографию, сделанную в день получения пэтэушной формы: касаясь рукой спинки стула, стоит он в отутюженной, аккуратной одежде. Стоит чуть строговатый от излишней внимательности и напряжения, уже не мальчишка, но и не юноша пока, а просто восторженно настроенный человек, готовый ко всему необычному в новой для него жизни. А тут дела не складываются. В группе наверняка отыщут козла отпущения, закивают на Божкова и Камышкина, как на бракоделов.

Удивительная штука — работа. Давно ли настрой был отличный, и о чем только не мечталось. И вдруг все пропало, потускнела радость.

И когда уже казалось, что нельзя ничего придумать, явилась вдруг обнадеживающая идея — залепить брешь вчистую одним алебастром, а поверх чуток потянуть раствором.

Оба хорошо знали свойства порошка — приставать к чему угодно. Не теряя времени, они развели алебастр, размешали и прямо пятерней принялись лепить угол. Масса мигом твердела, застывала почти на пальцах, но ребята не скупились, сыпали порошок из бумажного мешка в ящик, лили воду, мешали и лепили, лепили...

Брешь на глазах уменьшалась. Штукатуры, покрывая дранку, все еще боялись, что раствор сдвинется, поползет. Но ничего подобного не случилось: месиво в мгновение застывало. Поверху нанесли тонкий слой нормального раствора, и место на стене, как им казалось, перестало чем-либо выделяться...

Сунув вскоре в дверь голову, Павлихин предупредил их о появлении завуча. Вовремя же управились! Рядом слышались голоса, кто-то стучал по стенке соседней квартиры, пробуя на звук штукатурку, после чего, шаркая и переговариваясь, обходящие направились к ним. Проверяющих — трое: завуч Долгановский, раздумявшийся от ходьбы по переходам и лестницам, мастер Щербаков. Позади всех топтался Павлихин.

— Можно?— спросил завуч с излишней бодринкой в голосе, жестом приглашая и остальных за собой в комнату.

— Можно...— ответил Игорь. Они с Антоном стояли ни живы ни мертвы после тщательного обследования соседней квартиры. А вдруг и здесь начнут? И определяют брак по стуку.

Долгановский, трогая бородку, окинул цепким взглядом комнату — от потолка до пола, как если бы выискивал в ней пыль или паутину. Игорь с Антоном затаенно следили за его вездесущим взглядом.

— Молодцы!..— сказал он.— Ведь правда — молодцы, а?

По тону, каким спросил Долгановский, чувствовалось, что доволен он не столько ими, сколько тем, как поставлено в училище трудовое дело. Похвала завуча явилась такой неожиданностью, что и Игорь и Антон, оставшись одни, едва не закричали и не запрыгали от радости. Завуч с мастером заглянули не случайно — готовился разбор. И напарники не ошиблись.

Как только вымыли руки и выстроились во дворе, Евгений Григорьевич проверил, каждый ли взял с собой мастерок, хорошо ли вычистил или припрятал его до утра в рабочей комнате.

— Это теперь ваше оружие,— наставлял Долгановский, расхаживая взад-вперед перед строем.— Оно не должно ржаветь. Только тогда вы чего-либо добьетесь.

Говорил завуч четко, проникновенно. Ему нельзя было не верить. Казалось, и впрямь за поясом у тебя не мастерок, а некое редкостное оружие, которым ты совершишь со временем чудо.

Однако о самом практикантском деле Долгановский почему-то особо не распространялся. Очевидно, сказать о нем намеревался позже, когда ремонт закончится полностью.

Завуч был для ребят личностью загадочной. По словам Вальки Павлихина, который каким-то образом знал о нем больше других, носил бороду Долгановский только затем, чтобы скрывать на лице шрамы, приобретенные в войну, а был он якобы летчиком.

Верхние зубы Долгановского при разговоре сквозили щелью, придавая лицу выражение какой-то не по годам непривычной, неумной лихости. Внешность одновременно и подкупала, и настораживала: человеку под шестьдесят, а вид — несерьезный.

Принимая в училище, Евгений Григорьевич пожимал каждому руку, крепко и дружески тряс ее и делал для себя заключение: кем быть новичку. Иногда оно было молчаливым, иногда категоричным: «Этого — в каменщики. Того — в штукатуру». И если потом кому-то хотелось учиться другой специальности, Долгановский долго беседовал и разубеждал желающего.

Ловко же залепили Игорь с Антоном угол, даже вездесущий завуч и тот не заметил, даже прорабу и мастеру не пришлось в голову проверить. Впрочем, Щербаков и не смотрел на стену с той пристальностью, с какой смотрел и оценивал завуч, который должен бы знать: угол для штукатурки — дело наиболее сложное...

Все-таки интересно, отчего не держался раствор, полз вниз? Хорошо бы спросить у знающих людей. Но спрашивать рискованно: неизвестно, к чему приведет такой интерес. Оба еще не умели предвидеть и отводить от себя неприятности. Неопределенность и неизвестность заставляла Божкова и Камышкина жить несколько дней с опаской: вдруг да обнаружится.

А между тем об их первой квартире говорили как о лучшей. Им дали вторую, потом третью, четвертую, и углы везде получались более или менее сносными: иногда хуже, иногда лучше, а некоторые были и совсем отменные. И друзья постепенно забывали свою неудачу в начале практики. Забывали в порывах рвения, старания, азарта.

Трудные углы больше им не встречались, хотя кривых и косых было еще достаточно.

#### 4

Мила играла на пианино, знала наперечет известных актеров, изучала языки — в чем только не разбиралась дочь директора строительного училища! И не снилась прежде такая девушка Игорю Божкову, и не предполагал он встретить ее. А что знал сам он, кроме любимой книжки стихотворений, с которой в редкий день расставался? «Когда волнуется желтеющая нива и тихий лес шумит при звуке ветерка...» Стихи погружали в размышления, переносили к хлебам и нивам в разгаре лета... Ни одного детектива, ни одного фантастического романа не прочитал... Он и услышал-то о них только в городе, став учащимся ПТУ.

В чем разбирался он? На это Игорь Божков, пожалуй, и не ответил бы. Ради Милы он готов был сделаться каким-то иным человеком, непохожим на прежнего деревенского паренька. Уж очень отличался он от тех мальчишек, которые учились с Милой в школе, ходили в кино, гуляли по улицам... Несколько раз он встречал их и дивился абсолютной несхожести между собою и ими: самоуверенными, в заграничных джинсах, вельветовых пиджаках...

Игорю всегда не хватало времени. Зимой, по весне и

осенью отправлялся в школу, до которой было часа два ходу да столько же назад. Потом уроки... Игорь силился, перебарывая сон после ходьбы по морозной дороге, и с горем пополам одолевал заданное: что-то читал, решал, писал и, запихнув затем в сумку все, ложился спать, чтобы наутро, когда еще не угадывалось и рассвета, бежать с сумкой на край деревни — к месту сбора.

Оттуда гурьбой трогались в путь. Опоздание на уроки грозило либо возвратом и последующей нахлобучкой дома, либо одиноким бегом по темной, пугающей каждым кустом предутренней безлюдной дороге — меж кустов, спящих полей, безразлично белевших холмов и горушек; и любой непонятный предмет на дороге пугал, заставлял задерживаться и пристально вглядываться — что там?..

Мечтой каждого было лето, и школьники жили его ожиданием, предчувствием теплых дней, каникул. И как же ошибались они в своей заветной мечте! Беззаботных дней выпадало летом так мало, что их не упомнить. Они были похожи на недолгий сон.

Летом ждала работа в колхозе и дома: очередь пасти стадо, косить сено, возить силос, помогать отцу и матери. И только в самый горячий полдень удавалось метнуться на час-полтора к купальне, побултыхаться в воде, повалиться в песке и, прибежав затем домой, наскоро поесть, чтобы разом со взрослыми впрячься вновь в страдное летнее дело.

Вечером горело лицо, саднило руки и ноги, валил сон, где приткнешься, на что голову приклонишь — там и засыпаешь. Только и была радость, когда привозили кино и показывали его в сельском клубе. С киномехаником ребятня норовила сдружиться, ради кино не принималось в счет никакое недосыпание, никакое ждущее тебя рано поутру занятие. Все нипочем было в вечер кино.

После восьми классов большинство срывались в ПТУ, на разные курсы или подавались, как Божков и Камышкин, учиться строительному ремеслу.

Многое в городской жизни оказалось для них незнакомым и новым.

В клубе училища актеры областного театра показывали как-то для пэтэушников сцены из спектаклей Островского. Впервые видел Игорь настоящих артистов. Они обворожили его, как покоряет человека прекрасное.

Игорь сразу же загорелся посмотреть хоть один спектакль целиком. Посмотреть не одному, а вдвоем с Милой. Купив два билета, он носил теперь их как драгоценность.

Они были приобретены на пятерку, присланную в письме родителями ко дню рождения, отец и мать просили, как обычно, чтобы он приехал к ним на выходной. Воскресенье за воскресеньем отодвигал он поездку. Написать домой рука не поднималась: все надеялся вырваться хоть на один день. Обжигающее нетерпение побывать в театре с девушкой было как вхождение в неоткрытый мир, к которому он рвался. И вот у него в кармане билеты.

— А что там?— спросила Мила после некоторого раздумья, когда пригласил ее в театр.

— «Лес» Островского. Я смотрел отрывки — просто здорово!

— Я должна поговорить с родителями...

— Хочешь, я позвоню им?— оживился он, уверенный, что Милу отпустят.

— Понимаешь, меня уже приглашали на этот спектакль... А вообще-то я видела «Лес»,— сказала она как-то потерянно.

— Все мы видели лес...— пошутил он и серьезным голосом добавил:— Тут исключительный случай...

— Какой?

— День рождения!

— У тебя?

— Да.

— Причина уважительная... Давай так.— И Мила тронула его за руку.— Встречаемся в воскресенье здесь. Идем в театр, но там сядем в разных местах...

Игорь взглянул на нее с удивлением и немым вопросом, словно бы рядом шел другой, впервые встреченный им человек.

— Только не обижайся. Так уж получилось. Я пообещала пойти в театр с одним мальчиком. Я просто с ним посижу...

«Там будет видно,— решил он.— Может, и не придет ее мальчик. Это, видно, Дима...»

О Диме он услышал в тот день, когда первый раз был у Сергиных. Виктор Петрович болел, лежал после сердечного приступа.

Игорю поручили показать ему стенную газету, подготовленную для городского смотра профтехучилищ.

Перед дверью квартиры паренек нерешительно затоптался, сверяя номер с записью на бумажке: вроде совпадало. И тем не менее звонить не решался. Вдоль дверного косяка, на уровне ручки, были надписи — столбец кривых слов.

Немудрено было бы встретить их в общежитии, в вагоне, на школьной парте, на скамье — где угодно, но не на дверях директорской квартиры. Читать выцарапанное Игорь не решился и в смущении нажал кнопку.

В квартире сполошно заметалась собака, щелкнул замок. На пороге возникла седая дородная женщина. Славянская простота лица и сероватые, вероятно когда-то бывшие голубыми, глаза напоминали ему сельские лица женщин, хотя прическа и седина были типично городскими. Игорь пояснил, по какому поводу приехал.

— Очень приятно. Меня зовут Раисой Михайловной, — назвалась она и требовательно сказала: — Мила, встреть молодого человека. Я скоро вернусь.

Женщина ушла, по ее тону Игорь догадался, что она хозяйка и о приезде пэтэушника знала заранее.

Редко найдешь квартиру, убранную с такой тщательностью, какой выглядела квартира Сергина.

Он вертел головой, оглядывая в красных цветных обоях прихожую, прикидывая, куда бы повесить фуражку, стесненно держа ее в руке. Из дверей комнаты на него сощуренно смотрела Мила.

— Проходи, папа там.

Сергин сидел на диване, прикрыв ноги пледом.

— Сердце, брат, подвело... Кажется, отпускает понемногу. Ну, как наши дела? Что новенького?

Он показал директору стенгазету, пояснил, как и что будет доделывать, дорисовывать, дописывать. Сухощавый Сергин слушал, кивал.

Когда оговорено было все и задерживаться, казалось, незачем, Игорь встал.

— Ты в училище? Не спеши. Почаевничаем. А то, брат, наскучило мне одному быть с женщинами.

— Прямо уж и наскучило, — улыбнулась Мила. — Что бы ты без нас делал?

— Да умер бы с голоду, — в шутку ответил Сергин.

— И умер бы, — подтвердила она, заботливо поправляя плед.

Игорь молча слушал забавную перебранку отца и дочери. В этой квартире, как ему представлялось, каждая вещь располагала к уюту и беззаботности, будь то цветные оконные занавески или стоящие по углам комнаты мягкие кресла. Казалось, немислимо огорчаться чем-либо в такой квартире или пребывать в плохом настроении; как умудрился Сергин в ней заболеть?

— В самом деле, не уходи. Сейчас мама вернется, и будем чай пить.

— Ну, раз дочь просит, надо остаться,— заключил Сергин. И было видно, что Мила для него немалая в жизни радость.— Ты пока показала бы Игорю библиотеку.

Три больших книжных шкафа доверху заставлены книгами, альбомами, на полках макеты кораблей и парусников различной величины. Сергин служил когда-то на флоте и преподавал долго в морском училище, выправка его и сейчас напоминала военного.

В прихожей вскоре задребезжал звонок, залаяла собака, и Мила пошла встречать мать.

За столом Раиса Михайловна, словно бы между прочим, сказала мужу:

— Витенька, ты бы попросил молодого человека замазать косяк. Вы из группы штукатуров, Игорек?

— Да,— подтвердил он, сказав, что он пока будущий штукатур.

— Я заплатила бы.

Жар опалил щеки. Хотелось ответить, что подновить косяк ничего не стоит, он и так залепит его, затрет — какая тут плата? Только пусть лоботрясы впредь не ковыряют и не царапают там разную чушь. Одновременно же хотелось и до конца прочесть написанное у дверей, что за слова были там, кроме имени Милы, которая молчаливо двигала по тарелке ложкой и то ли вслушивалась в разговор, то ли думала о чем-то своем...

— Я и сама затру,— сказала она матери.— Можешь не волноваться.

— Сиди уж,— рукой махнула Раиса Михайловна,— без тебя управятся.

— А я бы не так поступил.

— А как?— взглянула на мужа Раиса Михайловна.

— Заставил бы затереть того, кто писал.

— Диму?!

— Я сказал: того, кто написал!

— Вот и получается: кто писал — не знаю, а я, дурак, читаю, как в «Записной книжке» Чехова,— отпарировала Раиса Михайловна.— Не звать же Диму...

«Любопытно, что это за Дима?» — подумал Игорь.

Молчание, воцарившееся за столом, нарушил пророкотавший гром. Только тут Игорь заметил, что в комнате потемнело. Зашумели под окнами верхушки деревьев, потом блеснула молния и вновь прогремело — сухо и резко.

— Гроза,— произнесла Раиса Михайловна, закрывая в испуге форточку.

— Просто дождь,— высказалась дочь.

— Это хорошо, когда дождь перед летом,— заключил оживленно Сергин.

Мила поблагодарила мать и встала из-за стола. Она пошла к окну. Игорь проводил ее взглядом. Темные волосы, собранные сзади в небольшой аккуратный пучок, четко обрисовывали голову на фоне окна. Она показалась Игорю очень красивой.

Он тоже встал и, сказав «спасибо», собрался уходить.

— Теперь уж сиди,— посоветовал ему Сергин.— Куда в дождь-то?

— Я трамваем поеду.

— Ну, смотри.

— Можно я провожу?— вызвалась Мила к немалому удивлению родителей.

Видя, как поспешно дочь стала одеваться, Раиса Михайловна попробовала остановить ее. Но вмешался Сергин, и она нехотя уступила.

— Захвати хотя бы косынку,— посоветовала мать.

— Не возьму.

— Почему?

— Да потому, что не нужна. Я так люблю ходить.

— Положи в карман хотя бы...

Дождь сеял мелко и плотно. Мила и Игорь неторопливо шли по улице, не замечая дождя.

— Видишь, большой дом, во-о-он, прямо через дорогу? Это мединститут,— показала Мила на довольно внушительное здание с колоннами.— Я туда поступать буду,— сказала она то ли обрадованно, то ли из желания поговорить.

— Совсем близко ходить,— сказал он, чтобы поддержать разговор.

— Мама настаивает, чтобы я поступала именно в медицинский.

Дождь, однако, продолжал сеять и с монотонной медлительностью шелестел в листве деревьев, словно бы перебирал, пересчитывал каждый листок. Вот и остановка трамвая. Несколько человек ждут под деревьями. Мила предложила:

— Давай еще погуляем.

— Давай,— поддержал он.

— Я люблю дождь. Вот такой теплыи, как сегодня. Когда

да он идет, я брожу долго по улицам. От дождя волосы становятся лучше.

Впереди виднелся кинотеатр, возле которого Игорь, по всей вероятности, мог встретить ребят из своего училища; они бы увидели и потом рассказали, с какой удивительной девушкой ходил он. Но Мила перешла на другую сторону улицы, где почти сплошь виднелись вывески магазинов. Фуражка Игоря намокла, отяжелела, клонила голову, как зрелый подсолнух.

Мила шла чуть впереди, и с темных волос ее стекала вода.

— Зайдем в аптеку? В дождь там мало народу,— трянула она головой.

— Ладно,— смирился он без особой охоты: там решительно нечего было делать, да и что покупать, не имея денег.

— Мы на минуточку только.

Оказывается, Мила обещала принести «бодягу» одному мальчишке, которому «поставили» на школьном вечере синяк. Говорят, что «бодяга» помогает, синяк быстрее сойдет. Игорю, признаться, такое откровение пришлось не по душе: как будто знакомый и сам не мог забежать в аптеку. Теперь он плелся под дождем, притихший и сосредоточенный.

Потом провожал Милу домой, до самой двери. На площадке зажгли ненадолго свет, и на дверном косяке светилось выцарапанное. Целый словесный столбец. Мила поторопилась свет погасить и уже в темноте нажала кнопку звонка. Но он успел прочесть. Столбец был из одной и той же повторяющейся фразы: «Я люблю тебя...» И под каждой фразой крупно стояло ее имя.

Досада и сожаление родились в нем. Сделанное таким необычным и странным способом признание читается не только соседями, но и каждым, кто приходит к Сергиным. Но где-то шевельнулось и непонятное, ничем не объяснимое сожаление, что признание исходило от кого-то другого, вероятно везучего и счастливого парня.

Поздно вечером вернулся Игорь в училище. Вахтерша долго не открывала, а открыв, предупредила, что в следующей раз заставит ночевать на улице. На тумбочке, прикрытой бумажной салфеткой, ждал ужин: кусочек мяса, сахар и два ломтика хлеба — черный и белый, принесенные из столовой Антоном Камышкиным.

Пока он гулял с Милой и договаривался о театре, в училище объявили: практика в вокзальном доме завершена, комнат для штукатуров больше нет и рано утром всей группе надо ехать разгружать для колхоза платформы с гравием. Новость радовала. За зиму поднадоел сыроватый тусклый подвал, в котором забрасывали стены учебной глиной. Наконец нарушалась и привычная повседневная работа в ремонтируемом у вокзала доме: дышать воздухом перемен, да еще в такую пору, когда кругом тепло и зелено, а за городом вообще сплошной рай, как было не радоваться.

Большой дом на проспекте оставался теперь без них. И что бы в нем ни случилось, что бы ни происходило — не имело уже к ребятам отношения. Их ждали новые места...

Игорь Божков и Антон Камышкин немало удивились, когда за вагонными окнами замелькали знакомые перелески: поезд, оказывается, шел в сторону их родных мест. На знакомой станции, вблизи деревни и предстояло перекидать на самосвалы несколько платформ песка и гравия для строительства скотных дворов и свинарника, где уже давно работала группа каменщиков. Через день-другой должны были ехать туда и штукатуры, помогать заливать фундамент. На занятиях им говорили: фундамент — всему основа.

Вот и станция, где не однажды бывали Игорь с Антоном. Повалили из вагонов пэтэушники, направляясь к рядом стоящему составу с платформами. Из пристанционного вокзальчика шли люди и с любопытством разглядывали мальцов в синей форме, непонятно откуда взявшихся на этой маленькой тихой станции.

Шуршали песок и камешки, звякали, звенели лопаты, раздавался смех. Под взглядами вышедших на перрон Игорю было не по себе: на этой станции могли оказаться среди пассажиров девчонки, с кем учился прежде в школе. Они, конечно же, не могли не помнить своих ребят, разъехавшихся после школы кто куда. И если случайно теперь они заметили Игоря и Антона, орудующих лопатами на балластной платформе, жди насмешек вроде того, что вот-де герои: в колхозе не остались, а теперь и лопате рады... И будут правы. Им, девчонкам, многое можно простить. Они одни после школы никуда не уехали, жили с родителями и потому с ревностным любопытством следили за судьбами одноклассников. Разгружать платформу мог каждый, это-

му в ПТУ не надо учиться, добро бы другое толковое дело, которое можно найти только в городе.

Школу они с Антоном вспоминали с нелегким чувством. В памяти тотчас оживали седовато-хмарные осенние дали, зимние сугробистые дороги, однообразно оголившиеся после снега поля и пашни, вынуждавшие дорогой рассуждать ребянтю о налаженной городской жизни. Она притягивала и манила. Подобно многим, уехали и Антон с Игорем в другую, шумливую жизнь. И в ней-то, в этой другой жизни, теперь и варились.

К полудню Игорь слез с платформы и отошел к зеленым кустам за откосом; раздольное и щемящее нечто было в этой зелени. Хотя и не солнечный, но теплый, с молодым летним ветром выдался день. Сквозь желтизну прошлогодней травы с броской буйностью тянулась трава новая, молодая.

От зелено-радостного отчего мира сильней застучало сердце. По этим местам он спешил однажды поступать в училище металлистов; не поступил — конкурс не выдержал и выбрал строительное. Потом долгое время чувствовал себя как бы обделенным. Теперь же на практике размышлял по-иному и не жалел, что не попал в металлисты. Он жил бы, наверное, без особых перемен, повседневным ритмом. Вряд ли посылали заводских ребят в разные места, как их. Небось работают за одним и тем же станком, в одном и том же цеху.

В строительном же не заскучаешь.

За месяц с лишним практики привели в порядок дом на проспекте, теперь работают на станции, а их уже ждут в незнакомом дальнем поселке. И так до конца лета, пока длится практика. Тем и хорошо было училище, что делало жизнь разнообразной.

Игорь бродил по зеленым зарослям, пока подавали под разгрузку очередную платформу. Бродил, переполненный радостью и новизной.

По кустарниковой дороге к деревне спешили сошедшие с поезда. И среди них Игорь неожиданно увидел с букетом цветов в руке Светку Сапожникову. И она его увидела, но вида не подала, будто не узнала. Первым порывом было подбежать и спросить, как и что дома? Но он сдержался: узнав, что они разгружают платформы, Светка разнесет по деревне. За себя он совершенно не волновался, жаль Антона, которого Светка и видеть не хотела с тех пор, как он уехал в город. Игорь не сказал Антону о неожиданной встрече, не желая расстраивать друга.

Когда взобрался опять на платформу и поорудовал в охотку лопатой, показалось смешным мнение школьных девчонок, окажись они по какой-либо причине на здешней станции.

Обновленно-весело глядел он на знакомую станцию: старую водокачку, березы с вороньими гнездами, привокзальный скверик и колею рельсов; кругом шла жизнь, всюду вершилось ее ликование.

Два дня ссыпали ребята с платформ гравий. Два дня вольной, радостной жизни. Утром приезжали, вечером оживленно садились в вагоны.

## 6

Как-то по радио Игорь услышал, что есть на земле облака, которые встречаются летом после захода солнца. Они прозрачны и словно бы светятся изнутри узкой полоской в короткую летнюю ночь. И хотя облака снимали из космоса, но тайну их так и не узнали.

Из той же передачи он узнал и другое: облака хранят одновременно секрет своей серебристости; на высоте, где нет ни воды, ни пара. Тайна облаков — это тайна и жизни.

С приходом лета он наблюдал едва ли не каждый закат. Дневная работа на разгрузке гравия позволяла видеть горизонт и небо незаслоненными.

В город пэтэушники возвращались тем же поездом. Поезд несся через поля, раздвигал мелколесье, и на горизонте справа и слева, то дальше, то ближе мелькали темными силуэтами макушки елок. Они выделялись на фоне густой сумеречной синевы. Нерушимо строгая величественность елок говорила, что вечер безветрен, тих, и все, что еще недавно качалось, двигалось, плыло,— все неожиданно утихомирилось и застыло, пребывая в удивлении и покое.

Вершилось немое благословение уходящего дня. Свечением млело на горизонте небо, и успокоенно стоял справа и слева от дороги лес. В стороне заката небо выглядело как-то заманчиво и тревожно. Справа же оно было темным, на-супленным, однотонным.

В просвете деревьев то и дело мелькала, мимолетными разливами открывалась полоска закатной багровости. У земли она напоминала розово-бронзовый расплыв воды, всмотреться в который из-за хода поезда было некогда. Зато выше багровой полоски небо излучало непривычные полосы света. Казалось, что в том месте день и вечер неужи-

данно встретились и в своем упорстве не знали, как поступить: вечеру ли сменить день, дню ли не покориться вечеру.

Эту полоску неба Игорь показал Антону, считая ее серебристыми облаками, о которых слышал по радио.

— Да, красиво,— сказал спокойно Антон, и оба продолжали молча разглядывать ее.

В город возвращались с огнями. Ужинали и вмиг засыпали, сморенные усталостью. Просыпались легко, так же неожиданно, как и засыпали. Поутру на зарядке приходили в себя, завтракали и снова уезжали...

## 7

Несколько дней все отдыхали, набирались сил для практики в незнакомом дальнем поселке.

Практика такая устраивалась неспроста: учили строить все — от коровника до жилого дома.

В представлении Игоря и Антона поселок был где-то на границе области, никто из ребят не бывал в нем, никого прежде не заносило. И от этого новое место казалось вдвойне притягательным.

Игорю почему-то и хотелось и не хотелось ехать. И это не давало ему покоя. С одной стороны — ждало интересное, полезное дело, с другой же — до самой осени уготовлено расставание с Милой. Мало ли что произойдет без него в городе за целое лето...

Желание видеть Милу хотя бы в неделю раз превратилось в привычку.

В воскресенье Игорь позвонил ей: сегодня как раз и спектакль. Быстро договорились о встрече. Было тепло, и Мила надела в театр красивое красное платье. Оно смотрелось так хорошо, что Игорь в своей пэтэушной форме испытывал даже некоторое смущение и неловкость, что не ускользнуло от наблюдательной Милы.

Вначале она держалась подчеркнуто строго, но, приглядевшись, Игорь заметил, что Мила или огорчена, или чем-то встревожена... Она обеспокоенно оглядывалась, то и дело опускала взгляд вниз, как бы искала невзначай оброненное.

Долго оставаться такой она не умела. Вскоре улыбнулась, и Игорь отметил в ее легкой улыбке важничание и кокетство.

— Как,— спросила она, игриво демонстрируя обнову,— идет?

И хотя он успел уже оценить ее, но коль спрашивала сама, он, отступив на шаг, посмотрел на девушку. С платья перевел взгляд на лицо, подсвеченные солнцем волосы были похожи на ореол. И на самом краешке левого уха темнела едва заметная коричневая родинка. Хотелось протянуть руку и тронуть ее... Хорошо смотрелись не только платье, но и в золотой оправе рубиновые сережки. Глаза Милы были глубокими, как тихие лесные озера, и казались почему-то печальными.

Мила, забавляясь, то отпускала поясok платья, то затягивала, делая это уже привычно и, вероятно, по какой-то рассеянности, и платье то удлинялось, то укорачивалось. Оно как бы дразнило его, это новое красное платье. По всей видимости, забавляясь, Мила старалась не думать о чем-то другом, что тревожило.

— Подарок папы,— поясняла.— А босоножки купила мама,— похвасталась она.— К выпускному вечеру обновы. А захотелось надеть сегодня...

«Какая же ты хорошая!» — хотелось сказать ему, но он оробел, и вырвалось совсем другое:

— У подорожки — лучшие сережки.

— А что это за слово — подорожка?— спросила она, наклоня голову.

— Просто так, для складу.

— Ну, идем,— как бы с неохотой сказала она, первой направляясь к театру.

Торжественно-медленно пошли они под деревьями сквера. Шли будто под музыку, звуки которой не позволяли им торопиться, хотя самой музыки и не слышалось. Она была внутри и звучала только для них, для двоих.

Шли и замечали: на них поглядывают прохожие. От сторонних взглядов становилось неловко. Казалось, если бы не Мила, никто и внимания не обратил бы на юношу в форме. Он долго не решался взять ее под руку, даже за локоть тронуть боялся: обидится, уйдет еще, а вернется ли — кто знает. Потерять Милу было для него все равно что лишиться солнца в разгаре лета.

Само собой получилось, что все же как-то коснулся незначай ее пальцев. И произошло чудо: Мила не отняла их. Игорь легонько сжал и трепетно замер. Мила осторожно высвободилась и взяла Игоря под руку. У витрин магазинов она задерживалась и смотрелась в них, убеждаясь, хороша ли в новом платье. Игорь тоже, косясь, поглядывал в отражение и находил, что выглядели они оба неплохо.

— Хотелось что-то новое в театре посмотреть,— рассудила она,— а то Островский да Островский. Подумаешь, «луч света»!

— Смотри, как бы он на экзаменах тебе не достался, этот «луч»,— предостерег сдержанно Игорь.

Мила замедлила шаг.

— Ты думаешь?— спросила настороженно.

— Все, что нам не нравится, очень часто потом и достается.

— Почему?

— Просто в отместку.

— Смотри ты, пророк какой! Сколько же лет пророку?— И она нарочито оценивающим взглядом окинула Игоря снизу доверху.

— Все мои, сколько есть!— ответил он, смеясь.

Не раз ловила она себя на том, что удивляется не по годам серьезным его рассуждениям, зачастую неожиданным и для нее непривычным. Удивляясь, она вместе с тем не могла и в толк взять: хорошо это или плохо и как приноровиться к его высказываниям? Но это стремление ни к чему не приводило, вызывая лишь напряжение и серьезность, каких не знала она, обычно общаясь со своими школьными друзьями.

— А чем не нравится тебе пьеса?

— Прямолинейностью фамилий. Какие-то Счастливиц-цы, Несчастливиц-цы...— пожалала она плечами.

Игорь внимательно слушал, не совсем понимая ее. Не спрашивает ли она только затем, чтобы проверить — читал ли он пьесу...

— Все в жизни бывает,— сказал осторожно.

— Я знаю одного мальчика, так это действительно фамилия редкая. И где-то даже забавная.

— Какая же?— спросил он в свою очередь после некоторого молчания.

— Короп...— проговорила она с некоторой сдержанностью.

— Корзина, что ли?

Мила остановилась и, склонив голову, как часто делала, обидчиво всмотрелась ему в лицо:

— Сам ты корзина...

— Напрасно обижаешься. Я ничего плохого не думал.

— Да это по-украински так!— негодуя, пояснила она. -- А по-русски — карп. Забавно ведь, правда?

Она сказала это с обескураживающей непосредствен-

ностью, отчего Игорь даже развеселился. И как бы раззадорил тем самым Милу: она незаметно для себя стала рассказывать о своих знакомых.

— Мальчик этот купил недавно джинсы, ну просто — люкс! Ты знаешь, Игорь, до того вытерты, так залатаны, да он еще потер их наждачной бумагой — просто прелесть. Сто рублей уплатил. И мать у него умница — ничего не сказала. Понимает, надо...

— Сколько же лет этому мальчику?

— Скоро двадцать.

— А родители мальчика случайно не рыбаки? — поинтересовался он не без иронии.

— Ого, рыбаки!

— А кто же?

— Много будешь знать...

— Если секрет — не надо. А что делает сам мальчик?

— В медицинском учится. Мы познакомились с ним в Гаграх, где отдыхали. Ты знаешь, отец его зимой на охоту летал...

Разговор о каком-то мальчике и его отце был не по душе Игорю, и он попытался переменить его.

— А вот у нас в деревне, — начал он, — фамилии иногда соответствуют роду занятий. Да, кстати, в спектакле тоже есть человек, имя его похоже на фамилию твоего знакомого. Карп...

— То Карп, а то Короп. Разница все-таки, — урезонила торжествующе Мила.

— Все равно рыба.

— Рыба, да не та. А кто он, этот твой человек в спектакле? — спросила она, вопрошающе глядя на Игоря.

Ему показалось странным, что она спрашивает: ведь пьесу наверняка изучала в школе, видела спектакль и была... А может, проверяет, как он учился? Ну что ж, пусть проверяет.

Сам он только что прочел, и в памяти все было свежо.

— Так кто же тот персонаж в спектакле? — спросила она вторично.

— По-моему, лакей... Точно не помню, но кажется, так.

— Гм... — буркнула Мила. — Посмотрим...

Почуя возникшую отчужденность, он захотел тут же прервать неприятный разговор о фамилиях.

Пока несомненным из всего было одно: Мила, не скрывая, гордилась своими связями и престижным знакомством. Гордилась тем, что отец знакомого мальчика мог делать

сыну дорогие подарки. Эта гордость предстала ему треснувшим на реке льдом, тем местом разрыва, в которое вот-вот хлынет вода, расширит трещину, и преодолеть ее уже будет невозможно.

Мила, конечно же, хорошо знала, что был он из семьи колхозника. В тот памятный день на вокзале мать рассказывала ей, как они живут в деревне. С тех пор она ни разу не заговорила с ним о матери, не интересовалась и местами, где рос и жил он... Все это нисколько не занимало Милу, да и он обычно не пытался никогда особо рассказывать о себе.

Нелегкую и непростую истину открыл для себя Игорь Божков в самом неподходящем месте — по дороге в театр с красивой городской девушкой: она равнодушна к нему! Хотелось отбросить эту внезапно родившуюся мысль, но она неотвязно преследовала его. И не хотелось, а приходилось зачем-то думать, внутренне напрягаться и сожалеть о непостигнутом и непонятном в их отношениях.

Таким пришел он в театр, ни о чем больше не споря и не заговаривая. Далее пошло все еще более странно: Мила напомнила уговор — сесть порознь, а в перерыве встретиться. Но уходить искать свое место медлила, прогуливалась с ним взад-вперед перед началом спектакля. На них смотрели так, как смотрят обычно на красоту и юность.

И все же почему-то казалось, что главное для Милы сейчас не спектакль, а состояние, в котором пребывала она под любопытствующими взглядами. Несомненно, девушка ждала знакомого, по всей видимости того самого «мальчика», о котором говорила и который сейчас задерживался. Но, возможно, Мила увидела и кого-то другого, и потому не спешила идти в зал, пока не начнут гасить свет. Игорь даже о спектакле не мог думать. Его внимание было сосредоточено сейчас на Миле. Хотелось, чтобы все было по-другому и Мила оставалась бы такой, какой знал со дня встречи.

Оставшись один, он начал корить себя: другой бы радовался, что с ним девушка, на которую все засматриваются, да быть с такой — разве не счастье. Он же думает, гадает бог знает о чем. В антракте-то они встретятся...

Гас свет, затихал погруженный в полумрак зал. Местами слышался еще шепот и шорох конфетных оберток; но и эти звуки смолкли, как только занавес зашуршал и все повернулись в одну сторону, к сцене.

Игорь старался вникнуть в спор, рассуждения о счастье, долге, чести, верности, которые велись на сцене. Он сидел,

постигая услышанную в спектакле фразу: «Несчастлив тот, кто угождать и подличать не умеет». А он-то думал по-своему, именно таких он как раз и считал самыми доблестными, благородными, а значит, и счастливыми.

Свет зажегся. Шумно встал, аплодируя, зал. Оглядываясь, Игорь разыскивал Милу. Увидеть ее — было первым порывом. Потом он сообразил, что лучше пройти в вестибюль и там дожждаться. Зал почти опустел, когда Игорь увидел Милу: она торопливо поднималась по лестнице на второй этаж. Увидел и не поверил: незнакомый парень сжимал руку Милы, а девушка радовалась и смеялась.

На парне были заметно потертые, туго натянутые джинсы. Игорь понял — это Короп, о котором рассказывала Мила по пути в театр.

Трещина вопреки всему заполнялась водой.

Как только спектакль кончился, Игорь заторопился к выходу. В зале еще хлопали актерам, а он уже стоял на улице у дверей.

Ждал недолго. Мила с парнем выбирались первыми. Она увидела Игоря сразу. Так мог стоять и ждать только человек, намеренный встретить ее во что бы то ни стало. И она сдержала излишнюю торопливость куда-то спешившего парня:

— Познакомьтесь, ребята...

Она произнесла это внешне спокойно.

— Игорь!

— Дима...— Парень кивнул и прошелся взглядом по пэгушной форме. Глаза его словно бы спрашивали, но, спрашивая, и укоряли Милу за ненадобное знакомство. Скользящий и мимолетный взгляд этот был усечен Игорем сразу. Потертые джинсовые брюки и весь вид его, которому и не подходило другое слово, кроме как «мальчик», подтверждали предположение. Странно смотрелась с ним рядом Мила: аккуратная, собранная, в сережках и новом, впервые надевшем платье.

— Я провожу тебя,— с неожиданной решительностью предложил Игорь.

— Почему именно ты?— не без растерянности и оторопи, хотя и с прежней настырностью спросил Дима.

— Именно я пришел без опоздания.

— Ну и что?

— Хватит вам. Я и сама дойду!

В словах Милы прорвались отчаяние и напряженность, которые до этого она сдерживала. Неожиданно повернув-

шись, торопливо зачастила каблучками по плитам в сторону остановки троллейбуса. Парни на мгновение растерялись, не ожидая от Милы подобной решительности. Несколько секунд они стояли потерянные, упершись взглядами друг в друга, упуская время, а с ним и возможность проводить девушку. Мила ловко вскочила в троллейбус, дверь захлопнулась, и машина стремительно увезла ее.

Лицо Димы побледнело.

— Ну, ты даешь, пастушонок...

— Приятней стадо пасти, чем собаку в подъезде.

— Какое дело тебе до моей собаки?

— Значит, угадал.— Игорь не спускал с парня глаз, готовый к любой неожиданности.

— Два дня ее знаешь, а я три года. Три года, понял?

— Три года дверной косяк царапашь. Реклама на весь белый свет.

— Смотри-ка, какие слова знает: «дверной косяк»,— съязвил Дима.— Будет время — поговорим!— добавил он и быстро зашагал вслед за троллейбусом.

## 8

Во дворе училища перед строем прохаживался завуч Долгановский.

— Вы теперь знаете, что дело наше строительное — нелегкое и непростое.

— Зна-аем!— хором ответила группа.

Долгановский напутствовал ребят, отъезжавших в далекий поселок штукатурить школу. Напутствие веселило и забавляло. Долгановский уже не пугал Игоря и Антона, как было в первый день их работы в ремонтируемом у вокзала доме. Они уезжали. А это значило — до самой осени недоступны ни они ему, ни он им... После практики жди распределения и отъезда...

Раздолье и воля были впереди. Настроение у каждого держалось игривое. В район за полсотни верст Долгановскому не просто будет добраться. А если и появится, не задержится. На такой практике, как в крепости: сами себе хозяева. Отбывали, однако, пэтэушники не одни, а со своим мастером Юрием Щербаковым, с которым они всегда ладили. С мастером обо всем нетрудно договориться.

— Значит, дело свое вы мало-мальски усвоили?— отечески пытал на прощание завуч.

— Конечно!— почти в одно слово ответила группа.

— И очень хорошо, что правильно понимаете. Теперь вы уже строители. Почти строители. Так или нет?— неожиданно обратился он к Игорю.

— Наве-е-ерно...

— А вы как думаете?— спросил он остальных.

— Та-а-ак!

— Что значит «таа-а-ак»?

— Значит, строи-и-ители!

— Вот потому-то и доверили вам отделывать не что-нибудь, а школу в шахтерском поселке. Надо успеть сдать ее к первому сентября. Не позже. Ни на один день!— и Долгановский поднял для вящей убедительности палец.— Школа деревянная, там вам тоже придется набивать дранку. Опыт теперь есть, дело за вашим усердием.

Штукатуры слушали его, уверенные, что сделают и сдадут все как надо, без призывов Долгановского. Лишние слова казались им ни к чему. Антон Камышкин заверил:

— Не подкачаем, Евгений Григорьевич, будьте уверены.

В словах Камышкина было общее желание сесть скорее в автобус. Каждому не терпелось за город, где и поле, и лес, и река. И сколько ни гадали, каким будет новое место, вряд ли кто и предполагал, что окажется оно столь красивым, каким увиделось.

Долго везли автобусом, и когда отъехали, Антон, загадочно сощурился, спросил сидевшего сзади Игоря:

— О чем это тебя завуч спрашивал?

— У Долгановского и узнал бы,— отмахнулся Игорь.

— Не дери нос!

— В любой профессии можно стать профессором, забыл?— отшутился Игорь.

Антон ничего не ответил, повернулся к окну. Игорь же задумался: с какой стати Долгановский выделил именно его, Игоря Божкова?..

Выйдя из автобуса, они, к изумлению, не увидели никакого поселка. Широко и плавно текла впереди река. Медлительно и с ленцой катила мутноватую воду. Дорога срезанно обрывалась у самого речного плеса. Вода как бы нарочно только-только размывала берег и помешала пэтэушникам ехать дальше. К берегу подходил паром с двумя грузовыми машинами и лошадьми. От одного берега к другому над водой свисал металлический, толщиной в руку, канат.

— Ребята!— закричал в восторге Игорь.— Да это самый настоящий паром!

Пэтэушникам не терпелось погрузиться на столь редкий для теперешнего времени транспорт.

Паром осторожно и нехотя подходил к берегу. Канат натягивался, поскрипывал. Плыл паром без малейших покачиваний, как тяжелый утюг. Вот он уже и рядом, прямо у берега. Перекинут трап, и по нему съезжают на берег машины, телеги, ступают люди, освобождая место для галдящих парней.

Ринулись скопом, норовя расположиться у перил, чтобы видеть плавную речную стремнину. Паромщики, опасаясь крена, собрали ребят на середине помоста. Натужно заскрипел трос, качнулся берег: отчалили, поплыли!..

Нежится в серебристых даях река, колышет ветер зелень хлебных холмов, вспениваясь, струится вдоль дощатых бортов вода.

Что-то сулит летняя пэтэушная жизнь?..

На берегу группа садится в автобус. Сквозь открытые окна автобуса ветер лохматит волосы, в придорожной траве вспархивают, пугаясь машины, птицы. Жадно вбирают глаза все встречное. На мгновение вглядываются они испуганно и пытливо в незнакомый справа сосновый холм. С тихим, самому себе загадочным ощущением затаенно смотрят ребята на это приречное у песчаной дороги кладбище. Кто знает, не лежит ли под его холмами и чей-то родственник...

Поселили ребят в старой школе, с расставленными железными койками без матрацев. Набить матрацы и разложить предстояло самим приезжим. Располагались, кому где хотелось. Самое удобное у окна место выбрал себе Павлихин. Тягаться и спорить с ним никому не хотелось. За окнами, сверкая плесами, текла, манила река. Быстро разложив вещи, Игорь отправился смотреть поселок.

Рядом со школой он внезапно набрел на громадный карьер. Со дна его тросами поднимались вверх вагонетки, заполненные известняком. Его жгли в печах с высокой трубой. За карьером тянулись по взгорью улицы, виднелось на возвышении единственное в поселке деревянное двухэтажное здание новой школы. Той самой, ради которой и ехали. Леса не убрали: ждали, когда пэтэушники оштукатурят школу.

Приближался ужин, и Щербаков собрал группу на инструктаж.

— Кормить будут в поселковой столовой, — объявил он. — Первый день, что есть. Дальше — все будет как надо.

Опаздывать не советую. Закрывают столовую в семь тридцать. Ясно?

— Ясно!

— Тогда на ужин.

9

Небольшая уютная столовая пришлась каждому по душе. Пожилая повариха по-матерински заботилась о мальчиках. Сама из Сибири, она приткнулась в молодости в этом поселке и осела в нем на многие годы. В каникулы приехала к ней племянница и сразу оказалась в центре внимания пэтэушников. Поварихе это нравилось, и она старалась кормить ребят получше.

Школу внутри пока не трогали: хватало работы снаружи. С утра и до сумерек во дворе шла суета: песок, алебастр, известь, носилки, растворные ящики — все разыскивалось и расхватывалось. От того, как будет организована работа, зависели каждодневные нормы. Сделать же больше хотелось каждому. И был в этом резон.

За школу обещали выплатить по настоящим строительным расценкам. И в училище понимали, что ехать начинать после практики лучше и легче в приобретенной после выпуска одежде. На диво проворно мелькали в руках мастера: кельма, сокол, терка. Терка длинная и терка короткая. На сокол, дощатый поднос с ручкой, набирали раствор и затем кельмой бросали на дранку. Длинной теркой заглаживали, а маленькой шлифовали, делали доводку. В карманах спецовок носили гвозди и молотки. По углам раскладывали принесенные кули дранки.

Внутри школы было сумеречно, стоял запах раствора. Когда штукатурили потолок, раствор, случалось, попадал в глаза. С воем скатывался бедолага с подмостей и, спотыкаясь, неся под кран с водой промыть глаза. Но со временем незадачливых штукатуров становилось меньше: наживались сноровка и навык. Работали так быстро, что во дворе школы, случалось, не успевали готовить раствор. Тогда ребята садились на подмости, смотрели в оконный проем или случайный просвет в стене и запевали.

Не за горами был выпуск. Еще немного времени, и ты — штукатур, и не простой штукатур, а штукатур-фасадчик, отделочник, специалист широкого профиля. По совести говоря, оно почти то же, что и штукатур, однако слово отделоч-

ник придавало профессии дополнительную весомость, непонятную другим значимость и загадочность.

Секрет заключался в том, что вырезанными деревянными шаблонами лепились в верхних углах между стенами и потолком узорчатые закругления. Шаблон тянули по специально набитым рейкам, предварительно забросав угол раствором. На первый взгляд — дело простое. Но сотворить без изъяна красивый узорчатый фасад мог не каждый. На словах премудрость вроде бы и не сложная, однако без мастера и его помощи не обойтись. Плохой фасад и карниз могли испортить вид всего дома. Но не зря же мальчишки жили в этом городе, учились в ПТУ, где главенствовали порядок и дисциплина!

Город для каждого из них начался с вокзала. Именно вокзал становился центром притяжения, когда кто-то грустил и скучал по дому. В зале ожидания, в людской сутолоке находил знакомых, узнавал о доме, о родителях и близких. Тоска о родных местах отступала...

В огромной столовой, где питались учащиеся, собирались железнодорожники: пожилые и молодые машинисты, помощники, стрелочники, составители поездов — усталые, возбужденные, либо, наоборот, спокойные и размеренные, удовлетворенные только что законченным делом.

Они заходили с сумками и рабочими сундучками, электрическими фонарями и молоточками на длинной ручке, одетые в ватники, полушубки, шинели, тулупы, за голенищами сапог и валенок у многих торчали свернутые флажки. Отогреваясь в столовой, железнодорожники затевали с ребятами беседы. Они проехали сотни верст на поездах за рабочую смену, перевидели столько, что многим мальчишкам хватило бы на все время учебы. В отличие от других училищ строительное располагалось так близко к вокзалу, что по ночам, когда затихал городской шум, слышны были извещения о прибытии поездов и посадке на них. Начальство станции охотно предоставляло училищу и столовую, и баню, и стадион, на зеленых дорожках которого физрук проводил до завтрака тренировки. Из лучших спортсменов он отбирал команду и готовил затем для городских соревнований.

В команде «бег на длинные дистанции» был и Игорь. Но бегать ему, признаться, не хотелось. Этому он предпочитал музыкальный кружок после часов, проведенных в учебном подвале, где приобретался навык бросать штукатурным ковшом жидкую глину на обитую дранкой стену и где то и дело возникали по разному поводу схватки и потасовки друг

с другом. В них однажды совершенно неожиданно для себя Игорь положил на лопатки своего же старосту, непобедимого, знаменитого Вальку Павлихина. И после поражался скрытой в себе возможностью одолевать столь признанные авторитеты, каким считался не только в группе, но и в училище Валька Павлихин.

И те несколько человек, знавшие Божкова как покладистого, мирного парня, стали проявлять к нему внимание. Ребята побаивались травли Павлихина и его дружков и робко надеялись на возможную защиту и покровительство Игоря, если бы со старостой у них обострились отношения.

Игорь и Антон держались почти везде вместе. У Антона давно умерла мать, и поэтому домашний труд, забота о младших в доме рано легли на его плечи. В деревне они были соседями и по дороге в школу заходили друг за другом. По характеру Антон — человек мягкий, мог бы ужиться с каждым. И любой, вероятно, мог бы работать с ним.

Старший брат его служил в армии. И когда однажды оказался в училище, они отправились в город вместе: лейтенант и два пэтэушника. Гордости и удовлетворению Антона не было предела. Ведь к нему одному за время учебы никто не навевывался. Они шли тогда покупать Антону костюм, который был так необходим ему. Один Игорь только и знал причину неотложной покупки. Во всем виновата Светка...

Она не замечала его, встречалась с другим парнем, слышшим в деревне модником. Парень к тому же кружил голову то одной, то другой девчонке, и Антон верил, что Светка рано или поздно переменит к нему отношение.

Костюм, в котором Антон намеревался заявиться в деревню, должен был существенно поправить дела. Втроем они купили его в первый же выход в город и подогнали затем в ателье. Почитавшая все красивое, Светка должна была дрогнуть. В новом костюме Антон выглядел неотразимым: смуглый, черноволосый, излучающий счастье и радость.

На практике он ждал свободного учебного дня, чтобы махнуть на субботу и воскресенье в свою деревню. Игорь уговорил мастера, что сделает норму и за друга, что школу все равно сдадут в срок и что не отпустить Антона нет никаких причин. Щербаков в конце концов сдался, сказав, что отпустит сразу, как только закончится намеченная на днях проверка практики завучем Долгановским и директором Сергиным.

Они были настоящими друзьями — Игорь и Антон. Зимой бюро комитета комсомола поручило им дежурить на избирательном участке. Сами они не голосовали пока, но помогали составлять списки, раскладывали литературу и твердо верили в необходимость и важность такого дела.

Игорь и Антон загодя готовили на агитпункте сцену для выступлений струнного оркестра. Концерт в тот день удался на славу. В зале охотно и долго били в ладоши. Закончился он «Коробейниками». Их повторяли трижды.

Игорь давно мечтал играть на каком-либо инструменте, еще в деревне, где в двух-трех домах висели на стенах скрипки. А учителей не было, владельцы их умерли. Стояли гармони, висели скрипки, к которым никто не притрагивался, — каждому доступны стали транзисторы. Ребячьи и мужишки носили их даже в поле и в луга. Бывая в покосившейся избенке умершего соседа и взирая на висевшую на стене скрипку, потемневшую от времени, Игорю не раз думалось, что это безмолвствует оставленная в доме душа хозяина. И страстно хотелось в тот момент, чтоб скрипка заговорила, запела, как когда-то давным-давно пела под смычком дядьки-соседа. Носил Игорь мечту — выучиться играть. Он еще не знал, каким образом все это произойдет. Но был уверен, что рано или поздно будет играть и душа дядьки-соседа станет тогда ему родней и понятней.

Когда поступил в ПТУ, Игорь попросил принять его в оркестр. Руководитель внимательно выслушал, узнал, что играть парнишка ни на чем не умеет, с огорчением пояснил:

— Не могу, дружок. Мы принимаем тех, кто может выводить ту или иную мелодию. Да и инструменты все розданы.

Попасть в оркестр оказалось сложно. И Игорь смирился.

Разговор этот слышал Антон. Ни в тот день, ни позже Игорь никому не говорил о своем желании. И был растерянно удивлен, когда вскоре директор училища Виктор Петрович спросил его — правда ли, что он хотел учиться музыке?

— Поздно спохватился, — смутился Игорь. — Инструменты давным-давно розданы.

— А тебе по-прежнему хочется играть?

— Еще бы!

— На чем?

— Все равно. Только бы научиться.

— Тогда вот что. На днях покупаем новый контрабас. Я попрошу руководителя принять тебя в оркестр. Если, конечно, ты наверстаешь то, что ребята уже прошли...

О лучшем Игорь и не мечтал. Сначала даже не поинтересовался, каким образом узнал Сергин о его желании. И только позже выяснилось, что просил директора Антон Камышкин. Следовало оправдать надежды Сергина, Антона, музыкального руководителя — всех сразу. Никто не знал и не был уверен, что Игорь справится, но сам он почему-то настроился, что потянет, одолеет и все будут им довольны.

Так оно в конце концов и получилось.

Но далось не просто, не сразу и не легко. Станным и редкостным было его обучение. Без нот, на слух, по ритму, интуиции. Преподаватель водил руку и пальцы Игоря по огромному грифу контрабаса, в то время как другой рукой Игорь щипал попеременно три толстых струны, и контрабас оживал.

Руководитель все чаще смотрел одобряюще в сторону Игоря. Выходило неплохо. Лучше других получалась мелодия «Светит месяц». Ее исполняли столь задорно, что вскоре открыли ею шефский концерт в колхозе.

И когда оркестр разом подхватывал эту мелодию, на миг почудилось, что в зимнем месячном свете несется и кружится нечто стремительно быстрое, озорное.

И, вставая и кланяясь потом под горячие хлопки задубелых рук, Игорь впервые ощутил счастливую радость музыки. А назавтра ладони и пальцы его уже держали в подвале училища штукатурный ковш и как ни в чем не бывало лепили разведенной глиной покрытые drankой учебные стены...

Тогда еще никто не знал, никто из них не задумывался, что после училища долгие годы их оркестром окажутся штукатурные бригады, а музыкальные инструменты сменят мастерки-кельмы, полутерки, вырезанные деревянные шаблоны, растворные ящики — заполнят надолго их житейскую суть. Каждому из них заглядывать наперед было пока что рано.

Содня на день ждали Долгановского, любившего вникать в дела с особым пристрастием. В глазах директора завуч имел вес и авторитет. Находил то, что не замечалось другими. Доводы его обычно выглядели настолько логичными, что ни у кого не вызвали желания спорить. Для самих же штукатуров завуч напоминал плохо забитый гвоздь, который хочется либо загнуть, либо вогнать разом со шляпкой. Избежать приезда Долгановского штукатурам не удалось.

В свою очередь и они выглядели в глазах завуча подобием торчащих гвоздей, которые он мастерски умел, если

это требовалось, и загигать, и вбивать до конца. Но для большинства мальцов Долгановский все же считался гвоздем особым, что, оставаясь в стене, отнимает немало времени. Заглаживая теркой раствор, ты натыкаешься время от времени на такой незаметно торчащий гвоздь, и на гладкой терке остаются царапины, от которых работа надолго разлаживается.

Сколько ни затирай потом, ни води по штукатурке теркой, все равно от гвоздя будет след. И пока не исчезнут шрамы, пока ты сам их не уберешь — работу никто не примет.

## 10

Школа стояла между поселком и лесом. И детвора по дороге в лес задерживалась, глазела на приезжих ребят и свою обновленную школу. Она показывала на окна, о чем-то переговаривалась, будто выбирала, заранее облюбовывала себе места.

Высящаяся на холме школа одевалась стараниями пэ-тэушников во все новое. Она была как заботливо наряжаемый первоклассник. Внутри пока пустовала, напоминая незаполненный ученический ранец или раскрытую для чтения книгу.

Но что-то затевалось уже за ее стенами и окнами, куда приезжие парни взялись перетаскивать ящики, крепления, леса — зашивались в свою штукатурную крепость.

Игорь сравнивал школу со своей, где учился до ПТУ. Построенная когда-то наспех с краю деревни, она оставалась для него дорогой и близкой. Но эта школа смотрелась просторнее, светлее, величественнее, возвышаясь своими двумя этажами над поселком. И какие зеленые и желто-синие дали открывались из ее окон! Как притягивал, манил горизонт, какую счастливую радость каждому сулил он.

Как-то Игорь встретил в дверях девчущку, пугливо вглядывавшуюся в полутьму класса.

— Что ты делаешь здесь? — весело спросил он, видя, как малышка попеременно меняет руку с бидончиком.

— Ягоды несусь.

— И далеко ходила?

— Туда, — кивнула она в лес. — Отсюда недалеко.

— Много там ягод?

— Вот глядите, — девчущка подняла, натужась, эмали-

рованный бидончик, доверху наполненный сочной крупной малиной.— Берите!..

— Спасибо. Неси домой.

— Нет, возьмите!

Игорь поднес к губам несколько ягод. Пахнуло лесной росистой травой, наплывом смолы и утренним солнцем. В оконных проемах теперь везде маячила детвора, угощавшая пэтэушников ягодами. Как же не благодарить тех, кто для них же старается!

Как и Антону, Игорю тоже хотелось заявиться к Миле выряженным с иголки. И он воображал, какого цвета купит костюм, как предстанет в белой сорочке и в модных темных ботинках...

Без сучка без задоринки, хорошо и налаженно шла практика. Все усваивалось и познавалось мигом и потому делалось как бы само собой. Молодцы, однако, они с Антоном, выбрав строительное ПТУ. Они уже не отличались от тех городских строителей, которые работали рядом с ними в доме на привокзальной площади. Для самих себя незаметно они были годными во всех смыслах парнями, охотно бравшимися за все, что поручалось.

Они радовались, что завершилась работа снаружи, на открытом, солнцем палящем настиле, который разбирался теперь с неподдельным весельем.

Работа снаружи кончалась. Работа же внутри начиналась.

## 11

После спектакля Игорь до отъезда так и не встретился с Милой. Возможно, неправ был, предложив проводить ее. Хотелось встретиться или хотя бы голос услышать. А почему бы и не услышать? Ведь есть в поселке почта, и в ней кабина с междугородным автоматом.

Не долго думая, он обрадованно разменял рубль на пятнадцатикопеечные монеты. Их вполне хватит на недолгий телефонный разговор. В течение дня монеты позвякивали в кармане спецовки. Звук их придавал уверенность и вселил надежду, что Мила дома.

Волнуясь, набрал номер. Вдруг повезет, вдруг Мила отзовется.

— Да,— коротко, твердо прозвучало в трубке.

— Это я, Раиса Михайловна,— растерянно отозвался он, чтобы не молчать.

— Кто говорит?— спросила она.

— Игорь Божков из ПТУ. Помните, я у вас был?

— Что-нибудь случилось?

— Да нет, ничего. Я из поселка звоню. Скажите, Мила дома?

— Дома...

— Можно позвать ее?

— Мила, тебя!

— А кто?— услышал он голос из глубины квартиры.

— Из ПТУ, твоей...

И не успел он ни сообразить, ни что-либо осмыслить из разговора матери с дочерью, в трубке послышалось выдержанное и спокойно-трезвое: «Слушаю!» Сердце замерло от знакомого голоса. И от строгости, с какой он прозвучал.

— Алло, я слушаю,— повторил строгий голос, не суля ничего хорошего.

С напускной бодростью он отозвался:

— Мила, это я, Игорь! Здравствуй!

— Здравствуй.

— Здесь так хорошо. Я звоню, чтобы пригласить тебя за грибами приехать.

— Меня не отпустят.

— Приезжай с мамой. Я вас встречу. Паром увидишь. Грибов наберете.

— Я не люблю грибы. Их может папа привезти. Он собирается на днях ехать к вам.

Сердце Игоря обрывалось, куда-то падало: разговор явно не клеился. Мила молчала. Он рассказывал, как интересно смотреть издали на паром, как заманчиво плыть на нем через реку и какая радостная и красивая вдоль реки дорога в поселок.

— Приезжай,— торопливо попросил он, опасаясь, что телефон вот-вот отключится. Он вообразил, как поигрывает Мила телефонным проводом, распрямляет и крутит под настойчивые уговоры.

— Здесь тоже неплохо,— отозвалась она с таким ровным спокойствием, что и говорить дальше стало неловко. И пока он собирался с духом, пока соображал, Мила заговорила о том, что так боялся затронуть он.

— Не стыдно было оставить меня одну? Ты не подошел в антракте. Куда-то скрылся.

— Ты была не одна. И никуда я не уходил. Стоял и ждал.

— С кем же я, по-твоему, была?

— Ну, с Димой...

— Ты шпионил, значит!

— Нет, просто видел, как вы побежали наверх.

— Я пошла в музей.

— В музей?

— Да, театральный.

Мила как бы играла сейчас с Игорем, тешилась им, как тешится клубком ниток котенок.

Хотелось сказать, что в музей могли бы подняться и вместе, но он промолчал. «Наверно, так надо,— сказал он себе,— не все знаешь, когда оказываешься в театре впервые».

Надежда на встречу таяла и ускользала, как в жаркий день облако. Предупреждающе зажглось табло, и он опустил последнюю монету.

— Значит, не ждать тебя в субботу?

— Нет. Сдаю экзамены в институт.

Игорь с досадой посмотрел на жестяную коробку автомата. Монет больше не осталось. Цепенел и немел от мысли потерять девушку, о которой он столько думал. В последнее время даже об отце с матерью столько не размышлял. Редко и мало писал. И тем чаще и регулярнее получал письма от них, с трешками и пятерками — на кино и мороженое. Что-то понимали, о чем-то догадывались мать с отцом, настойчиво приглашали приехать...

Конечно, могла Мила и обидеться на него. Кто поймет этих девчонок! Но здесь что-то другое крылось... Нужен ли он вообще Миле, как и Антон Светке? Но Мила нравилась ему такой, какая есть. И когда практика завершится, купит он себе самый роскошный костюм и снова пойдет в театр, но сначала приобретет самые дорогие джинсы, какие Миле и не снились. Именно джинсы, а потом и костюм — его купить проще.

В конце концов девчонкам положено капризничать, пусть себе капризничает, не надо обращать внимания. А звонить он будет все равно. Скорее бы съездил в деревню Антон. Глядишь, и его, Игоря Божкова, очередь подойдет. На субботу и воскресенье Щербаков всегда отпускал одного кого-то из группы повидать родителей. Сам он до техникума тоже был пэтэушником, строителем. И потому понимал ребят и сочувствовал им.

Вопреки всему, из города проверять работу прибыл Долгановский. Завуч сопровождал Щербаков. Тот сосредоточенно ходил вокруг школы, тербил бороду. Внимательно разглядывал сделанное. Штукатуры украдкой поглядывали в сторону завуча, пытаясь угадать, какую оценку дадут их работе. Долгановский меж тем с выводами не спешил.

Игорь с Антоном в это время возились около растворомешалки.

— Чем они заняты?— спросил он у мастера.

— Раствор готовят,— пояснил Щербаков.

Долгановский, подойдя ближе, оглядел известковую яму, горку ссыпанного самосвалом песка, который он потер зачем-то меж пальцев и даже понюхал, потрогал бумажные мешки с цементом и алебастром.

Посредине двора завуч Долгановский и мастер Щербаков задержались.

— А это у тебя что?— поинтересовался завуч, указывая на открыто лежащие кули дранки.

Заложив руки за спину, он попеременно поглядывал на кули и на мастера. Что-то да было в его вопросе: спрашивать просто так не стал бы. В чем другом, а в делах стройки Долгановский разбирался. То, что иногда казалось мальцам и молодому их мастеру пустяком, для завуча имело определенное значение.

— Ну, так что это?— переспросил он с явным подвохом.

— Дранка, сами видите!

— Что кули, я вижу. Но дранкой считать не осмелился бы.

— Дранка как дранка.

— По-твоему, ее и набивать можно?— голос завуча не сулил ничего доброго.

— Вполне.

Независимо как будто держался мастер. И почему бы ему в самом деле не вести себя так: вполне нормальная, одна к одной, дранка. Крепкая проволочная перевязь, ровно обрезанная щепя.

Но что-то таили вопросы Долгановского, чем-то вызывали тревогу. Они относились и к мастеру, и ко всем остальным, кто был во дворе. Кому-то не миновать было разгона.

— Разве так обходятся со стройматериалами?— урезонивал меж тем Долгановский.

— Не понимаю...

— Разве так хранят?— продолжал он, обращаясь к мастеру.

— Где мне еще хранить?

— Да внутри школы, под брезентом, под навесом, который давно соорудили бы.

— Брезента у нас нет, Евгений Григорьевич. Нам его и не давали. На сооружение навеса надо время, которого у нас тоже нет. Не вижу причины волноваться, дранка нормальная.

— А я вижу.

— Сверху виднее.

Антон Камышкин и Игорь Божков прислушивались к разговору.

— И вы еще спорите?!— повысил голос завуч.— Она же гниет у вас!— зачастил он.— Не видите, что вода все время подмывает ее.— Он кивнул на устроенный неподалеку насос, качавший для разных нужд воду. Вода растекалась от насоса, образуя обмелевшее в жаркое лето болотце, в котором лежала там и сям полузатопленная дранка.

— Ничего страшного. Высушим.

— Высушим! Перенесем!— дразнил Долгановский мастера.— Ничего подобного! Она другой будет, когда высохнет. Из нее хворост получится. Где и когда вы ее высушите, если завтра дранку набивать и следом штукатурить?

— Ну, и набьем, оштукатурим. В первый раз, что ли...

— Набьем? Оштукатурим? Голова! На такой дранке раствор держаться не будет. Понятно вам это?

— Вы думаете, отвалится?

— Без сомнения!

— Почему?

— Потому что дранка сырая — негодная!

— Раствор тоже сырой...

— Так, по-вашему, она под раствором сохнуть будет, да?

Щербаков не отвечал, проявляя тем самым заметную нерешительность по поводу сказанного. А бог ее знает, казалось, говорил его вид, может, оно и так.

Меж тем напор Долгановского крепчал, разнос теперь шел всюду, и возражать Щербакову было нечего. После некоторого молчания он все же заговорил.

— Знаете, таким же образом дранка везде хранится,— высказался он с некоторым оживлением в голосе.

— То есть?

— Да на любой стройке лежит вот так...

— Например...

— Помните тот дом у вокзала, который мы ремонтировали?

— И что?

— Там точно так же дранка хранилась. Лежала во дворе совершенно открытая, и все брали, набивали. И ничего.

— То дом. Обыкновенный, жилой. А здесь — школа! — с поучительной многозначительностью пояснил завуч. — Дети — статья особая. Им этого пока не понять, — кивнул Долгановский в сторону Антона с Игорем.

— Они сами еще дети... — добавил Щербаков.

— Которых после отбоя не найдешь, — иронично заключил Долгановский.

Накануне вечером он наведаясь к штукатурам и почти ни одного пэтэушника из группы не застал: одни смотрели в клубе кино, другие были на танцах.

Слушая разговор, Антон и Игорь весело хохотнули: черта с два найдешь и самого мастера после отбоя. Случается, что он только под утро, а иной раз и прямо к завтраку появится. Смешки мальцов Долгановскому не понравились.

— Я приехал сюда не спектакль устраивать. А помочь вам.

Завуч, по всему судя, обиделся. Заговорил с таким волнением, что Игорь Божков и Антон Камышкин раскаивались за беспричинный смех: нет ничего проще, чем человека обидеть. Истина об уважении и почитании старших внушалась им с детства. С ней дома считались все — от мала до велика. О ней помнили и в ПТУ.

— Мой долг помочь сдать вовремя школу, — заговорил завуч. — От вас здесь зависит настроение многих детей. Кстати, и ваше тоже...

И Игорь с Антоном притихли. Ждущие и молчаливо кающиеся, они готовы были сделать и сотворить что угодно, только бы вернуть настрой Долгановскому. На какую-то минуту их объединила одна забота и цель, общее дело людей, строящих сельской детворе школу. И это мгновение ощутилось не только практикантами, но и самим завучем. Он угадал их состояние и, словно прощая, дал понять, что обеспокоен он теперь больше поведением их мастера.

— Придется вам, Юрий Владимирович, — подытожил Долгановский медленным и устало-успокоительным голосом, — платить за дранку. Из собственного кармана. В таком виде ее нельзя набивать...

Продолжать спор с Долгановским Щербакову явно расхотелось. И завуч смягчился:

— Распорядитесь, чтоб дранку немедленно разложили на сухом месте.

— Божков и Камышкин, идите сюда,— позвал мастер стоявших поблизости Игоря и Антона.— Перетаскайте кули на солнечное место, а когда дранка подсохнет, занесите в школу.

Оба согласно кивнули. Сняли спецовки, разулись и, оставшись в трусах, принялись за работу.

— Ничего себе — доверили,— съехидничал Игорь, складывая кули подмокшей стороной кверху.— Гордись!

— Как пить дать, последними будем!— Антон негодовал.— Слышал, что сказал Долгановский: «Сорвете срок — на себя пеняйте».

— Правильно сказал,— заметил Игорь.— К сентябрю надо во что бы то ни стало школу сдать.

Он припомнил приходившую к ним детвору, во все глаза разглядывавшую свою новую школу. Вспомнил девочку, угощавшую ягодами. Какой счастливой она была, какой щедрой!

— Не уложиться к сентябрю,— вздохнул Антон.

Игорь даже куль опустил.

— Подумай, что говоришь?

— Сам посуди. Скоро начнут штукатурить, а дранка сырая. Да и место рабочее у нас с тобой не готово, все с кулями возимся.— Лицо Антона помрачнело, стало на редкость серьезным. Ровно бы от срока сдачи зависело его будущее.

Только тут понял Игорь, что не знал до конца Антона. Кажется, и ходили в одну школу, и жили рядом, а вот знал плохо. Сейчас будто впервые увидел, что значил для Антона труд, чем было для него единство слова и дела, отдаваясь которому он выкладывался без шума и лишних слов, с упорством.

Вороша мокрые кули, он взглянул мельком на Антона, и загорелое лицо его показалось прокаленно-кирпичным, а черные волосы уподобили Антона вождю индейцев из множества виденных фильмов. Жесткие волосы друга стояли торчком, и это еще больше усиливало пришедшее на ум сходство.

Нелегко жилось дома в деревне Антону.

Отец его, инвалид войны, возил на сдачу колхозное молоко, после чего заглядывал в магазин за чекушкой. И так

начекушивался, что конь привозил хозяина сам. Хозяйничала дома мачеха, незлобивая и отходчивая. Когда Игорь навевался, Антон с крайней неохотой покидал меньших братьев и лишь ненадолго уходил выкупаться либо поиграть в волейбол у колхозного клуба.

В ПТУ учился хорошо. Штукатурить дома Антону нравилось. Он любил свое дело и не искал иного, как это было вначале с Игорем, поступавшим в другое училище. Набрасывая раствор, возясь с мастерком или теркой, он чаще всего молчал. Заговаривал во время работы редко, например, когда что-то вынуждало его, как сегодня. Игорь подозревал, что мысли Антона были о Светке.

— Не бери в голову,— дружески улыбнулся Игорь.— Дранку мы, конечно, перенесем. Отказываться поздно. Да и неудобно. А подмости поставим после ужина. Придем и поставим, чтобы от ребят не отставать.

Антон, оживляясь, посмотрел на напарника. Взгляд его говорил, что предложение дельное и принимается.

— Не удивляйся. На час работы! Наверстаем!— И Игорь запел песню про бедняка и долю, в которой если затужить — обидит и курица.

Антон повеселел. Про себя же Игорь заметил, что если бы послать их вместе в космос, то наверняка получился бы неплохой экипаж.

— Тебе ничего ребята не говорили?— спросил его Антон, отвлекаясь от дел.

— Нет. А что?

— Послезавтра за яблоками вылазка в соседний совхоз. Пойдем, после ужина?

— За яблоками ходить — не кули переносить,— срифмовал на ходу Игорь, взваливая на плечи очередную партию рассыпанной дранки.

### 13

Завуч с мастером ушли. И даже хорошо, что ушли. По крайней мере некому над душой стоять.

Напарники переносили дранку. Как только брали они отяжелелый от влаги очередной куль, настроение тотчас же падало от непредвиденно подкинутой им судьбой работы.

— Просто везет на гнилую дранку,— заметил напоследок, смирясь, Антон.

Пропустить бы Игорю мимо ушей. И все бы кануло в прошлое. Но Игорь не сделал этого.

— В каком смысле?— спросил он.

— У вокзала, помнишь, попалась? Теперь здесь.

— А что у вокзала? Дранка как дранка.

— Забыл ты, что ли? Мазутный куль?!

Игорь мгновенно вспомнил ту дранку. Вспомнил не вообще всю, а лишь куль, оставшийся напоследок. Тот самый, который мастер посоветовал им использовать.

Теперь-то ему было ясно: сырая, обмазученная дранка была такого же качества, как и эта.

— Слушай-ка, Антон...— начал Игорь нерешительно, а затем, почувствовав уверенность, спросил:— Знаешь почему у нас полз там раствор? Почему не держался он на той стене в городском доме?

Антон выпрямился, ожидая ответа, хотя по настороженно застывшему лицу Игорь понял, что он и сам догадывается.

— Она же мокрая была! Слышал, что сказал Долгановский: мокрая дранка под раствором не просыхает. Понял?

— Понял. И хорошо придумали тогда,— поддакнул Антон, наклоняясь за очередным кулем.— Правильно придумали,— выносил он свое заключение.— Залепили алебастром.

— Хорошо еще, что успели. Слушай, Антоша,— так называл Игорь напарника в минуты особо хорошего расположения.— А что, если о нашем способе мастеру сказать, а?

— Не уверен, что ему придется по душе.

— Зато есть выход, если дранка окажется непригодной... Да и нос Долгановскому утрет, докажет, что и на этой дранке штукатурка держится. Надо только побольше добавить в раствор алебастра. Если же не поверит им мастер, пусть пойдет в дом у вокзала, сам убедится...

— Это ведь, Игорек, брак, что мы с тобой тогда сделали,— заключил в осторожном раздумье Антон.

— Брак?.. Но если штукатурка не опала, значит, можно и так делать?

— Чудак, если не опала сейчас, опадет позже.

— Прежде надо увидеть,— не сдавался Игорь.— А чтоб увидеть и убедиться, следует выбраться в город. И зайти в ту квартиру.

— Так тебя и впустят.

— Впустят, если всежливо попросить.

— Поговори с мастером. Не думаю, чтоб жильцы нам обрадовались.

— Что гадать. Пойду поговорю.

— Смотри только, как бы нам это боком не вышло. На то и делается раствор в пропорциях: столько-то извести, столько-то песка, алебаstra, цемента...— рассудительно излагал другу Антон.

Житейская мудрость напарника удерживала, как могла, Игоря от необдуманной прыти, но того словно бы подменили. От мысли попасть в город и увидеть Милу он загорелся еще сильнее. Нелегко и непросто оказалось Антону отговорить друга.

— Подамся-ка я к Щербакову,— решил тот.

— Иди. Осталось немного. Управляюь один,— сказал Антон, понимая его нетерпение.

Игорь нашел мастера около общежития.

— Что случилось?— спросил Щербаков.

— Да ничего. Все в порядке.

— А зачем здесь? Разве рабочее время кончилось?— Мастер не скрывал удивления.

— Поговорить хочу.

— Слушаю.

Как Игорю показалось, он быстро и складно поведал мастеру об их, по мнению Антона, браке в привокзальном доме. Но сказал он не все, а только то, что залепили они место, как говорится, вчистую — одним алебастром. О предложении воспользоваться этим методом — говорить он пока не решался. Важно было узнать, как отреагирует Щербаков на сказанное.

Мастер выслушал, подумал, что-то прикинул и без особого энтузиазма, словно бы мимоходом, бросил:

— Так иди и скажи Евгению Григорьевичу. Он тебе и посоветует, как быть и что делать.— Нельзя понять, всерьез сказал или отшутился.— Только честно. Как было. Договорились?

— Ладно,— буркнул в ответ Игорь.

На шутку вроде не похоже. Наверное, побаивался, как бы к случаю с намокшей дранкой не добавилась и халтурная работа его подопечных на прежнем месте. Пусть, мол, сами расхлебывают, я при чем тут?

А может, и не идти, не говорить ничего? Может, плюнуть, махнуть на все рукой. И какого черта полез, сам напросился... Но теперь, когда и мастер знает, отступить поздно. Теперь «про это» он может поведать завучу, и неизвестно, какой вывод последует, чего доброго — вообще не дадут диплома. А то и из училища вытурят. Отправят

домой. Там начнут судачить: сбежал, скажут, а если не сбежал, значит, выгнали, исключили. В жизни часто так: говорят об одном, а на деле все по-другому. Как неудачнику, в деревне подберут на всю жизнь и прозвище. Нет, решительно не мог ехать Игорь Божков домой. Не годилось туда показываться, идти обратной дорогой из-за собственной же глупости.

Хочешь не хочешь, а говорить с завучем придется.

Потоптавшись у дверей, слегка робея, Игорь отворил дверь. Долгановский сидел за столом.

— Евгений Григорьевич, вы в город едете?

— Еду.

— Понимаете, какое дело... Надо срочно побывать в доме, что у вокзала. Посмотреть...

— Что посмотреть?— хладнокровно уставился на него завуч.

— Понимаете, одно место на стене. Мы залепили его не так. А может, и ничего. Может, и держится оно.

И он повторил свой рассказ.

Выглядел Игорь чересчур растерянным. И завуч угадал его состояние, определил, как определял и угадывал он прежде многих.

Без долгих рассуждений протянул ему вынутый из папки лист бумаги:

— Напиши, как было.

Игорь опешил.

— Чтоб по форме,— пояснил Долгановский.

— Зачем?

Непонятный страх и боязнь разом сковали паренька. Он не знал, что и сказать. Только бы вернуться скорее к школе и ни во что никогда не вмешиваться — было первым порывом. Скорее, скорее на рабочее место к спокойному, сдержанному Антону, пока не передумал и не потребовал Долгановский чего другого.

Евгений Григорьевич уловил его намерение уйти.

— А я видел,— спокойно сказал он.— Я ведь все знаю.

— Видели?

— Представьте себе. И ни черта она там не держится, так называемая, ваша работа.

— Но вы же хвалили ее?!

— Да, было: хвалил, пока не разобрался.

Вкрадчиво мелькнула в сознании мысль — откуда бы завучу знать, что штукатурка не держится, где и когда он мог видеть? Мысль эта была мимолетной. Ее заслонили другие

мысли, сиюминутные. Однако много позже, воскрешая разговор с завучем, Игорь припомнит и ее.

— Мы залепили как следует,— говорил он, продолжая стоять у дверей комнаты.— Раствор там держался!

— То-то и оно, что держался!..

— Мы хорошо то место заделали,— не сдавался он.

— Никогда вы его не залепите как следует,— ответно доказывал завуч.— Всыпать бы вам за такую работу.

— Да откуда вы знаете?..

— Короче говоря, жильцы вашей квартиры написали в стройуправление, оттуда письмо переслали в училище. И пока вы здесь рассуждаете, мне пришлось разбираться и краснеть.

— Что же нам было делать?..

— Отдирать ломиком и набивать по новой.

— Тогда мы не успели бы к сроку.

— Возможно.

— Это же целую стену переделывать!

— А как иначе? Потому и пожалел вас: на свою голову. Впрочем, вряд ли бы вы сами и справились.

Это было невероятно: Долгановский, оказывается, видел их работу, и то, что они довершили ее неправильно, для него не явилось новостью.

Разговаривая, Долгановский стоял у стола и легонько покачивался, как бы пробуя крепость ног. Для него это было привычное по службе дело, для Игоря же и Антона — горький урок и трудное сознание приобретаемой ими профессии. Верно ли поступил он, открываясь и признавая свою неудачу на практике, свое первое невезение в роли строителя? Но завуч, как выяснилось, был уже в курсе дела...

И в поселок-то, возможно, приехал он по той же причине — осмотреть дранку. Из-за Божкова с Камышкиным и начал придирчиво проверять хозяйство, опасаясь повторного случая.

Закрадывалось сомнение: откуда знает? Конечно, он водит их за нос, а штукатурка держится... Если бы это можно было проверить! Заглянуть к жильцам квартиры, извиниться, спросить и уйти. И навсегда сделать для себя единственно точный вывод. Он был нужен, как воздух, которым предстояло дышать Игорю и Антону в будущем.

«Все начинается со стройки,— говорил им весной Долгановский.— Профессия строителя — самая нужная. Его

езде уважают, чтут и ценят...» Ребята помнили напутствие слово в слово.

Игорь то приближался к открываемой им цели и истине и, казалось, вот-вот уяснит ее и закрепит для себя, то отдалялся, не успев ничего толком понять...

Самое правильное — податься в город сегодняшним последним автобусом. Оглядеть стенку в квартире, переночевать в училище или на вокзале в зале ожидания, а утром вернуться. Заодно Игорь постарался бы увидаться с Милой, еще раз попытался бы вернуть дружбу...

Реальность же говорила, что смотреть работу, когда дом принят и заселен,— дело пустое, почти безнадежное: может, их недоработку исправил кто-то другой... И главное, сама поездка в страдную пору выглядела бы ненужной блажью. Чего доброго, сорвет сроки работы, рассчитанной на двоих. Да и мастер не согласится: не самому же ему работать за своих парней.

Однако и не думать теперь о той первой работе, о первом самостоятельном в городе деле было уже невозможно. Он вспоминал то и дело этаж, расположение комнаты, которую они штукатурили. Она останется для них навсегда памятной. В ней они впервые открыли свой счет: счет собственным трудовым дням. Не забыть того первого дня практики, когда они направлялись к старинному дому, а потом возвращались с новым, возвышенным чувством, не испытываемым раньше.

От торчащих за поясом молотка и кельмы, от этих небольших двух предметов, Игорь ощущал захватывающий холодок восторга, без которого не обойтись на любой стройке, какой бы громадной или маленькой ни была она. Вокзалы, дома, гостиницы, плотины — все сооружалось двумя этими предметами...

И вдруг напористая простая мысль почти решением вспыхнула в его напряженном сознании. И осененный этой внезапно пришедшей простой и доступной догадкой, он выбежал из комнаты.

Игорь направлялся к почте. Вот сейчас он позвонит Миле и попросит побывать в доме. Он все, все ей расскажет — как войти и что спросить. Хорошо, что в городе есть знакомая девушка, которую запросто обо всем можно попросить. Только бы оказалась дома.

Телефон Милы, однако, был занят. Сколько ни набирал он, гудки раздавались частые и короткие. Но они только усиливали его упрямство. Минуло полчаса, минул час — те-

лефон оставался занятым. Игорь опаздывал и каждую минуту надеялся, что вот-вот дозвонится.

В конце концов гудки пошли длинные и протяжные. Трубку сняли, и сердце екнуло от удачи и терпения.

— Да,— услышал он, как и в первый раз, голос матери.

— Здравствуйте, Раиса Михайловна. Мне очень Мила нужна,— быстро заговорил он, чтобы не терять времени.— Позовите, пожалуйста.

— Минутку.

— Алло...

— Мила, ты?

— Да-а-а...

— Даже не верю, что дозвонился. Непрерывно занято было!— Он говорил так, будто не было между ними разговора, отгоняя мысль, что ему могут отказать.

— У нас беда в доме. Мама волнуется.

— Беда-а-а?— удивленно переспросил он.— А что случилось?

— Кошка Зося пропала. Выпустила поиграть на площадку, а ее и след простыл. Звоним по всем рынкам, соседям — очень красивая. Сиамская.

— Вы найдете ее, я уверен,— торопливо заверил Игорь и, помня, что монет у него не так уж много, спросил: — Мила, ты дом у вокзала, где мы начинали практику, помнишь? Я тебе о нем говорил.

— Большой такой, на углу?

— Он самый. Ты как-то говорила, что у тебя там живут знакомые.

— Ну и что?— как-то настороженно перебила она.

— Ты смогла бы выполнить мою просьбу? Я тебе все объясню. Ты только не бросай трубку. И еще — никому не говори о моей просьбе. Хорошо?

— Ладно...

— Возьми бумагу и запиши...

Когда он все объяснил, робко попросил:

— Наведаться надо сегодня же. Прямо сейчас. Я еще раз позвоню.

— Я не могу тебе обещать, должна прежде с мамой поговорить,— охладила она пыл Игоря.— Вряд ли меня одну пустят. Надо кошку вначале найти...

— Да я тебе сто таких кошек куплю!

— Таковую не купишь.

— Любую найду!

— Любая нам не нужна...

— Так я могу надеяться?..

— Не знаю...

Автомат отключился: кончились монеты.

В поселковом клубе кто-то включил магнитофон. Наступал вечер. Девчонки и парни потянулись к клубу, а Игорь с Антоном, наскоро перекусив, направились к школе.

#### 14

Вслед за Долгановским прибыл и Сергин. Работа штукатуров им понравилась — на совесть трудились ребята. Школа практически была отделана. Такого же мнения придерживались и в поселковом Совете.

Юрий Щербаков мотался от одной штукатурной пары к другой, помогая то тут, то там, и про себя поругивал трудоемкий «дедовский» способ с набиванием дранки. Все другие методы виделись ему куда экономнее, легче и проще, но применить их в деревянной школе было практически невозможно. Штукатурить по дранке ему и самому доводилось редко, деревянных зданий сегодня встречалось мало. Сказать, чтоб он совсем не питал особой любви и охоты к устаревшему методу — было бы не совсем справедливо. Но раз поручили, хочешь не хочешь, а делать надо.

Группа напоминала реставраторов: к каждому метру приглядывались, прикидывали да взвешивали, с чего и как лучше начать. Везде требовался совет мастера. Практика выглядела для ребят серьезной проверкой, основательным испытанием.

И было в этом нечто лестное, о чем Щербаков вслух не высказывался: отделка нового здания под силу каждому, тут тебе и насосы и сетки — любой инвентарь, поливай да разравнивай. В старой же деревянной школе мало что было под рукой. Надеялись больше на расторопность, смекалку, усердие рабочих людей.

Для Юрия Щербакова, или, как называли его меж собой в группе — «наш Юра», это был первый выпуск с момента назначения учебным мастером ПТУ. Вел он группу не без тайной надежды сделать ребят специалистами, слава о которых росла бы и множилась на больших и на малых стройках, а с нею бы шел слух и о самом мастере...

В этот раз на субботу и воскресенье Юрий Щербаков отпустил в город Вальку Павлихина. Как уверял Валька:

заболел родной дядя, сотрудник городского музея, у которого жил он перед поступлением в ПТУ.

Пытался староста уговорить ехать и Игоря, заманчиво намекая на возможность увидеть редкую музейную чашу и даже выпить из нее, для таких нужд древнюю чашу принесут и домой к дяде...

Предложение вначале показалось соблазнительным, и Игорь рассказал о нем Антону. У того оно не вызвало ни малейшего восторга.

— Павлихин научит тебя...— сразу же предостерег Антон.— Втравит в очередное дело. Его, если что, завуч выручит, а вот кто за тебя встанет? То беспокоился о drankе, то к какому-то пыльному кубку тянешься — не пойму я...

— Так это же после всего...— неуверенно возразил Игорь,— когда уже дел не будет.

— Смотри сам,— коротко бросил, как отрубил, Антон.

И в ту же минуту Игорю стало неловко. Он и сам не знал, что происходило с ним: вместо того чтобы о деле подумать, потянуло на озорное. С Павлихиным всегда что-то случалось. Задира, он часто попадал в скандальные истории. Неизвестно почему, только Долгановский и в самом деле не давал Павлихина в обиду, вставал за него стеной. Вряд ли кому-нибудь сошло с рук такое, что произошло прошлой зимой: Павлихин сорвал в городе шапку у первогодка другого училища. Любого бы наказали за это, а Валька отделался лишь внушением.

Где мог, Павлихин всячески восхвалял завуча. Крутой нрав Павлихина, редкая сила да странная защита и покровительство Долгановского вынуждали кое-кого в группе бояться старосты, а иной раз и потворствовать ему.

В тот же день после ужина сразу, как только мастер направился к кому-то из своих знакомых в поселок, часть ребят группы, не теряя времени, решили отправиться за яблоками.

Сергин же и Долгановский в тот день уезжали в город. Они шли к переправе, наслаждаясь тишиной и прощальной благостностью уходящего лета. Солнце оранжевым пожаром полыхало за косогором, поджигая сосны на холме.

— Вроде неплохо идут дела у Щербакова,— одобрительно сказал Сергин.— Я, признаться, боялся: первый выпуск у него. Но теперь как-то успокоился. И ребята в группе неплохие.

— Размягченный он только,— поделился Долганов-

ский.— Пожесточе надо. Потребовательнее. Я, к примеру, знаю недостатки Павлихина, его буйный, неуравновешенный характер, но такой мне как раз и мил: любит действовать, а не рассуждать.

— Как бы, Евгений Григорьевич, эта неуравновешенность не завела бы любимого тобой старосту куда не надо. Привык он быть на виду, верховодить везде и всюду. А такие натуры подчас вырастают в откровенных гримил.

— С ним этого не случится.

— Тебе, вероятно, лучше знать. Вообще-то, Евгений Григорьевич, у каждого из них — и у ребят, и у мастера,— продолжал Сергин,— своя кольцевая дорога. И может быть, не легче нашей с вами.

— Только пусть она не будет такой, как моя...— вздохнул Долгановский.— Да и твоя не слаще: война за плечами.

— Так-то оно так...— Сергин помолчал.— А Павлихин ваш действительно выделяется. Может, потому, что городской. Сельские ребята наивнее, простодушнее. Они больше смотрят не под ноги себе, а вверх, вдаль и потому спотыкаются чаще. Но такие, как Божков, уравнивают других, типа Павлихина. И это, думается, хорошо.

— Тут я согласен. Целиком и полностью,— поддержал Долгановский рассуждения Сергина и спросил: — Ты, Виктор Петрович, видно, неплохо в школе учился.

— Не совсем так,— усмехнулся Сергин.— Долго считался даже трудным подростком. Неподдающимся. Всех не перечислить, кто поучал и воспитывал меня. И вот как-то девочка из нашего класса подарила мне на день рождения две книжки стихотворений: Пушкина и Лермонтова. При том с условием, что одну из них я выучу наизусть: «Неужели не сможешь? Я и то выучила». А надо сказать, что с этой девчонкой каждому из нас хотелось дружить. Красивая, стройная. Но чертовка только смеялась и убегала. И вот я подумал: попробую выучить. Носил книжку за поясом под рубашкой и где оставался один, там и читал. Ты веришь, Евгений Григорьевич, какой-то теплый, очищающий дождь проливался на мою душу. Над некоторыми стихами я даже плакал, словно ребенок. Ты только вдумайся, как хорошо сказано: «Но я люблю — за что, не знаю сам — ее степей желодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям»!

— И ты, Виктор Петрович, все стихи Лермонтова вы-

учил?— с интересом спросил Долгановский, привычно пощипывая бородку.

— Кончилось тем, что они сделались для меня как бы молитвой. Ложась спать, я непременно читал их: «Скажи мне, ветка Палестины: где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины ты украшением была?» И вот я думаю, что оказалось не под силу множеству людей, взявшихся за мое воспитание, сделала одна девчонка, один человек, заставивший меня полюбить стихи. Это же надо сказать полтора-два года назад: «Спит земля в сияньи голубом!» Ведь только от Гагарина мы узнали, что земля сверху выглядит и в самом деле голубой. Но поэт в космосе не был!

— Да ты, Виктор Петрович, даже взволновал меня! По чаще бы нам выбираться в командировку.

— Так что, Евгений Григорьевич, ты приглядишься к ребятам получше,— продолжал Сергин, не обращая внимания на реплику завуча.— Кроме штукатурного дела, наверняка многие из них знают и любят поэзию. А может, в ком-то и поэт скрыт. Кое-кто из них стыдится этого чувства, боясь быть осмеянным, как я. Потом же отбросил ложный стыд и ушел от дурной компании.

К пристани медленно подходил паром, а на другом берегу уже ждал автобус.

— Ну, а девчонка эта, случайно, не Раиса Михайловна?— поинтересовался, входя на паром, Долгановский.

— Нет. Раису Михайловну я встретил позже, после фронта. А та погибла в тылу врага, была разведчицей. Жизнь каждому определяет свою кольцевую дорогу, с которой потом не сойти до конца дней.

В автобусе места им достались разные. И оба ехали, каждый наедине со своими мыслями.

Выражение «кольцевая дорога» Сергин припомнил после вечерних прогулок. В старом сквере, недалеко от дома, он гулял по совету врачей: все чаще давало знать себя большое сердце. Маршрут был до мелочей известен и вымерен. Три круга составляли ровно тысячу восемьсот метров. На пути он знал каждое дерево, помнил ветки, нависавшие по сторонам тропы. Это теперь была его собственная кольцевая дорога — директора ПТУ Сергина Виктора Петровича...

Пэтэушники были довольны, как бывают довольны люди, рядом с которыми по соседству речка и большой дере-

вянный клуб, в котором хочешь смотри в летний вечер кино, хочешь танцуй, а хочешь броди, разглядывай с поселковой горушки вечернее небо, на котором с мучительной четкостью светили звезды и углевым жаром струился, неукротимо тек Млечный Путь.

Каждый находил себе по душе занятие. К концу вечера в клуб заявлялись обычно те, кто не был ни в кино, ни на танцах. Карманы запоздалых гуляк оттопыривались от яблок, рубашки отвисали. Глаза у «добытчиков» озорно блестели и румянились лица.

Через местную детвору быстро проведали о богатом яблоневои саде за лесом. Сама детвора ходить не осмеливалась из-за обнаруженного где-то волчьего выводка. Осторожность, как потом выяснилось, имела веские основания: волки резали время от времени колхозных телят и овец.

Пэтэушников же опасность дороги не страшила. Каждому не терпелось пройти через этот лес. Мало кто забредал сюда. Но вряд ли кто рискнул бы пойти один. Вековая тишина стерегла в лесу единственную от поселка тропу.

Перед лесом лежало дегтярно-черное торфяное болото. Оно настораживало, вынуждало идти берегом молча.

Зато потом, когда лес сменялся березовым колком и за ним открывались сжатые поля и огромный по холмам сад, ликовала душа и ноги сами несли к гуще отяжелевших яблонь.

Лето убывало, и яблоки созревали день ото дня заметнее. Рвали лишь крупные с красным боком либо налитые с желтинкой. Чтобы не сломать, ветку гнули и с медленной осторожностью подкручивали яблоко, пока не отрывалось само.

Ходили в сад сразу после работы, чтобы засветло уйти, засветло и вернуться. Когда достигали на обратном пути торфяного болота, солнце садилось. От торфяного озера тропа вела дальше, прямо к поселку. Часа полтора дороги в оба конца — и ты заваливаешься счастливо на свою железную койку, с грохотом рассыпая по полу яблоки, или, разгорячась, направляешься на свет и музыку к деревянному клубу. И никто бы не догадался о пэтэушных походах, если бы не помог случай.

Компания оказалась как никогда многочисленной. Антон и Игорь с охотой влились в нее. Лес прошли быстро, весело и почти по-пластунски пробрались к яблоням.

Набив карманы яблоками, решили держаться ближе

к березняку перед лесом. С полей уже возвращалось стадо, и лезть на глаза пастухам не хотелось.

Меж тем оно вело себя странно. Блеяли почему-то овцы, ревели коровы, тревожа погружавшийся в сумерки кустарник. Набирая бег, стадо напрямик перло на кустарники с пэтэушниками, опасливо отбежавшими в сторону при виде коров. Красноватые налитые глаза животных, казалось, ничего перед собой не видели. Коровы промчались мимо.

Вначале думалось, что бежали коровы в кусты из-за того, что там находились чужие. Но рассудительный Антон быстро отверг догадку, резонно заметив, что на людей стадо не побежит.

И оказался прав. Двое пастухов на конях обогнали коров, пытаясь сдержать их бег. Стадо подминало кустарник и обдирало бока. Любую из коров могла проткнуть рогами соседка. Сбереечь от увечья животных, повернуть на чистую луговину было сейчас для пастухов главным.

И никто из них не замечал происходящего возле леса, всколыхнувшего и взбудоражившего животных.

Творилось же на краю поляны от леса редкостное. Наверяд ли кому и доводилось такое видеть.

Пэтэушники пригнулись, присели на корточки и, разглядывая местность понизу, заметили мечущуюся серомастную овцу. Она была отбита, отогнана от стада кем-то, вроде сторожевой или пастушечьей собакой.

Каждому хорошо виделось, как она проворным прыжком настигла овцу, схватила за шею и, не дав овце завалиться, метнула на спину и потрусила с ней к лесу.

— Волк!— выдохнул Антон, не веря глазам.— За стадом у леса! Это он. Точно, ребята. Овцу поволок.

Несколько секунд хватило волку, чтобы скрыться в лесу. Отлаженные, давно отработанные приемы поражали четкостью. Такое и в кино не увидишь.

Спохватился, опомнился первым Антон.

— Ату, ату!— закричал и бросился он, увлекая за собой Игоря и остальных, выхватывая на ходу мешавшие бежать яблоки и бросая их в трусившего с ношей волка. Зверь бежал медленно, и яблоки ложились почти с ним рядом. Они падали как неразорвавшиеся фитильные бомбы приключенческих фильмов. Волк приседал, поправлял сползавшую ношу и продолжал трусить дальше.

Кому-то подвернулась палка, кто-то поднял камень, с криком пэтэушники бежали за волком. Не бросая овцы, зверь юркнул в густой ельник и пропал под низким пологом

колючего лапника. Лезть в сумрак ельника никто не решался. В чащобе зверь — что у себя дома.

— Ну вот и упустили! Ушел!..

— Ищи его теперь в лесу!

Однако каждый из ребят понимал и другое: не понесет волк далеко добычу. Ему не пробиться с ней в ельнике, припрячет где-то в надежде вернуться позже. Сейчас только и наступать, не теряя времени.

Швыряя палки и камни, громко крича, протиснулись в ельник и отыскивали быстро овцу. Из перекушенного горла сочилась кровь, животное дышало пока, и каждый гладил овце теплую голову. Потом спохватились. Игорь побежал, обдирая лицо и руки, к пастухам. Верхами подъехали мужик и парень.

— Скорее, Иван, к зоотехнику,— сказал пожилой младшему.— А то недогляд сочтут.

Овцу взвалили поперек седла и повезли в деревню.

— Молодцы, ребята! Молодцы!— благодарил пожилой пастух пэтэушников.

Возбуждение постепенно спадало. Суматоха улеглась; время спешить домой. Знакомая тропа внушала теперь порядочное опасение. Так поздно ею не возвращались. Только бы миновать засветло лес, а дальше уже — по ровному да по голому на огни — дойти будет нетрудно. Но вот лес... Вотчина волка... Волк может оказаться и бешеным. Летом с ними такое бывает.

Неизвестно, как преодолела бы компания путь к поселку, будь вечер темным. На счастье, рано светила луна и звезды, и тропа, смутно темнея, вела ребят к поселковому дому. От лунного света лес выглядел настороженным, и пэтэушники замирали от мысли, что под кустом или деревом их поджидают волки. В руках были палки, и весь путь ими колотили по стволам и веткам деревьев.

Вот и расступился лес, кончилась лесная дорога. Впереди озеро, а за ним — поле, открытое поле, за которым вот-вот мелькнет огнями поселок. Опустошенно стучат сердца. Отныне никто не пойдет за яблоками по этому лесу. Уж лучше ходить за лесными орехами — по другую сторону от поселка.

Наведываться за яблоками вскоре отпала надобность. Не из-за волков, а совсем по другой причине.

В один из дней под окнами пэтэушного обиталища остановился фургон «Москвич». Неторопливо вылез плотный загорелый мужчина. За ним с той же степенностью выбрался

и шофер, в джинсовом костюме молодой парень. Мужчина спросил, где мастер. Щербаков сидел как раз за нарядами — в своей комнате. Приезжих привели к нему; чувствовалось, что приехали они неспроста: держались спокойно, но с долей загадочности.

Втроем они, говорливо-веселые, и вернулись к машине. Открыли заднюю дверцу фургона, и шофер принялся выгружать мешки с яблоками.

— Идите-ка помогите,— распорядился Щербаков глazeвшим пэтэушникам.

В машине привезли яблоки из того же сада, в который ходили они по глухому лесу. Дарили за овцу, отбитую у волка. И привез не кто-нибудь, а сам председатель.

Теперь в сенях школы стояли мешки. И каждый брал и ел яблоки с такой легкой доступностью, что ходить в сад в один день расхотелось. Яблоки были под рукой и никаких приключений никому не сулили.

## 16

Лишь после практики стал собираться Игорь Божков домой, и то ненадолго, чтобы поговорить с родными, показать диплом. Получив первым назначение, он хотел и уехать первым... Навестить же родных следовало: когда-то потом представится возможность! Давно не был дома, поэтому и жило в Игоре странное, прежде незнакомое ощущение: в твое отсутствие там будто что-то случилось. Только бы не беда какая, о которой могли и не сообщить. Чувство обостренной тревоги, вероятно, исходило и передавалось ему от родных, от их долгого ожидания сына: первое лето провел вдали от дома! Прочно держало его это незнакомое ощущение, толкавшее одновременно и на свидание, и на прощание с домом.

Отшумела, схлынула, как речной лед по весне, практика. Закончив в срок все работы в школе, штукатурки вернулись в город. Ходили в кино, отдыхали, навещали знакомых, присматривали в магазинах обнови накануне получения расчета за практику.

У Игоря были свои заботы, они отличались от беспокойств и забот других: из будки вблизи училища он в первые же минуты после возвращения стал звонить Миле. Все остальное выглядело сейчас сущими пустяками и мелочью.

Трубку всякий раз брала мать, Раиса Михайловна, и отвечала почти одно и то же, что Мила в институте и когда будет — неизвестно... Ответы Раисы Михайловны звучали

вроде любезно, но чувствовалась в них сдержанность — понимай как хочешь. Игорь успокаивал себя тем, что никто, кроме Антона, не знает и не знал о его дружбе с Милой, дочерью директора училища, иначе бы посмеялись над незадачливым ухажером.

Потом он перестал звонить, проникшись желанием первому уехать из красивого древнего города, уехать куда угодно, только бы скорее. Ответы Раисы Михайловны он сравнивал с ответами автомата. Других возможностей встретиться с Милой Сергиной, ставшей студенткой, он не видел: не подкарауливать же ее около дома. И начал уговаривать завуча отправить его по распределению первым.

Долгановский пообещал, сказав, что не сегодня-завтра понадобятся несколько человек на строительство элеватора в соседнюю область. Заручившись обещанием, Игорь отправился на вокзал. Шаг сделан, и спешить теперь больше незачем. Купил билет, сел в поезд: кто-то как бы руководил им, подсказывал не спешить, не торопиться, а вникать и вглядываться пристальнее в окружающее.

К дому шел он через поле, кустарники. И чем дальше уходил от станции, тем зарослей становилось больше, и стега уже, разветвляясь, петляла в кустах вправо и влево, выбирая лежащую через ручей хворостяную кладку.

Прежде он знал одну тропу, на которой всегда с кем-либо встречался. Теперь же никто не шел навстречу, что невольно усиливало тревогу и беспокойство. Он выбрал в зарослях ту тропу, которая на его памяти считалась единственной, основной тропой от деревни к станции. Но и здесь никто не встретился ему, и на ней никого не увидел он до самого дома...

Первой, кого с дороги возле дома заметил он, была мать. Она увидела его, как только свернул к калитке, и, оставив на грядке корзину с выбранным луком, вытирая второпях руки, поспешила навстречу.

— Дал бы телеграмму загодя!— первое, что сказала она.

— А зачем, мама?

— Отец подъехал, встретил бы.

— Я же не начальник какой. Куда приятней пройтись.

Он поцеловал мать в щеку, всегда пахнущую для него свежейиспеченным пряником, которые по обыкновению делала мать в весеннее пасхальное утро.

— Никого за всю дорогу не встретил, как вымерли все!

— На картошке люди сейчас. Спешат убрать. И свои,

и приезжие. И отец твой там. Погода-то какая,— поясняла мать, обводя рукой солнечную синеву осеннего горизонта, прогоняя одновременно его напрасные тревоги и беспокойство за родных.

Пошли в дом.

Вытянулся, заметно посуровел в глазах матери старший сын, изменился с того времени, когда нечаянно увидела его на вокзале с незнакомой худенькой девушкой. С той поры мать не выбиралась в город. И хотя улыбалась и радовалась приезду сына, но тревога не оставляла ее: что-то ждет его после диплома, какая-то печаль и смута скрытой тенью прорывается на загорелом сыновьем лице?

Она суетилась возле керосинки, накрывала на стол и все время любовалась и тревожилась про себя непривычной сыновней серьезностью. Он хотел чем-то помочь матери и начал было искать ведра, но они стояли на лавке полными. И он сел за стол у окна в сад, слушал мать и сам рассказывал.

— И куда же, сынок, пошлют теперь? В какую даль повезут?

— День езды от вас. Элеватор надо достраивать в соседней области.

— Ну, коли в соседней, то ничего. С Антоном или один?

— Антон позже поедет. Его пока не распределяли.

— А что же, в своем городе нельзя было остаться?

— Не знаю, мама. Я хотел уехать...

Мать вздохнула: что-то не так у сына. Сердце чувствует.

В окно он видел тяжело свисавшую в огороде налитую антоновку. С яблоневого ветки под крышу дома неожиданно метнулся голубь. Ветка качнулась, и крупное яблоко гулко упало на землю.

Игорь улыбнулся: голубь напомнил ему прошлый приезд. Он обошел тогда дом, огород, потрогал шершавый ствол посаженного им дубка. После города родительский дом будто сжался, уменьшился.

Под окнами стояли птичья возня и гвалт.

Жестоким и диким показалось ему увиденное.

Над жердочкой, под стрехой, у самого фронтона высывались из гнезда два раскрытых клюва. Птенцы орали, просили еды. Сердце сжималось, глядя на них, а помочь им Игорь ничем не мог.

Взрослые голуби в конце концов вытолкнули подлетков из гнезда. Один из них в мгновение оказался на крыше, второй же стал падать вниз на росшую под окнами яблоню.

Сев, отряхнулся, успокоился и начал оглядываться: первый раз в жизни он видел землю.

Игорь наблюдал снизу за птицами и не понимал жестокости, которую вершили голуби-родители: щипать, бить крылами, а потом грубо выталкивать птенцов из теплых, уютных и мягких гнезд, для которых Игорь собственноручно приколотил когда-то две небольшие дощечки, чтобы на них поселились голуби.

— Думаешь, за что они бьют их?— услышал он рядом голос незаметно подошедшей матери. Конечно, она угадала, ради чего стоял здесь.

— Я, пожалуй, прогоню их, видно, это не ваши голуби.

— Наши, сынок, наши. Это они сталкивают птенцов, чтобы в гнезде не засиживались. На свои хлеба скорее лети бы.

Так разъяснила мать простой, впервые увиденный им закон и обычай голубиной жизни: учить молодняк раннему для них хлебу и лету.

Подлетка, который было уселся на крыше, вскоре также согнали на ветки яблони. Скоро оба опустились на траву и стали суетливо искать первый свой корм. Взрослые голуби сидели на краю крыши и, как люди, сотворившие непосильное дело, удовлетворенно поправляли оперение, зорко наблюдая за возившейся в траве малышкой...

— Сынок, а что же ты до сих пор в форме?— поинтересовалась мать, прерывая ход его мыслей и садясь рядом.

— Вот вернусь и костюм куплю.

— Мы с отцом тебе денег припасли. Бычка сдали.

— У меня, мама, и своих хватит— на практике заработал. Завтра выдавать будут.

— Сейчас тебе много понадобится, на новом-то месте.

— Обойдусь и своими. Теперь мой черед помогать вам.

— Ты о себе вначале думай. У нас все есть. А ты с голого места начинаешь. Что же Антон с тобой не приехал?

— Он в городе пока остался,— ответил, удивляясь, что мать второй раз спросила о нем.

— И куда же поедет?

— Я говорил тебе: у него позже назначение...

— А я и запомню,— улыбнулась мать и спросила: — Про Светку Сапожникову слышал?

Игорь насторожился:

— Нн-н-ет...

— Я думала, Антон рассказывал.

— Ничего он не говорил. Они ж не встречаются.

Мать, словно бы не расслышав, что говорил Игорь, продолжала:

— Рассталась она со своим модником. Не склеилось у них. Баламутистый какой-то. Светка продавцом работала и растратилась из-за него. Говорят, Антон в городе нашел ей работу, вроде как на трикотажной фабрике. Она собирается. Я думала, вы вместе подыскивали.

— Да что-то было...— сказал он, как бы припоминая, а главное, защищая друга.

Он вспомнил о встрече со Светкой возле станции. Она не могла не узнать их с Антоном, ссыпавших песок и гравий, не могла не видеть пэтэушников. Из всего-то класса только они двое и были в строительном. Не подошла, постеснялась Светка, с глазу на глаз хотела быть со своей неудачей. Заговори она, и пришлось бы признаться, что решила перебраться в город. Возможно, Антон и знал об этом, но ничего не сказал, не открылся никому прежде времени, может, и виделся он в тот раз со Светкой. Несколько раз он уходил к вокзалу, говорил, что ходил пить воду. Молчуном как был, так и остался.

Удивительно смешным и странным выглядело сейчас его смущение перед тем, что девочки могут высмеять его. Они и сами со своими невзгодами и неудачами не меньше его стеснялись...

Чем больше размышлял Игорь Божков о своем друге, тем сильнее хотелось, чтобы рядом был кто-то близкий, надежный, кто провожал бы перед отъездом, с кем хотелось разделить чуть грустноватое, накопившееся за время учебы и практики настроение.

— Сынок, а где же та девушка, с которой мы ситро на вокзале пили?

— Мила?

— Забыла уж, как и зовут.

— В институт поступила.

— Смотри-и-и-ка! И кем же будет?

— Врачом, мама.

— Интересная девушка,— ответила она, помолчав.— Она чья же?

— Нашего директора дочь.

— Видишься ли с ней?

— Иногда...— соврал он.

— Привет передавай, если помнит.

— Обязательно.— Он поблагодарил мать и встал из-за стола.

Сама не ведая, мать неволью натолкнула его на мысль снова попытаться встретить Милу. Попытаться в последний раз. Сказав, что идет в дом к Антону, он поспешил к колхозному клубу, откуда и позвонил на почту, пока клуб пустовал и никто не мог слышать. Он продиктовал телеграмму Миле: «Уезжаю двадцатого по распределению. Игорь». Деньги за телеграмму он пообещал передать с почтальоном, как это часто делали в их деревне.

Назавтра в училище ему вручили телеграфный листок с ответом: «Срочно позвони. Мила».

17

Он мало верил, что трубку снимет она, и готов был услышать голос Раисы Михайловны. Трубку же сняла Мила. От неожиданности он несколько секунд молчал, а когда отозвался, показалось, что и не было долгого летнего расставания.

— У меня всего день до отъезда,— сожалея, сказал он.— Надо еще костюм купить. Не знаю, как и быть...

— Давай вместе костюм поищем. Я помогу, если, конечно, ты не возражаешь.

— Но у тебя же лекции?!

— Сегодня суббота, и я освободилась пораньше. Я приеду прямо сейчас.— И спросила:— Ты где?

— Возле училища.

— Иди в сквер. Жди там, где всегда.

Игорь знал это место, хорошо помнил: белую скамью под старыми липами и соседствующим тут же кленом. В последний раз он шел туда в своей пэтэушной форме. Сегодня снимет ее, как прощаются с прожитым, так и он расстанется с ней.

Издали, махая рукой, спешила Мила: в светлом плаще, темные волосы рассыпаны по плечам.

— Узнал? — спросила она.

— Конечно.

— Ну и как?

— Нормально.

— А почему не звонил?

— Разве не передавали?

— Да нет... Жаль,— проговорила она, отметив, что слова его звучат спокойно и с какой-то непонятной, почти взрослой серьезностью.— Едешь, значит...

— Да, пришло время на свои хлеба лететь. Подарить тебе на прощанье кельму?

— Зачем-е-ем? — На лице Милы промелькнули удивление, испуг, растерянность. — К чему мне?

— Затирать надписи. А вообще — приз за игру, — пояснил он. — А могу подкову, привез из дома.

— Подкову, я понимаю, это на счастье. А кельму за чем же...

— Когда у тебя будет малыш, ты разложишь на полу для него предметы, и к какому из них прикоснется он, тем и быть ему.

— Выдумки это все.

— Так делали в Древней Греции.

— Об этом папа вычитал в одной из книг. Но... это интересно, — оживилась она от какой-то пришедшей догадки. — Жаль, что я не умею ничего делать, как ты. Даже надписи на косяке не затерла. Пробовала, не получилось...

— Это потому, что без кельмы. Если успею, завтра затру их.

18

— Виктор Петрович, можно спросить вас перед отъездом?

— Спрашивай, Игорь.

— Зря вы нам не сказали о жалобе.

— Жалобе... Какой?

— На меня и Камышкина.

— Впервые слышу.

— Завуч говорил, что пришла в училище жалоба, когда мы были в поселке на практике. — Игорь показал в окно на дом, выстроенный у вокзала: — Мы там брак с Антоном допустили.

— Никогда не подумал бы, что вы с Камышкиным можете что-то делать не так, — усомнился Сергин. Сегодня он провожал на вокзале уезжавших по городам и стройкам выпускников.

— У нас это вышло нечаянно. Думали, как лучше.

— Кстати, ты просил Милу сходить именно в эту квартиру?

Игорь молча кивнул.

— Ты хотел и ее втянуть в это неблагоприятное дело? Значит, права была Раиса Михайловна. Она расценила это как месть с твоей стороны за увлечение Милы другим

мальчишкой. Выдала мне по десятое, что плохо вас воспитываю. Такие-то дела.

— Но Мила не была там?!

— Правильно сделала. Ее просто не пустили. Мать запретила не только ходить, но и встречаться с тобой.

— Я плохого ей не желал.

— Верю.

— Мы перестали встречаться из-за другого...

— Из-за чего же?

— Мне надо бы носить джинсы, а не форму...

Сергин недоумевал. Игорь хотел было переменить тему разговора, но сделать это оказалось не так-то просто. Он уже начинал догадываться, хотя чего-то и не понимал пока, что случилась путаница, и разговор об их отношениях с Милой, чего доброго, родит в душе Виктора Петровича обиду.

Уезжая, Игорь тревожился не за себя, а за Милу. Он совсем не хотел, чтобы девушка считала его ябедником.

— Женщины, Игорь, иногда любят тех, кто не стоит их любви. И только много спустя понимают это...

Игорь поднял глаза и встретился взглядом с Сергиным. Сказал растерянно:

— Тогда их надо убедить.

— Невозможно. Пока сами не разберутся, напрасны всякие уговоры. А насчет квартиры... Если жалоба в училище поступила, я бы знал о ней.

— Зачем же Долгановский сказал тогда?

— Выясню и обязательно напишу тебе. Припугнуть, наверное, хотел.

— Пугать? Да к чему?

— Человек он сложный, трудный. Такой была и жизнь у него. А строить умеет, как-никак, а около двадцати лет работал на стройках... В Сибири, на Севере — везде бывал. Когда-то до войны Долгановского осудили. Потом реабилитировали.

— Он что же, и не воевал?! А Павлихин говорил...

— Значит, сочинял.

Выслушав Сергина, Игорь взглянул на свои новые часы, сверил их с вокзальными и быстро метнулся к составленным чемоданам. Чемодан был, под стать часам и костюму, тоже новым. Он быстро открыл его.

— Отдайте вот это Миле. Пожалуйста... И не говорите от кого. Ладно? — попросил он, протягивая томик стихов Лермонтова. Тот, единственный, с которым приехал в го-

род. Пусть в домашней библиотеке Сергиных будет и от него книга. Память о пэтэушнике Игоре Божкове.

— Ты лучше бы написал ей, когда приедешь,— Сергин смотрел выжидательно.— Напишешь?

— То есть как?

— А вот так. Напиши, и все. Обещаешь?

— Постараюсь!— излишне громко и как-то решительно заверил Игорь. «А Раиса Михайловна?» — хотел спросить он и не решился.

— В письме черкни и мне пару слов. Не забудешь? — Сергин лукавил, но Игорь не замечал этого. И обрадованно уверял:

— Что вы?! Я и отдельно вам напишу.

Уверял и совсем не догадывался, что «черкнуть» стоило бы лучше в одном письме. В нем-то и был тот трудный вывод, который не однажды искал и пытался разгадать в последнее время.

Но думать об этом сейчас уже было некогда. Подумать можно в дороге, под перестук колес.

Он взглянул в окна вокзала на площадь, услышал, как объявили посадку, и, попросив взять в вагон его чемодан, метнулся к знакомому недалеке дому.

## 19

Квартира — последнее, что оставалось в день отъезда невыясненным в шумливом и людном городе. Давно порывался он узнать, что же они натворили с Антоном. Много раз приближался к дому и, казалось, вот-вот войдет в лифт и ему обрадуются, узнав, зачем пришел.

Но так только казалось. В квартире, в самом углу жилой комнаты, могла отстать штукатурка. Да что отстать, она давным-давно, наверное, отвалилась — их первая с Антоном Камышкиным штукатурка.

Им ли не знать, отчего она могла отвалиться...

Лучше бы в день отъезда не раздумывать о том злополучном пятне. Лучше бы его не было!

Но оно существовало, и не мог забыть его Игорь Божков. Не мог покинуть город, не побывав в этой квартире.

Вот он дом, где была практика, подъезд... Вдруг не откroют, не впустят?

Мысленно он уже не раз готовил себя к встрече с жильцами. Но никогда не предполагал, что состоится она в недолгие минуты, оставшиеся до отхода поезда.

А если кто-то уже исправил их с Антоном ошибку? Тогда его, чего доброго, примут за чудака: велика важность — штукатурил! Не космический корабль строил, а возвращал красоту старому дому.

На деревянной перегородке-стене, вероятно, висит ковер. Игорь окончательно уверился, что так оно и есть, если штукатурка отпала, брешь, конечно же, покрыли ковром... Как он будет смотреть в глаза людям?! Окажись рядом Мила, жильцы квартиры, пожалуй, встретили бы его без обиды: при девушке не рискнули бы ругать.

Игорь стоял в нерешительности перед кнопкой звонка. Стук входной двери вернул его к действительности. Он оглянулся и замер — Мила!

— Извини, Игорь! — голос звучал потерянно и виновато. — Едва вырвалась с лекций.

— Как ты узнала, что я здесь?

— Интуиция... Ребята на вокзале сказали, что ты, не предупредив никого, куда-то умчался. Я догадалась — сюда... — Она стояла рядом с Игорем, не отводя взгляда, смотрела ему прямо в глаза. — Пожалуйста, не волнуйся, я обязательно схожу в эту квартиру, все узнаю и напишу тебе... — Помолчав, добавила: — Обещаю...

Он взял в свою ладонь ее маленькую руку и благодарно пожал ее. Вдвоем они, торопясь, побежали к вокзалу.

# Рассказы

## Яблоко из города

Настоящее яблоко впервые попробовал я зимой. Это была антоновка. Хорошо помню и ту первую послевоенную зиму, и то яблоко...

Помню, как, войдя в дом после дальней дороги, мать развязывала и снимала с головы темно-серый платок, как расстегивала плюшевый свой жакет и, обводя нас сияющими глазами, отдыхала и облегченно охала, что добралась наконец и что в доме вроде бы ничего не случилось и не стряслось без нее.

У порога стояла пахнувшая морозом кошелка, прикрытая белой марлей. Морозом и еще чем-то, необыкновенно свежим и новым, наполнявшим дом волнующим ароматом, пахла одежда матери. Как будто бы и знакомым, да так давно забытым, что как ни напрягайся, ни вспоминай, объяснить не сможешь.

Аромат, который внесла в дом мать, одинаково схож был и с запахом первых дорожных льдинок, и падающего на промерзлую землю снега, и студеного стожка сена, и мокрой прелой листвы, и мартовских вечерних сосулечек, и даже грибов немножко; было в нем и другое что-то, все перебивающее, неумолимо влекущее и такое близкое, что в одну минуту ты как бы делался самым счастливым и радостным человеком на свете.

Всей семьей мы молчали, нетерпеливо поглядывая на загадочно улыбающуюся мать. Что же редкостного привезла она сегодня из города?

Мы не торопили ее, отдохавшую после дороги.

— Ну, как тут у вас дела? — спросила мать, протягивая руку к кошелке.

— Все хорошо, — заверил отец, пододвигая кошелку.

— Нормально, мама! — подтвердили и мы.

— Ну, молодцы.

Мать знала, что мы ждем подарков. В действительности так и было: что бы ни делали, чем бы ни занимались

днем,— бегали ли по хрусткому снегу или катались на санках,— мысль каждого была об одном и том же — о возвращении матери.

И вот сидит она зимним вечером перед нами, в теплой избе, протопленной отцом к ее возвращению, сидит раскрасневшаяся, усталая и довольная, с дороги разгоряченная и потому в накинутом на плечи платке, поданным ей отцом.

И что-то произойдет вот-вот, чем-то угостит нас мать? Всполошно бьется сердце.

— Корова пила?

— Три раза.

Почему мать спрашивает — понять нетрудно: корова — главная наша кормилица. Без нее семье пришлось бы туго. Но другое теперь беспокоит мать, о чем мы тоже знаем. Со дня на день корова должна отелиться, и случается это чаще ночью...

Вдруг начинается хождение взад-вперед с фонарем, возня во дворе, вполголоса разговоры, греется срочно вода, иногда она стоит наготове заранее в большом чугуне в печи; потом внезапно наступает затишье, только пес во дворе поскуливает то ли от зябкого холода, то ли от происходящего в хлеве.

Мать с отцом исчезают и неизвестно когда вернуться; но из сеней вскоре доносятся топот, лягз и бречание дверной клямки, остерегающие голоса у порога, и в избу на старом тулупе либо просто в овчине с предосторожностью вносятся нечто войлочно-душноватое, как бы нарочито нагретое, и опускается на пол в запечье. Оттуда светит фонарь и слышны шепчущиеся голоса, там вершится таинство, и вдруг раздается слабое, покорное, полуживое, но радостное мычание.

Сразу и не поймешь, во сне или наяву почудился этот трогательный голос теленка, которого весной надо пасти, а если убежит, получать взбучку. Телок или телочка — кто бы ни был, а хочется откинуть скорей одеяло, спрыгнуть с постели и бежать по дощатому полу смотреть — есть ли белое на лбу пятнышко и какого цвета самое существо, дивно возникшее в доме зимней ночью.

Мать либо отец остается дежурить за печкой, в то время как второй из них спешит в хлев — таинство продолжается. Трудно оторвать от подушки голову, да и родители все равно прогонят — смотреть до утра почему-то нельзя, нет и силенок разогнать детский липучий сон.

Не раз и не два так повторялось на моей памяти, и всегда с трепетом переживали мы почное событие. В каждый отел мать волновалась, боялась проглядеть — вдруг да погибнет в хлеву, пропадет корова. Если же корова пила, да трижды, значит, все пока шло нормально.

У матери свои приметы, и точнее ее никто не предугадает отела.

...Мать сняла марлю с кошелки, отряхнула. Сверху лежали баранки, печенье и отдельно в кулке — конфеты-подушечки. Это — нам, детям. Отцу перепала селетка.

— Угадайте, что я привезла еще? — смеясь, спросила мать.

Она сунула руку в карман плюшевого жакета, висевшего к тому времени на гвоздике, и достала крупное, светло-зеленое яблоко.

— Вот это да-а-а! — изумились мы, забывая про сладости.

— Яблоко одно. Разрежьте, чтоб каждому было.

И яблоко легло перед нами на стол. Из выдвижного ящика в столе мы извлекли небольшой, с белой костяной ручкой ножик и положили рядом. Яблоко, да среди зимы, да из города, да к тому же большое, пусть и одно, а все равно видеть его казалось чудом, волнующим неправдоподобием. Зачарованные, мы не решались трогать, и мать истолковала это по-своему:

— Денег не было, а то бы каждому по такому купила.

— И сколько стоит оно, мама?

— Дорогое, детки...

— Магазинное?

— Не-е-ет, дед один продавал на рынке, по десятке штука — по теперешним послевоенным ценам.

— Вот это даа-а-а! — затагнули мы, не веря, чтоб десятку стоило одно яблоко.

— Он что, из ума выжил? — возмутился отец. — Да мы до войны такие в Смоленск возами возили.

— До войны, да не сейчас, — рассудила мать. — Деревца яблоневого нигде не уцелело.

Много раз слышали мы о довоенных, прежних садах, какими были они обильными, в особенности колхозный, и о яблонях на огородах, и что славились вроде и раскупались яблоки наших мест везде, куда привозили их. Война извела, выжгла, вырубил сады под корень. И антоновка в краях здешних стала в диковинку. Взрослые не занимались, как

успел я заметить, садами, главной заботой их оставалось хлеб сеять.

Отец взял яблоко, повертел, посмотрел на свет.

— Добрая антоновка,— знающе оценил он.

Маленьким ножиком с костяной ручкой он надавил на него сверху и развалил на две половинки, как дровяной чурбак. Знакомый уже аромат обдал нас. Сомнений не оставалось: только яблоко и могло породить то трепетное благоухание, которое возникло с приходом матери. Отец «расколочил» и каждую из половинок. И одну поделил еще раз. Крупные отдал нам, а две меньшие — себе и матери, тонкие, почти прозрачные дольки, каким бывает теперь мармелад.

— У меня и зубов-то нет,— отмахнулась мать, но в общей суете нашей и радости отказываться не стала, иначе бы никто из нас без матери есть не стал.

— Дай-ка я лучше кожицу сниму,— сказала она отцу, беря ножик и срезая кожуру со своей дольки.

Подражая, принялись чистить по очереди и мы; кожура, однако же, пахла так вкусно и аппетитно, что я первым съел ее прежде яблока. Моему примеру последовали и младшие. Кожуру от той крохотной дольки, что перепала, мать бережно завернула в бумажную салфетку и положила вместе с ножиком в выдвижной ящик кухонного стола.

Легли вскоре спать. Погасили лампу. Ночью мать будила отца, и он шел с зажженным фонарем в хлев — смотрел корову. Отела не было. Я лежал в темноте, и ноздри подрагивали от сочившегося сквозь бумажку из деревянного стола духа антоновки.

Что же это за яблоко, что за чудо, если от одной кожуры даже невозможно уснуть? Ах, как хорошо бы увидеть его на самом дереве в настоящем саду или хотя бы на одинокой яблоне в огороде! Взглянуть бы однажды на чудо-антоновку: как растет и почему делаются яблоки крупными и отчего становятся вкусными?

Ново и неожиданно было это ощущение, вторгшееся в мою жизнь. Той же ночью я как бы присягнул, поклялся самому себе, что первым серьезным делом, которым займусь, окажутся антоновские сады.

Я лежал в лунном оконном сумраке хаты, слушал, как от мороза трескались бревенчатые стены, и видел себя в яблоневом саду под густыми, отяжелелыми ветками.

Что же наделало, сотворило ты со мной, яблоко, чем околдовало, лишив сна и покоя, и что за дивный, сказоч-

ный дух в тебе, от которого не спится и трепетно-сладко на душе и в мыслях?

И тянуло по лунному сумраку подойти к столу и выдвинуть ящичек, но я сдерживал себя, пока постепенно и незаметно не засыпал.

Кожуру мать оставила, как потом выяснилось, для чая. Оказывается, с яблоками можно и чай пить. И как вкусно! Об этом я узнал уже утром, когда мать опустила ее в кипяток и дух антоновки, бунтуя, взвился и освятил напоследок избу и как бы закрепил окончательно мои воображаемые детские намерения. Признаюсь, и по сей день я остаюсь им верен. Я действительно сажал потом яблони, но занялся ими, конечно, только с осени.

Утром, за чаем, я расспрашивал отца о довоенном колхозном саде, где тот и работал. Сад, по рассказам, на десятки гектаров обсажен был ельником. Пеньки от ельника и поныне темнели на травянистой меже. Под ельником деревней собирали рыжики и радовались, что ходить далеко не надо. Давно уже не было ни ельника, ни самого сада, а воспоминания и разговоры о нем не затихали. Так много говорилось о его антоновских по суглинистым холмам яблонях, разносивших славу, как теперь принято говорить, о наших нечерноземных местах, что складывалось само собой впечатление: не в этом, так в следующем году колхоз непременно заложит сад, и вдоволь будет опять знаменитой антоновки, а заодно и рыжиков.

Меж тем отец отпивал чай и не спеша говорил о своей тогдашней работе. Самым интересным в ней был сбор урожая. Мать от печи дополняла отцом забытое, упущенное, что-то ранее я и от других слышал, но вот о яблочном колхозном обозе, отправляемом в ближние города — Смоленск и Витебск, — я совершенно не знал.

Про обоз услышал только теперь. Отцу, оказывается, поручалось сопровождать его, быть как бы ответственным лицом по доставке и сдаче яблок.

Возили антоновку только на телегах — по сухому осеннему дню, иногда и по предзимней уже дороге, укрывая рогожей либо обкладывая распотрошенной ржаной из кулей соломой. Работа считалась праздником.

Двигался обоз неспешно, поскрипывал глянцевитыми, тершимися друг о дружку яблоками, возницы сидели выбритыми, принаряженными, зная цену своему товару. К дороге, по которой ехали, часто выбегала ребятня.

Но первым откуда-то узнавал и появлялся крепкий кур-

чавый малый, немой парень, и мужики насыпали ему в мешок антоповки, и немой, улыбаясь и с восторгом мыча, тряс им руки и уходил, поминутно оглядываясь и махая незажатой свободной рукой, в свою, стоящую на пути обоза, деревню.

Встречали обоз и сельские старушки, и их одаривали яблочком, и сроду не велось разговора о плате. И хотя сполна наделяли мужики обозной антоновкой встречных людей, а все равно привозили ее много и сдавали прямоком в магазин по предварительной в таких случаях договоренности.

Каждый вечер расспрашивал я отца про былой сад и ельник, и каждый раз оживлялся отец и радовался, принимаясь рассказывать.

Я любил забираться на печку и, греясь там, представлял, как пахли проселки и большаки после осеннего обоза с антоновкой, как выглядел сад в конце сентября, с наплывающим оттуда в ветреный день ароматом, какое счастье охватывало того, кто в это время, по словам отца, оказывался рядом и тянулся невольно на любую в саду работу...

И прорастало, крепло во мне желание — возродить на прежних склонах усадьбы сад и возить опять по мерзлой дороге антоновку — в древний Смоленск или Витебск.

В колхозе к тому времени все настойчивее велись разговоры о скорой закладке сада, а весной выкопали даже и ямы. Дело казалось почти решенным, ждали лишь саженцы. Но потом неожиданно возникли толки о некоей несогласованности с кем-то, о неперспективности садоводства и что надо бы лучше сеять хлеб да разводить скот, а яблоками обеспечить более приспособленные к этому делу края и области.

Ямы под саженцы взялись зарывать. И тогда из соседней деревни появился немой и, нервно сотрясаясь и негодуя, что-то лопотал на своем языке. Язык и жесты его, в общем-то, понимались, но приостановить работу никто не подумал. И немой заплакал, повернулся и зашагал прочь.

Моего отца немой знал, но я удивлялся, что и меня, мальчишку, он отчего-то при случае привечает да еще и весело улыбается. Вначале терялся в догадках и только потом, позже, понял: немой помнил обозы с антоновкой, помнил отца и хранил о том времени благодарную память, от которой перепадало почета и мне.

Немой на диво выглядел молодо, словно бы и не коснулось его вихревое военное лихолетье. Высокий, статный, с длинными жилистыми руками, с обветренным лицом, с ловкими молодецкими движениями и крепкими ногами, с закатанными, вроде как нарочито, резиновыми голенищами, он вызывал у окрестной детворы зависть и восхищение. Любуясь его ловкостью, мы невольно хотели быть похожими на него. Неунывностью и притягательством веяло от его всегда опрятной фигуры, от простых, раскованных жестов и дружеского взгляда, вопреки немоте и врожденной стеснительной сдержанности.

Жил он со старухой матерью, был примерным сыном. Жаль, что позже многое изменилось. Узнал я, наведываясь в село, немой пристрастился к выпивке...

На колхозный сад отныне никто не рассчитывал. В конце концов, какая разница — были бы яблоки, можно развести и личный сад и какой-то урожай собрать, хотя, конечно, из него обоза не снарядить в города.

Нужны были яблони. На старых, давно исчезнувших хуторах я набредал, случалось, на садовые островки. Большинство уцелелых, загложших яблонь оказывались отростками, но иногда попадались и молодые, от проросшего семечка. Встречались они и в придорожных кустах. Осенью яблонева листва увядала ярче, чем на других деревьях, и кора на стволе и ветвях была буроватее, как бы присыпанная пахотным слоем. В большинстве попадались дички — колючие, с мелкой листвой, но были и крупнолистные, с добротнo наметившимися стволом и кроной.

Такие деревца я всячески запоминал, ждал осени и свободного от уроков времени, из-за них лишался покоя. В сухую, в первых днях октября, погоду я бежал с лопатой на бывшие хуторские усадьбы и в лес.

Любая из яблонь казалась антоновкой, и я копал, иногда и по несколько дней, пока не обозначался стержневой, ствольный корень, по толщине которого можно было судить, как глубоко он в земле, возьмет ли лопата или надо нести из дома топор, отсекал корень в удобном месте.

Рубил корни я лишь в крайнем случае. Бывало, яблоня, накрываясь, с треском рвала свой же корень, и, вынеся ее на дорогу или на опушку, а иной раз и на край поля, я пытливо разглядывал земляную часть и судил: приживется дерево или работа моя будет напрасной?

Ох и трудные же порой попадались яблони! Как будто и выкопана, но нет, одним корешком цепляется, не расста-

ется с вскормившей землей. Пота вдоволь прольешь, пока выкопаешь такую яблоню.

Чересчур потревоженные корни, покалеченные неосторожным рытьем, трещавшие, когда наклонялась яблоня, и рвавшие затем своим звуком душу, я обмазывал вначале тщательно раствором из навоза и глины, каждый корень и корешок распрямлял, присыпал вручную землей и только потом клал основательный верхний слой. Работал с великим усердием.

Яблонь насажали с избытком. Отец, случалось, и ворчал уже, вынужденно объезжая конем наши саженцы. В целом же родители поощряли увлечение садом, к которому охотно тянулись и старшие, и младшие дети. Каждому из сыновей не терпелось что-то да посадить, оживить фруктовым деревом родительскую усадьбу. Возникало нечто вроде соперничества: у кого яблоня приживется лучше и скорее даст урожай.

Мать умудрилась как-то привезти три настоящих саженца антоновки в рогожном мешке, с районного рынка. Мы посадили их под окнами, как особо ценные, выращенные в специальном питомнике. Таким яблоням и красоваться у окон, чтобы не обломали ветки, когда подрастут.

Отец садом не занимался: в колхозе и дома на его долю выпадало столько несотложной работы, что, вставая задолго до рассвета, он не успевал ее никогда переделать — какой уж тут сад!

Возвратясь однажды из школы, увидели, что саженцы под окнами спилены.

— Гори они, эти яблони! — произнесла в сердцах мать. — Налог платить надо...

— А наши как?

— Ваши дички, их не описывали.

Вот оно что! Новость хотя и ошарашила, но не отбила желания. Стало быть, будем искать дички, блуждая по перелескам и снесенным усадьбам. Может, переродятся со временем. Попадались в большинстве все те же дички с кислыми до скрипа зубов маленькими плодами, но часть из них вроде бы со временем в огородах перерождалась.

Дело наше неожиданно проявилось со стороны совершенно новой. На крайней деревенской улице жил с семьей племянник отца, мой двоюродный брат Алексей. В войну был партизаном, потерял ногу. Человек настойчивый и упорный, он, вернувшись, с успехом окончил пединститут и работал в начальной школе. В свободное время занимал-

ся прививанием дичков. Черенки Алексей-учитель получал откуда-то издалека посылкой. Он и нас научил этому интересному делу — вставлять черенок за срез коры, замазывая и бинтуя срез до того времени, пока не проклюнутся и не вырастут на черенке листья.

Все как будто сделано и переделано нами в саду и вокруг дома, везде было что-то посажено: слива, крыжовник, яблоня, вишня, калина, береза, дуб и даже клен... Яблонь, разумеется, было больше. Оставалось ждать, что какой-нибудь саженец окажется чудодейственной антоновкой. Хотя бы один из целого сада!

Так рассуждал и Алексей-учитель. Ходил он по обыкновению с костылем под мышкой, перекидывая худое тело на здоровую ногу, и почему-то предпочитал не пользоваться вторым костылем или палкой.

Отправлялся чаще всего к старинному заросшему большаку и искал по зарослям подходящие дички, прививая прямо на месте, чтобы пересадить позже в свой огород. Делал не без резона: если прививка хорошо приживается, тогда и яблоню можно перекопать, а если нет, то и трогать не надо и вступать в лишние объяснения из-за налога. Он, конечно же, понимал, что налог на сад — не сегодня-завтра отменят, что по-другому и быть не может. «Поверьте, это ненадолго!» — убеждал нас брат-учитель.

Слова его подтвердились быстрее, чем того ожидали...

Дружба наша с учителем временно омрачилась. Придя к нам весной во двор, Алексей-учитель обратился со странной, как показалось нам, просьбой к отцу:

— Дядя, я хотя и племянником довожусь, а вынужден осмотреть ваши яблони...

— Смोगри, Алексей,— сказал спокойно отец, уверенный, что тому не терпится сравнить привитые черенки, которые он дарил, со своими. Поковыляв от саженца к саженцу, Алексей потрогал обмотки прививок и вернулся к ожидавшему во дворе отцу.

— Дело, дядя, неприятное...

— В чем именно? — забеспокоился отец, становясь серьезным и строгим.

— Твои парни вырыли мою яблоню в лесу. Уже привитую!

— Да ничего мы не трогали! — заорали мы протестующе.— Вы же только что смотрели?

— Уверен, в другое место пересадили. Никто лучше вас не знает, каким дичкам в лесу прививали черенки.

Это звучало правдой. Мы и в самом деле любили яблоки больше других и хорошо знали, где и как искать дички. Яблоню, как выяснилось потом, кто-то перекопал из другой деревни.

Ссора наша вскоре забылась, мы слишком были привязаны к учителю, он казался нам героем-умельцем. С одной ногой умудрялся косить, колоть дрова, взрыхлять землю, ездить на велосипеде, водить позже машину и мотоцикл — делал такое, что многим и с двумя ногами не справиться.

Работа в саду была самой желанной. Обрезка ли сучьев, взрыхление почвы, побелка или сгребание листьев для меня преображались в праздник. Жечь листву нравилось особенно. Дымком ее я окутывал по совету отца на ночь майский цветущий сад от возможных заморозков.

Привитые саженцы росли на диво удачно. На некоторых яблонях появились плодовые завязи, день за днем увеличиваясь. Они поспевали летом по нескольку штук на каждом деревце. Ливневые дожди иногда побивали их недозрелыми, я подбирал с травы каждое яблоко, накалывал на прутик и пек для малышей на костре, избавляя тем самым его от кислинки.

Вырастал сад, вырастали и мы. Срок жизни яблоневого дерева равен, говорят, людскому, если измерять жизнь сознательными годами. Покидая в отрочестве родительский дом, я успел собрать первый небольшой урожай, узнал, какие сорта яблонь росли в огороде.

Сад попадал дальше под заботу отца. Изредка я навещался домой. Но с годами бывать доводилось все реже.

Яблоневые сады были теперь и у большинства сельчан. Урожай на все лето и осень хватало деревне вдосталь. А вот позже яблоки исчезали: никто не умел хранить их зимой, из-за чего к ним и возникало вскоре откровенное пренебрежение.

Кое с кем я пытался заговорить, когда доводилось навещаться домой, о приемном пункте, о том, что давно надо бы открыть его где-то поблизости. Уклончиво, но и достаточно убежденно, отвечали одно и то же:

— Наши яблоки хранить нельзя. С юга понавезут лучших...

— Вам? Сюда? — удивлялся и переспрашивал я, зная, какие дороги по осени и зимой в здешних краях.

— В город доставят, а мы оттуда, когда понадобится...

Одному отцу удавалось сберегать урожай до середины

марта — на разостланной по веранде соломе, либо на чердаке дома, где он укрывал крупную отобранную антоновку поношенной старой одеждой из овчин, либо укладывал рядами в просторный фанерный ящик со стружками.

Благодаря ему в доме водились яблоки до весны. Лучшую антоновку он берег для детей и внуков, ожидая, что не сегодня-завтра они приедут в гости. Однако же редко кто выбирался зимой к родителям.

Летом — другое. Летом стремились в деревню многие. Сам я норовил вырваться в конце августа или в первые дни бабьего лета, не терпелось попасть в любимый сад под звездным, ярко разожженным к осени небом.

Спал я на веранде, зная, что там насыпаны к этому времени горки яблок. Лучшего места, чем сеновал и веранда с яблоками, я и сейчас не знаю. Лунными ночами, долго не засыпая, вдыхал я яблочный аромат. Иногда открывал дверь и слушал, как в саду срывались увесистые плоды и гулко падали на домик с ульями, тревожа уснувших пчел.

Ударяясь о землю, яблоко напоминало звуком удар копыта коня.

Вместе с тем беда незаметно подкралась к нашему дому. Зимой простудился отец и много потом болел. Он почти не лежал и, сознавая близость кончины, ходил, опираясь о палку, по саду, словно всматривался в него или искал чего-то. Будучи дома, обостренно почувствовал я, что происходит он в такие минуты с садом, огородом, усадьбой.

В сентябре отец умер. После его похорон, в поношенном, висевшем в сенях плаще, нашли мы в кармане две крупные антоновки, пожалуй, самые большие в ту осень, предназначенные кому-то из взрослых детей. Это единственное, что в последнюю минуту оставлял отец нам — два крупных яблока, как два патрона в кармане солдата.

В начале зимы слегла мать. Не берусь утверждать за каждого, но я без родителей ощутил себя повзрослевшим на столько же лет, сколько до этого прожил.

Труднее, суетливей делались годы, и раз от раза неохотней ездил я без отца и матери к своему дому. Надолго расстраивался, бывая в нем. Сад стоял неухоженным, необрезанным, непобеленным и все же обильно плодоносил. Смотреть за садом практически было некому. Яблоки в деревне отныне ели в избытке и почти в любом дворе скармливали их скоту.

«А куда девать?» — с наивным простодушием говорили люди.

В самом деле, куда? Приемного пункта все так же не было по той причине, что не существовало колхозного сада. Вozить на рынок мои земляки считали делом морочным и мелочным. Впрочем, на чем и как они повезли бы — телег в колхозной бригаде почти не осталось, трактор с прицепом или машину для таких надобностей не выпросишь, а если бы колхоз и выделил, это дорого стоило бы.

Горестно делалось из-за пропадавших отменных яблок. Их топтали, пинали, относились как к чему-то опостылевшему, приевшемуся, обременительному, с которым неизвестно что делать. И это отношение отравляло приезд.

Душа не выдерживала, бунтовала. Ведь именно яблоко было последним, что отец приберег для нас, чем хотел перед кончиной порадовать. И как не догадаться, не почувствовать и другим это отцовское намерение?

Расстроенный, я набирал яблок, сколько мог донести, и увозил в Москву. Там звонил знакомым и приглашал на антоновку. Гости не заставляли ждать, тотчас являлись, входили в квартиру и приумолкали в прихожей от яблочного духа.

Надкусив яблоко, они закатывали глаза, тарасились на меня и словно бы вопрошали немо: «Что за чудо привез ты нам? Нельзя ли съездить за ним вторично?»

— Гниет это чудо,— рассказывал я.— Почему зря пропадает.

— Этакие-то яблоки?!

— Да, этакие-то.

— Их не сравнить с импортными, те чаще всего пресные! — начинали они возмущаться, будто бы от меня что-то зависело.

— И много там пропадает?

— Достаточно. Скотину кормят. Но большая часть просто гниет...

— Это что же, мы хуже свиней? — переставали жевать знакомые и живо заменяли серьезное дело хохотом и хохотом. Под конец и они задумывались.

Со временем чаще и чаще настигало меня удивление: покупая среди зимы красные яблоки, теряя из-за них время в очередях, я будто ощущал забытый запах крупной антоновки.

И порой приходила вдруг шальная мысль: бросить свои дела, к которым прикипел, давно привык, и уехать разводить антоновку, чтобы бесконечными машинами и вагонами развозить ее в разные концы огромного нашего Отечества.

ва — по детским садам, по магазинам и рынкам и в чужие страны, другим народам — пусть испробуют редкое ароматное наше чудо.

И еще одно не давало покоя. Однажды в южном санатории я прослушал лекцию о сосудистых и стрессовых заболеваниях. По словам профессора, их практически не знают, а если и болеют, то в меньшей степени люди, употребляющие круглый год фрукты и разную зелень.

— И кроме того...— сказал лектор и загадочно приумолк.— Исследованиями установлено, если съесть в день по одному антоновскому яблоку, вас также не будут беспокоить эти болезни. И всего лучше есть яблоко то, которое выросло там, где вы родились, как и пить воду — в родных местах...

В зале,— этого следовало ожидать,— загомонили, загалдели: где она нынче, антоновка?

И подумалось в тот раз вот о чем. Если верить профессору,— а не верить ему как будто нет оснований,— то любой сад, в котором растет антоновка, обойдется куда дешевле лечения сосудистых болезней торопливого века. Это с экономической, хозяйственной, так сказать, стороны.

Со всех же других сторон — и говорить, вероятно, нечего.

По давней своей привычке — проводить отпуск в родных местах, Вовка Жернаков и на этот раз приехал в деревню к отцу с матерью. Но уже не один, как прежде, а с женой Ниной нагрянул шумно и весело в разгар лета. На работе, в строительном управлении, к молодой чете — экскаваторщику Жернакову и табельщице Нине — отнеслись с пониманием, дали отпуск в самое сезонное время.

Родители, обрадованные приездом сына с невесткой, заботливо потчевали молодых и втайне радовались, что наконец-то их Вовка перестанет дурить да шалить, как бывало: жена его, непутевого, остепенит быстро. Будет Вовка под ее глазом покладистым, смирным, сговорчивым.

Так им хотелось. Но у отпускника сына было на этот счет свое разумение. Перед завтраком, обедом и ужином начал Вовка заглядывать в местный магазин, чтобы отметить женитьбу и начало отпуска. А потом это вошло в привычку. У магазина появлялся в одно и то же время — хоть часы проверь.

Кроме бутылки, что приносил домой, распивал одну и с местными мужиками, хвастал про заработок экскаваторщика и городское жилье свое после армии. Мужики поддакивали, и это раззадоривало Вовку.

Однако же деревенские бабы отнеслись к угощению их мужиков настороженно. А увидев, что оно затянулось и вылилось даже в загул, не на шутку встревожились. Вначале думалось бабам, что «женатик», как окрестили Вовку в деревне, и сам быстро уgomонится. Но заработок у него, видать, был немалый — разгул на траве у деревенского магазина не прекращался. Забеспокоились, всполошились бабы, а что предпринять, не знали; для начала поговорили с Ниной, сказали отцу с матерью — но не впрок разговор.

Из-за выпивки-то и допустил вскоре Вовка непростительную для себя ошибку...

Первые дни молодые спали больше на сеновале. Пьян-

ка, однако, надоела жене,— перегарное сивушное облако почти постоянно обволакивало Вовку,— и Нина, не выдержав, перебралась в дом. Вовке же на сене дышалось легче, и хмель к утру исчезал, словно бы выпаривался сам собой.

Трудным оказывался рассвет.

Вовка вдруг просыпался. Мнилось, что на другом конце деревни, на одной из ее отдаленных улиц, стучит дизель, словно бы нарочно запустили его, чтобы будить в летнюю рань деревню.

Не однажды вскакивал Вовка и припадал к щели сарая — трактора он нигде не видел. Звук меж тем, казалось, был рядом. И однажды Вовка сообразил: на высокой березе через дорогу, напротив дома, трещит клювом аист — в черном и белом оперении. Его треск и раскалывал хмельную Вовкину голову.

— Ну, погоди, клоун!.. — погрозил Вовка птице. — Допоешься у меня.

Аисты просыпались первыми и, как пахари и агрономы, спешили обследовать на рассвете луга и поля. В гнезде подрастали их аистята, надо было поспевать носить корм. Три птицы уже делали на гнезде подлеты, изучающе разглядывали зеленые места за деревней и полог синего неба. А родители, покинув их, величаво стояли на одной ноге у водокачки, пристально следя за березой.

Вовка лежал на сене и думал. Грохот любой техники им спокойно переносился, а тут от клетота аистов одолела бессонница. Скажи — не поверят: чтобы в своей же деревне, на свежем воздухе так действовала на нервы поселившаяся вблизи птица.

В голову лезла разная блажь. Особенно почему-то хотелось прогнать аистов с березы — пусть бы селились в другом месте. И Вовка робко, а затем увереннее стал думать, как избавить березу от них, и лучше всего — прямо сейчас, пока отпуск не кончился.

Вначале ему взбрело в голову перестрелять их. Но помешала жена.

— Ты куда это? — встревожилась Нина, увидев в руках мужа ружье.

— Поохотиться.

— Какая охота среди лета?

Нина мигом усекла по взгляду, брошенному в сторону гнезда, что затеял Вовка недоброе и надо удержать его.

— Оставь свою охоту! Пять лет за нее получишь. Меня пожалел бы...

— То-то не жалею?

— Честно говорю, угодишь в тюрьму. Аисты теперь вроде как на учете. Гнезда их, говорят, переписаны.

— Читала ты, что ли?

— Нет. Но слышала. Зря говорить не будут. Пальнешь на свою голову, Вовик...

Нина урезонивала мужа, как могла. Он задумался. Рассуждала Нина, пожалуй, верно: выстрел и в самом деле привлек бы внимание; не ровен час, и отцу с матерью неприятность будет. Он отнес в дом двуствольное ружье, и пыл его на некоторое время вроде бы поостыл. Но не тем слыл он парнем, чтобы отступать от задуманного.

Привычно потянуло на взгорье к деревенскому магазину. По дороге быстро созрел новый замысел. Не спать из-за птицы?.. Нечто мальчишеское и бесшабашное нахлынуло вдруг на Вовку. План, пришедший на ум, был прост в осуществлении: втихую залезть на березу и, не мешкая, повышвыривать из гнезда птенцов. Упадут под дерево, а обратно не взлетят — малы еще. Их родители найдут гнездо пустым и покинут, перестанут на березе селиться. Не зря же слынут они сообразительными.

Казалось, некому помешать такому намерению. После завтрака, покуривая, тайком наблюдал Вовка за деревом, выжидая, когда снимется и улетит к водокачке взрослая пара. Момент назревал удобный: люди ушли на прополку, на сенокос, а дома остались старухи да дети. Тишина, только куриное кудахтанье там и сям разносилось из палисадников и пустых хлевов.

Вот и улетели наконец взрослые аисты. Вовка спешно метнул окурок — не к чему терять время. Нина возилась на кухне — обед готовила.

Вовка предусмотрительно покосился на всякий случай по сторонам — улица пустовала, самое время было взбираться.

На траве под деревом и на листве березы белел сизый птичий помет. Цепляясь за сучья, Вовка то и дело на него натыкался, несколько капель упали ему на плечи и голову: аистята как бы смеялись над его намерениями. Это еще больше подхлестывало хмельное Вовкино рвение. Сноровисто и ловко, как по чердачной лестнице, карабкался он по сучьям к гнезду.

Будто совсем рядом и просто вроде бы добраться до него, но заглянуть внутрь не удается. Сооружалось гнездо когда-то на совесть и с немалой премудростью. Ветвистые

сучки вокруг него кто-то спилил, что совершенно обескуражило Вовку. Широкое, с хворостяным настилом гнездо нависало над головой слипшейся глыбой, мешало лезть дальше.

Держалось оно к тому же еще на колесе от телеги, плотно насаженном на спиленную верхушку дерева. Подновляя жилище, аисты наносили на колесо такую уйму хвороста, что разрушить или своротить его понадобились бы трос или трактор. Сейчас бы был кстати маленький ломик или топорик.

Пробуя крепость гнезда, Вовка снизу ткнул в него кулаком. И в тот же миг из-под каждой почти хворостины, из щелей с невообразимым чириканьем метнулись воробьи. Крупная птица, получалось, соседствовала с меньшей, и никто никому не мешал, жили они в ладу и согласии.

Удивленный этим, Вовка даже растерялся от воробьиного густого чириканья. Оно осыпало его со всех сторон, словно за каждым листком пряталось по воробью и каждый старался кричать громче другого. Птичий переполох разносился во все стороны от березы.

Соседка, тетка Мария, которую Вовка не сразу приметил, возилась в своем огороде и, как только воробьи расшумелись, подняла голову. Такого гвалта она не слышала ни разу. Что-то да значил он — воробьи без причины кричать не будут.

Тетка Мария пригляделась, сощурилась от яркого солнца и тотчас увидела, как над березой беспокойно закружили аисты. Затем вместе с аистятами они стали на край гнезда, призывая к спасению. Тревожный крик воробьев передался, должно быть, и аисту с аистихой, искавшим корм на лугу за огородами.

Под гнездом на дереве тетка Мария узрела человека.

— Тебе что там надо? — прокричала она, узнав отпускника.

Вовка притих, затаился, рассчитывая, что соседка, по шумев, успокоится. Но тетка Мария сразу поняла: птицам грозит беда. Она привыкла к их прилетам, отлетам, словно бы помогавшим ей в повседневных трудах и заботах.

— Не трожь их! Слезай сейчас же! Не то худо будет!

— Пошла ты... — отозвался, как показалось ему, негромко Вовка.

— Я те покажу сейчас! — пригрозила тетка Мария и, страшивая с ладоней землю, быстро направилась из огорода к хлеву. — Я те покажу! — повторила она, спуская с це-

пи пса и одновременно натравливая: — Ату его! Ату!..

Взяв вдобавок стоявшую у сенных дверей палку, соседка вышла на улицу и стала пронзительно зазывать соседа:

— Бабы! Идите-ка сюда-а-а! Полюбуйтесь, гляньте на жернаковского отпускника!

Бабам, казалось, только этого и надо было. Они появились из дворов, будто нарочно прятались, пока не окажется Вовка на дереве под гнездом. Выходили на улицу, спрашивали, что стряслось.

— Вы поглядите-ка только! Гнездо с березы сваливается! — поясняла тетка Мария. — Кричу, а он не слезает!

— Совсем уж спятил!

— От пьянки, поди!

Бабы дружно, как сговорившись, принялись ругать Вовку; подбадриваемый голосами пес залаял у березы, царапая когтями кору. Сплошные бабьи крики, сгущаясь и нарастая, приближались. Только теперь до Вовки стало доходить происходящее.

Самым разумным было бы спрыгнуть и убежать. Но свались с такой высоты — не то что ноги, а и голову сломаешь. Мысль Вовки лихорадочно заметалась: не будь у березы пса, он так или иначе спрыгнул бы. Пес же пугал Вовку.

— Убери собаку! — крикнул он тетке Марии. Вовка смекнул: начни он убежать — собака сразу покусает его.

Соседка и ухом не повела, она и не думала торопиться, выжидая, когда бабы плотнее обступят березу, чтобы миром решить, как быть с супостатом Вовкой.

И с трезвой, небывалой до этого ясностью, понял он вдруг свое положение: главное — не обозлить баб, дать им успокоиться, как-то выдохнуться их гневу, а там попытаться уладить все подобру-поздорову.

Женщины меж тем не унимались. Тетка Степанида, с той же улицы, даже запустила в Вовку палкой, но не достала: он, обхватив ствол, укрылся за ним. Вовка ждал, терпеливо ждал, когда угомонятся внизу бабы, когда иссякнут их ярость и возмущение, минует взрыв и они начнут расходиться.

Неизвестно, чем бы вообще дело кончилось, если бы не вмешалась жена.

Нина вышла из дома на голоса и шум. Одного взгляда хватило ей, чтобы понять происходящее. Не теряя времени, кинулась спасать Вовку.

— Оставьте вы его, дурака! С похмелья он!

Деревенские тетки, однако же, не спешили расходиться: какая жена за мужа не вступится? Они лишь повернули настороженно головы к Нине.

— Мы его сейчас протрезвим,— многообещающе заметила тетка Степанида, отыскивая в траве ссохшийся ком.— Быстро образумим паршивца!

— Запомнит, как разорять невинную птицу! — добавила и тетка Мария.

Дело принимало оборот самый что ни на есть неблагоприятный: женщины, совещаясь, поглядывали снизу на Вовку, держа бедолагу словно бы на прицеле. Тетка Мария, поднявшая переполох, первая же и высказала Нине:

— Мы, конечно, можем его и не тронуть...

— Вот спасибо, тетя Мария!

— Ты погоди с благодарностью-то! Лучше обещай нам, что завтра же увезешь муженька.

Бабы поддержали:

— Увози его, увози скорее!

— Развел тут пьянство!..

Последнее замечание задело Вовку особенно, от возмущения он чуть было не крикнул, что пили мужики и до него и после будут, но такая справедливость только бы подлила масла в огонь. Самое лучшее — молчать, сохраняя выдержку.

— Пусть посидит, пока милиция не приедет!

Неожиданный довод хорошего не сулил: из милиции, чего доброго, на работу письмо напишут.

— Вишь ты, какой разоритель сыскался! — доносила снизу бабья разноголосица.

— Увезу я его, ну увезу! — заверяла Нина деревенских теток.— Только вы прежде-то дайте ему на землю спуститься.

— На землю, говоришь?

— А как же везти-то его?!

— Слезет — и опять за свое?

— Не позволю ему,— убеждала Нина,— в доме запру!

Серьезно и дельно будто бы рассуждала жена, как показалось теткам. Гомон приутих: хотелось и верить Нине, и посочувствовать — мало радостного с жернаковским баламутом.

— Значит, увезешь?

— Да сказала же!

— Ладно, договорились. Поверим тебе.

Условия примирения обеими сторонами были оговорены. Тетка Мария отвела от березы пса. Поскольку «пленник» молчал, отошли на дорогу и бабы. Нина, негодуя, ждала Вовку под деревом.

— Ну слезай! — позвала она. — Заварил кашу, а я — расхлебывай. Предупреждала ведь! Эскаватор шумит — ничего, а тут птица, видите ли, ему помешала, — ворчала жена.

— Запугать вздумали... — косясь в сторону баб, хмыкнул Вовка, едва ступив на землю. — Не дождетесь моего отъезда, до конца лета назло пробуду!..

И как ни убеждала Нина, сколько ни доказывала, ни упрашивала — стоял Вовка Жернаков на своем: теперь-то бабы ему не страшны, голыми руками его не возьмут.

И в тот же день пустился по новой в загул. И неизвестно, сколько бы длился кутеж, не поползи по деревне слух: жернаковского отпускника высекли за милую душу бабы. И будто бы спустили даже портки и секли в самом что ни на есть естественном виде, били по мягкому общеизвестному месту. Пороли бы, наверно, и дальше, да спасла, выручила Нина. Вроде как силой отняла она Вовку и утащила на сеновал, где и лечила потом исполосованные места.

Мужики, кого угощал Вовка, норовили расспросить, узнать, как было — в подробностях и деталях. Вовка, пожилая плечами, отнекивался, но у магазина сочувствующе спрашивали:

— Так как они тебя-то?

— Ничего не было!

Мужики гнули свое:

— Вначале прутьями, говорят, а опосля крапивой. Или наоборот?

— Да перестаньте же!

Вовка белел, багровел, разубеждал мужиков. Те выслушивали, согласно кивали, а погода немного спрашивали опять:

— Слышь, Вовка, а моя-то там была?

Вовка таращился, готов был кинуться с кулаками. А мужики как ни в чем не бывало продолжали:

— Ты признайся, чья первой затеяла? Если моя, то я ей!..

— Ты только скажи — зададим трепку!

И мужики хмельно грозились, сжимая в доказательство кулаки.

Вовка насквозь видел их: добивались подтверждения.

А зачем оно им? Хоть и было-то на деле не так, а разубеди теперь: плачь, кричи, ведро водки ставь — на своем останутся, потому как на поводу у жен идут.

Мужики и смотреть на Вовку начали как-то особо придирчиво, выискивая перемены в движениях и его походке. Подчеркнуто норовили усадить под стенами магазина, подсовывая пустой тарный ящик, на который, боясь гвоздей, Вовка и присаживаться не хотел, уступая место старшему.

Кругом сразу же лукаво и понимающе переглядывались, истолковывая его робость по-своему: больно, мол.

Упорство мужиков в конце концов dokonало Вовку. Он перестал бывать в магазине. И тем самым окончательно подтвердил слух: раз прячется, значит, что-то да было. Последние сомнения теперь на этот счет отпадали.

Слух не минул и родителей. От шалостей сына и крепчавших день ото дня разговоров мать с отцом посмурнели. Одна жена не ругала и не корила Вовку.

Как-то с вечера на сеновале, обласкав и растрогав мужа, уговорила его уехать скорее от местной смуты и переполоха. Вовка едва не всхлипнул — доводы Нины задевали душу.

На следующий день, собрав вещи, молодожены незаметно и тихо отбыли в свою грохотливую, с окнами на проезжую часть, городскую квартиру, надеясь в спокойствии провести там остаток отпуска.

В юности перед уходом в армию работал Васька Лазарев старшим железнодорожным кондуктором. Работал недолго, но навсегда запомнил свои ночные, вечерние, зимние и летние поезда. До сих пор не забыл и сигналы, которые подавались, когда прицепляли и отцепляли вагоны. Днем он помахивал над головой развернутым желтым флажком, а ночью фонарем с желтым или белым огнем, и это означало — двигать локомотив вперед. У ног — подавать назад. Вверх и вниз — сдать тише. Круговые движения — остановиться...

В восемнадцать лет мало кто попадал на такую работу. На товарняки еще могли взять, а на пассажирские и говорить нечего: требовался опыт. По мнению же Васьки, работа на пассажирских была куда проще: не сцеплять, не отцеплять — сиди и скучай в закрытом тамбуре. Хотя возить людей считалось, конечно же, делом более ответственным.

Знать и делать на товарных поездах следовало куда больше, чем на пассажирских. В обязанности кондукторов входило правильное размещение и крепление автомобилей, тракторов, леса, контейнеров, шпал, колес и разного другого груза, о котором пассажирские бригады имели лишь смутное представление. Кондукторы же товарного обязаны были это знать.

Да если бы только знать! Самим же приходилось на промежуточных станциях формировать состав — отцеплять, прицеплять. Разное делали они на грузовых поездах. И главное было — не допустить, чтобы поезд по их вине выбыл из графика.

Не сразу ставили на товарняки. Побывай в учениках, сдай техминимум, а там посмотрят еще, подумают да прикинут — кто учил. От авторитета учителя тоже немало зависело.

Был учитель и у Васьки Лазарева — главный кондук-

тор Сенька-сибиряк, ездивший на тормозной площадке едва ли не первого вагона. Расцеплял и сцеплял вагоны Сенька играючи. На ходу соединял и разъединял, отключал и подключал воздушные рукава и делал все, как казалось Ваське, очень легко. Он попробовал было подражать ему, но пока безуспешно. Забыл однажды перекрыть тормозной шланг — поторопился за Сенькой — и едва беды избежал. Тугая струя воздуха, выпрямившая стремительно конец шланга, который он пытался разъединить, с такой силой ударила в лицо, что потом долго в себя приходил.

И как же завидовал Васька своему учителю! Ведь Сеньку-сибиряка знали все машинисты, помощники, диспетчеры, дежурные по станциям, к которым он направлялся сразу же, как только поезд вынужденно останавливали. Сенька с ходу требовал, объяснял и, негодуя, дозванивался до узловых.

И как ни странно, несколько станций потом шли «с ходу», насквозную. Везде были у Сеньки друзья. И никто из железнодорожников не обижался на разбитного шумного сибиряка, зная, что шумит и печется тот о деле. Родом Сенька был из Красноярска, работал, однако, в местах столь далеких от своего города, что его иначе как «сибиряком» и не называли. От долгих поездок в открытом тамбуре лицо Сеньки выглядело иссеченным ветрами и выдубленным морозами, остались на нем следы и жары, и холода.

Поездив учеником, Васька сдал вскоре минимум и начал работать старшим кондуктором. Видно, чем-то приглянулся он Сеньке, и тот после практики «вытребовал» Ваську к себе в напарники.

Работали они дружно. Сенька держался с новичком на равных. Случалось, в своей горячности он иной раз пошумит на Ваську, потом, видя, что дело вершится, утихает, не тая зла и недоброй памяти. В рейс они брали с собой пузатые сумки, клали в них еду и делились ею в долгой дороге.

Довелось Ваське сопровождать однажды воинский состав. Его рабочее место было в последнем вагоне на сквозной тормозной площадке со стоп-краном. Никакой аварии в пути следования не произошло, и поезд прибыл точно по назначению. А вот с самим Васькой авария, можно сказать, в тот раз случилась... Тот рейс круто изменил его жизнь — он не вернулся к прежней работе.

Моложе Васьки среди движенцев никого не было. Он гордился тем, что ему так рано доверили сложное дело, но

и робел от сознания, что не все еще знал и умел. Поездки выпадали в большинстве ночные. Длились сутки и более, с отдыхом на какой-нибудь узловой станции.

Несмотря ни на что, свою работу Васька любил и сожалел даже, что его вот-вот должны были призвать в армию. И в армии он часто вспоминал о том, как, сдав товарный состав, шел с сумкой через плечо в служебку, как протирал и располагал на полке фонари и флажки и направлялся затем домой, довольный удачно завершённой дорогой.

Любил Васька разглядывать осенние дали, нескончаемые поля, облака над тихой землей, мокрую темноту леса, стада, мосты, переезды, тоннели, близкие и дальние селения... В такие минуты он забывал о поездке, о Сеньке-сибиряке, размышлял только над тем, что видел.

Так бывало, конечно, днем. Ночью же виделись больше огни, среди которых светились, уносясь вдаль, и огни его хвостового вагона: два по бокам и один возле буфера.

Иногда поезд проносился мимо окон станционных домов. И Васька нередко предавался мечтаниям, воображая, какая чуткая, кроткая да сердечная живет здесь девушка. И почему-то, не сомневаясь, верил, что именно такую и встретит он не сегодня-завтра.

Поездки на товарных составах из памяти и души Васьки не выдует никакой ветер времени. Всего-навсего какому-то фонарю в твоих руках повиновалось множество платформ и вагонов, нагруженных народным добром. И чего не встречалось в пути, чего только не везли Сенька с Васькой! И руда, и уголь, и нефть, и лес, и металл — все доставлялось ими точно по расписанию. После стоянок Васька обычно вскакивал впопыхах на площадку и проверял первым делом свои хвостовые огни — не унес ли какой шутник? Фонари оказывались на месте, и Васька успокаивался, готовый к своему привычному созерцанию.

Зимой работа усложнялась. Зимой она становилась опасней. Но в самую трудную минуту Сенька оказывался рядом, объяснял, что и как делать. На вагонных стяжках замерзала смазка, и они не поддавались раскрутке. От снега и инея на рельсах возникали ледяные корки, начинали скрипеть колеса. В буксах густела смазка, и вагоны теряли подвижность, прицеплять и отцеплять их — одна маета.

Операции с поездами становились не только сложными, но и рискованными. То, что Ваське казалось пустячной за-

держкой, у Сеньки вызывало тревогу и озабоченность. По своему сибирскому опыту знал он, что вагоны на станции лучше отцеплять зимой группами. Лишние задержки состава на станциях увеличивали время работы в пути. Поэтому, как правило, Сенька загодя согласовывал с дежурным остановки. И если предстояли маневры с толчками, Сенька и машинист учитывали даже встречный и боковой ветер. При попутном же ветре могло случиться и столкновение.

Многое умел Сенька и учил этому своего подопечного. Особо опасную работу главный делал сам. Вставлять в автосцепку «звенку» давалось Ваське труднее всего. Называлось это — сцеплять «на ухо». В руку бралось тяжелое металлическое кольцо и опускалось в прорезь автосцепки, состав подавался с медленной осторожностью к другому вагону и, как только соприкасался буферами, серьга в мгновение накидывалась на сцепной крюк. Сенька ловко поворачивался и осторожно двигался боком между вагонами. И как ни старался, как ни берегся он, полушубок нет-нет да и защемляло, прихватывало почти намертво буферами. Иногда зажатой оказывалась рукавица, и чтобы выдернуть ее, приходилось ждать, когда буфера расстыкуются и сцепка натянется.

Сцепляя на ходу, Сенька нарушал правила безопасности, но зато экономил время. И ради этой экономии часто шел на немалый риск. Но была и еще одна особенность в характере Сеньки: любил Сенька самые дальние, трудные рейсы. В то время как другие предпочитали короткие, непродолжительные маршруты, Сенька, как нарочно, тянулся к тяжеловесным сборным составам. Благодаря им, он словно бы убегал, избавлялся от чего-то мешавшего ему находиться дома. Втягиваясь в работу, Сенька разгонял и рассеивал какие-то свои думы, какую-то жизненную тайну, скрытую общительностью и работой...

Можно было подумать, что сложные поездки нужны Сеньке, чтобы приучить к ним молодого напарника. Но Васька и без того слыл догадливым и сметливым. Вряд ли тут требовалась дополнительная натаска. Сенька вел себя то как мальчишка, то как умудренный, познавший многое человек.

Временами Ваське казалось, что вдвоем им долго не проработать. Понимал это скорее чутьем, нежели умом, и никогда не задумывался о своем ощущении. Да и не хотел, зная, что все равно скоро идет в армию.

Летом Сеньке с Васькой выпало сопровождать поезд с военной техникой. Состав считался людским и требовал повышенного внимания. В путевом листе он значился особым литером. В таких поездах Васька Лазарев разбирался слабо и полагался больше на опыт и мудрость Сеньки.

Воинский состав Васька сопровождал впервые, и потому все, что происходило вокруг, виделось ему особо важным и значимым.

Но Сенька пропал, исчез неизвестно куда, как только погрузились перед рассветом. Такого за ним Васька не помнил. С ног сбился, разыскивая своего главного. Оказаться одному было боязно. Вначале думалось, что Сенька оформлял документы, но это не подтвердилось.

— Сибиряка не видели? — спрашивал Васька у кого мог.

— А черт его знает!

Наконец кто-то на ходу бросил:

— Вроде бы звонил зачем-то домой... Точно не знаю, сорвете вы с ним отправление.

Напряженной выдалась от беготни и нервозности ночь. Ваське казалось, что как только они выедут и наберут скорость на перегонах, все закрепленные на платформах машины раскачаются и попадают. И он заранее приготовился смотреть за составом в оба, полагая, что главного ему назначат сегодня другого.

Но отправление они не сорвали...

Молча и торопливо кто-то карабкался на площадку к Ваське. Он метнулся к подножкам и выставил руки.

— Куда?! — негодуя зашумел Васька и почувствовал, что упирается руками в спицы велосипедного колеса. — Сюда нельзя!

— Тише, старшой, — услышал он снизу, от подножек. — Принимай лучше боевую технику.

Голос был Сеньки-сибиряка. И Васька обрадовался, что сыскался начальник, вероятно знавший точное время отправления состава.

— Зачем нам велосипед? — удивился Васька.

— Держи, не спрашивай. Командир в бой поведет на нем! — бросил Сенька и потрусил в голову поезда. Ваське же, не служившему в армии, и впрямь подумалось: не для командира ли — ведь состав-то воинский? На всякий слу-

чай он прислонил велосипед к стенке вагона и ждал теперь уже скорого отправления, надеясь узнать все позже.

Тронулись двойной тягой. Светало. По сторонам замелькали столбы, дома, деревья. Засвистел ветер, заторопились колеса. На поворотах Васька высовывался и, держась за поручни, окидывал состав цепким взглядом. В лицо ударял ветер с песком: видно, занесли сапогами и гусеницами на платформы. Васька невольно воображал себя сидящим в одной из босвых машин.

Работая на транспорте первый год, он работал на нем и год последний, перед предстоящим уходом на службу. Васька не знал еще, что совсем скоро кондукторов не будет, а вместо «звенок» вагоны оборудуют сплошной автоцепкой.

\* \* \*

В середине дня состав поставили под разгрузку. Кондукторы направились к станционной дежурке. Обоим хотелось отбыть скорее попутным в город. Шли торопливо по шпалам, словно бы от спешки зависел отъезд. Васька — первым, за ним с велосипедом на весу трусил Сенька. Сейчас Васька умышленно не интересовался его «боевой техникой», держась нарочито подчеркнуто: главный так и не объяснил, откуда и с какой стати взялся велосипед. Такое отношение задело и обидело старшего кондуктора.

Дежурный, как и на любой станции, был сибиряку знаком.

— Здорово, начальник! — громко приветствовал его Сенька, открыв дверь служебки. Прямо через порог он вкатил в помещение совсем новый велосипед.

— Ты бы еще мотоцикл прихватил, — заметил дежурный, снял красную фуражку и протянул поочередно руку вошедшим.

— А что, надо? — с многозначительностью в голосе спросил Сенька. — Притащу.

В глазах его мелькнуло озорство. Невзначай сказав, дежурный как бы подстегнул, навел Сеньку на шальную мысль. По сузившимся, чуть раскосым глазам главного Васька догадался, что он и в самом деле готов за что-то пострадать дежурному этой небольшой станции, на которой, кроме пригородного да редких товарняков, как сегодня, и поезда-то не задерживались... Сеньке, очевидно, хотелось поговорить с местным дежурным.

Непонятен был сейчас Ваське начальник. Какая-то тревога исходила от его суеты и загадочности, что-то скрывал он, не договаривая, от чего Васька тоже стал тревожиться. Путаясь и теряясь в предположениях, он молчаливо слушал Сеньку и дежурного, неожиданно сиявшего трубку аппарата:

— Кленовая слушает. Сборный по сквозному? Ладно.

— Отправь-ка ты нас этим сборным,— попросил Сенька.— Вот так надо домой!..— провел он ребром ладони по горлу.

— До пригородного не уедете, ребята. Запрещено останавливать, сами знаете. Попадется кто, шуму да крику наделает,— дружески укорил Сеньку дежурный.

— Попроси скорость сбавить!

— На ходу нельзя.

— А то давай сам посигналю!

— Я тебе посигналю,— пригрозил дежурный.— Под суд хочешь?

— Да мигом вскочили бы...

— И как это ты мигом вскочишь со своим драндулетом? Не могу, ребята, ей-богу, не могу. Объясняться придется.

— Тебя это смущает? — спросил в свою очередь Сенька, показывая на велосипед.— Его забирать я не намерен... — заключил он с тяжелым вздохом.

— Купил, что ли, на какой станции?

— В городе.

Дежурный уставился недоуменно на Сеньку:

— В го-о-роде? Так и вез бы сразу домой.

— Времени мало было...

Услышав это, Васька насторожился: Сенька говорил неправду. К поезду он приходил вначале без велосипеда, с ним появился позже. И к чему понадобилось везти его? Постепенно Васька начал медленно прозревать. И чем больше он думал, тем сильнее растревлял в себе возмущение от внезапной догадки...

— Я, ребята, сдаю скоро дежурство. Уведут без меня ваш транспорт.

... — Не затем я вез его, чтобы стеречь,— возразил Сенька.

... — Зачем же тогда, позволь узнать?

... — В подарок тебе, чтоб домой было на чем добираться скорее. Далек ведь живешь от станции? Я знаю.

— Ну, допустим,— смягчился дежурный.— Не все близко живут...

— Вот бери и на здоровье пользуйся. Помни Сеньку-сибиряка!

— Странный ты человек, Семен! Мне за двадцать лет работы дорога таких подарков не делала.

— Вот народ! — возмутился, из себя выходя, Сенька, обращаясь к молчавшему Ваське.— Ты подумай, от добра отказывается. Поотвык, что ли?

Сенька поднялся и, не долго думая, подкатил велосипед прямо к дежурному. Взяв его руку, он положил ее на руль, тем самым подчеркивая, что дело свершилось и не к чему толочь воду в ступе.

— Бери. Не спорь!

— Да за что подарок-то? — растерянно допытывался дежурный.

— Есть за что...

— Хоть бы знал!

— Узнаешь — не возьмешь...

Дежурному то и дело звонили, и не хотелось мешать занятому человеку перед концом работы. Сенька махнул рукой и направился к выходу, услышав шум приближающегося поезда. Поднялся и Васька. Через станцию, не сбавляя скорости, прогрохотал товарный. Сенька проводил его каким-то тоскливо-щемящим взглядом.

— Идите в сквер,— посоветовал дежурный, вышедший на перрон встречать поезд.— Или пива в ларьке попейте, завезли вчера. Сдам дежурство, подойду.

— Может, и вправду пива попить? — спросил Сенька, когда они вошли в сквер.— Смотри за сумками. Я скоро,— Сенька порылся в кармане и позвякал мелочью.— У тебя есть с собой?

— Немного найдется.

— Давай.

— Только велосипед не купи,— неожиданно съязвил Васька.— А то дарить не найдется кому... Хватит с тебя и одного.

Сенька задержался и пристально посмотрел на напарника:

— Раз приказываешь, не буду.

— Скажи, откуда этот велосипед? — спросил Васька заметно смелее.

— Разве ты не слышал? Купил.

— Но мы уезжали ночью!

— Ну и что?

— У тебя не было времени на покупку!

— Тогда украл.

— Я серьезно.

— Я тоже,— спокойно ответил Сенька.— У одного ша-лопая прихватил.

— Так я и думал! — возмутился Васька.— Так я и ду-мал! — добавил он с пророческим негодованием.— У меня бы тоже спер?

Сенька снял сумку и бросил в траву:

— Может, и не стал бы: ты трудишься. В люди выби-ваешься. И не сегодня-завтра выбьешься.

— Дико красть и потом дарить, — не унимался Васька.

— Вполне возможно. Так я подался.

— Ладно... — вяло согласился Васька. Ему тоже хоте-лось пойти куда-нибудь, но трогаться с двумя кондуктор-скими сумками было обременительно. И Васька лег, под-ложил одну сумку под голову, а другую под локоть. Даже если уснет, никто не решится взять сумки: Васька в мо-мент проснется.

Но он не спал.

Солнце нежарко проглядывало сквозь листву и хмарь облаков. От травы тянуло устоявшимся летом и чуть-чуть запахом шпал и вагонной смазки. Он ощущал их так же привычно, как ощущает человек родной быт.

Покойно дремалось и думалось. И не верилось, что це-лую зиму уносился он в своем хвостовом вагоне в снеж-ную мглу, в трескучий мороз, в каленые звездные ночи... Прыгал и приплясывал на переходной площадке, боясь окоченеть за долгий путь. И как ни стерег себя, оде-тый в полушубок и валенки, он все равно однажды уснул.

Загляделся в одну из ночей на огни в домах, замечтал-ся о незнакомке, теплом уюте и не заметил, как задремал... А поезд несся, обволакивало тамбур поземкой, убаюкива-ло коченевшего Ваську.

Не миновать бы беде, не спохватись на станции Сенька. Как догадался метнуться к задней площадке — до сих пор неясно. Ждало неминуемое ЧП. Прежде не ходил и не про-верял он Ваську, в тот же раз что-то подтолкнуло.

Станция, где растормошили Ваську, располагалась не-далеко. Там он как бы второй раз родился...

Хотя ларек был рядом, но пропадал Сенька уже из-рядно.

— Вот и мы,— объявил он, кладя на траву фуражку.— Дежурного не было?

Васька не отозвался, уверенный в «краже» велосипеда и полагая, что дежурный нужен, чтобы получить с него магарыч за подарок. Сенька же и внимания не обратил на его недовольство.

— Пойду проведу,— сказал он, направляясь к вокзалу.

До пригородного оставалось немного. Не теряя времени, Васька вынул из сумки снедь и разложил на газете. После этого заглянул в сумку Сеньки, как обычно делали они в дороге, садясь подкрепиться. Сумка оказалась пустой.

Это чуть удивило Ваську: без еды в путь-дорогу главный не отправлялся. И Ваське не советовал. Многовато набиралось сегодня загадок.

— Ай да умник!— прозвучал над ним знакомый голос.— Не стол, а клад. Ты посмотри только,— обращался Сенька к дежурному, с которым пришел.— Колбаска, яйца, лук... Скатерть-самобранка!

Похвала пришлась Ваське по душе. И хотя ничего особенного не было, а все же приятно, что похвалили при другом человеке.

— Садитесь,— пригласил Васька,— а то поезд скоро.

Сели на траву вокруг газеты. Сенька подал каждому по бутылке пива, а Васька протянул по бутерброду, яйцу и луковице.

— Ну, за что? — спросил для символики Сенька.

— За зимние поезда,— ответил дежурный.— За вас, ребята. Чтоб всегда все хорошо было.

Сенька выпил пиво, а от бутерброда отказался. Время от времени он поглядывал на часы.

Дежурного потянуло на разговоры:

— Я вам вот что скажу, ребята. Кому зимой сон да отдых, а нам так маета одна. Летом только и отойдешь маленько, как сейчас.— И он заговорил о пережитом, о разных случаях, приключившихся в холодное снежное время.

— Да здесь разве зимы? — усмехнулся Сенька.— Вы бы сибирские попробовали.

— Не скажи, Семен. Не скажи,— возразил дежурный.— Выпадают и здесь. Иной раз на товарняках замерзали, когда перегоны дальние. Выйдешь на рассвете поезд встречать — грудь заломит. Вам, кондукторам, я всегда сочувствую. Вытерпи попробуй — несколько часов без ос-

тановок. Каждый раз смотрю — видны ли?.. Не дай бог замерзли. Особенно на хвосте. Не разгляжу да засомневаюсь — на соседнюю станцию звоню: проверьте, мол. Редко, но звоню. И в эту зиму звонил однажды...

— О главных ты так не заботишься, — прервал рассказ Сенька.

— Не в том дело, Семен. Вы, главные, народ поопытнее. Попрыгаете там, попляшете, не дадите себе уснуть. Эти же, — показал дежурный на Ваську, — пока о любви больше думают.

— Васька, признайся, — перебил опять Сенька дежурного, — думаешь в дороге о девках? Только честно!

Васька смутился и не ответил — о девчонках он чаще всего и думал. И мнилось ему, что на полустанках и станциях живут они, самые красивые, тихие, скромные. И в ту морозную ночь на площадке ровно стучавшего колесами товарного поезда о них мечтал...

— Пойдите-ка, парни, пойдите... — приподнялся на коленях дежурный, видя, как Сенька в который раз поглядывает на часы. — А не о вашем ли поезде звонил я?..

— Нет. У нас зима прошла без ЧП. Правда, Васька?

— Конечно! — с готовностью подтвердил напарник. — У нас всегда без ЧП, — хвастливо добавил он.

— Что ж, это хорошо... — поддержал дежурный. — Такое дело, оно ни к чему.

На подходе к станции дал знать о себе пригородный. Васька с Сенькой заторопились. С платформы они помахали дежурному на прощание. И тот ответно махнул фуражкой...

\* \* \*

В вагоне Васька, не мешкая, занял два места — себе и Сеньке. Ехать предстояло изрядно, и был толк прикорнуть. Но сон не брал, сквозь убаюкивающую дрему Васька наблюдал за вагоном и главным, беспокойно поглядывавшим на часы. Не выдержав, спросил:

— Куда ты торопишься?

— Надо, брат, надо...

— К жене?

— И к ней... А еще самолет ждет.

— Сегодня?

Ваське летать на самолетах не доводилось, и он заго-

релся узнать, зачем и куда понадобилось срочно улететь Сеньке.

— Да, сегодня лечу в Сибирь-матушку, в Красноярск.

— И зачем? — не унимался Васька.

Сенька, не отрывая взгляда от окна, глухо ответил:

— Сына хоронить.

Как гром, поразили старшего эти слова. Вагонный гомон показался ему далеким и еле слышным. Все отодвинулось, сделалось нереальным. Только рассказ Сеньки жег огнем:

— Сын недавно школу закончил и подался в наши родные места. Стройка там недалеко. Думал я, что он будет на велосипеде ездить. Собирался в отпуск к нему, да не успел... Живи рядом, может, и уберег бы... Вечером перед рейсом телеграмму принесли — утонул сын. Жена на станцию позвонила...

Так вот почему пропадал Сенька! Сник, похолодел Васька. Обмяк от такого известия, глядел в пол, не в силах поднять головы. Боялся снова увидеть Сенькино лицо, непроницаемое, бледное.

До города больше не заговаривали. Из вагона вышли первыми.

— До встречи, брат,— протянул Сенька руку.— Дежурному сегодняшнему передавай привет. Это он зимой позвонил, чтоб поезд остановили. Не хотелось при тебе рассказывать. Но он и сам наверняка догадался.— И повторил: — До встречи!

Сенька побежал к вокзальным воротам, придерживая болтающуюся сбоку пустую сумку.

Это был их последний совместный маршрут...

Через несколько дней Ваську призвали в армию. Возвращаться же после службы на прежнюю станцию он не решился. Как ни ломал себя, как ни пересиливал — ничего не получалось: слишком помнились ему зимние поезда, шумный и неунывный главный кондуктор Сенька, оберегавший его, Васькину, жизнь.

Где он был сейчас? Васька пробовал писать на станцию, где работал до армии. В письме благодарил главного за науку. А ответа не получил. Может, не передали Сеньке письмо? Но вероятнее всего остался главный в Сибири. Иначе обязательно бы ответил.

О чьих-то других сигналах, наверно, тревожился теперь Сенька...

В Снегирином лесу мы гнули кусты и обирали орехи с макушки до низа. Иногда залезали на самый верх, держась за куст и пружиня его. Способов рвать орехи знали немало. Их подсказывали то высокий пенёк, то поваленное дерево вблизи орехового куста, по завалам же мы вообще умудрялись ходить как по ярусам, от одного орехового куста к другому.

Сквозь треск сучьев до меня донесся испуганный мальчишеский крик:

— Помогите!..

Я быстро спустился по пружинистой ветке орешника на толстый серебристый ствол поваленной осины. На другом конце его, не сводя глаз с чего-то, стоял дрожащий мальчишка Гордей, по прозвищу Конопатый, самый младший из всей компании.

— Что у тебя?

— Змея!..— шепотом ответил он.

На поваленном дереве я увидел серо-желтую гадюку.

Скованный страхом, Гордей не знал, что делать. Прыгать с бревна было высоко, можно к тому же наколоться на сухие сучья. Идти по бревну вперед нельзя — мешала змея. Косясь на гадюку, я начал осторожно отламывать ветку, стараясь при этом не оступиться.

Вытянув руку с веткой вперед, я медленно приближался к змее. Учувя меня, она подняла настороженно голову.

— Спускайся на землю,— шепнул я мальчишке.— Прижму ее. Иди, не бойся.

Гордей медленно повернулся, дошел до конца лесины и с радостью спрыгнул. И уже под ореховым кустом закричал, предупреждая каждого, что на бревне змея и надо убежать отсюда скорее.

Всех словно ветром сдуло: каждый прыгал на землю, подхватывал свою сумку и бежал в сторону. И уже издали с любопытством ждал, что буду делать я со змеей.

Меж тем гадюка, чуть шевелясь, как казалось, смотрела на меня. Я стоял в оторопи на бревне и не знал, идти ли на змею с короткой хворостиной, что само по себе рискованно, или спрыгнуть в полусасыпанную с войны траншею. Повернуться и ступить на конец бревна я не решился. Хотя именно это и надо было сделать. Но я боялся, что гадюка при виде моей трусости ужалит. Ладно, решил я, уцеплюсь по-обезьяньи за гнутый орешник и спущусь на нем. А змея пусть остается: ее лес, ее места, она здесь хозяйка...

Однако ни одному из моих намерений не суждено было сбыться. Я услышал внезапно воинственный крик и увидел, как в бревно, на котором стоял я, полетели одна за другой палки и камни. «Да перестаньте вы!..» — хотел крикнуть, полагая, что таким способом ватага пытается мне помочь. Судя по всему, Гордей не только рассказал, но и показал место с гадюкой.

Теперь я боялся цепляться за орешину: камни и палки, летящие с той стороны, угодили бы в меня. Я успел лишь об этом подумать, как одна из палок ударила в лесину, отскочила и больно задела ногу. Я вскрикнул и полетел вниз, в траншею. Упал удачно и быстро встал на ноги, готовый карабкаться наверх. Но тут же увидел, как с огромной рогатиной к бревну приближается хромой здоровенный подросток Женька.

— Кто убьет змею, тому десять грехов простится! — прокричал он и ткнул рогатиной в то место, где находилась змея. Он провел палкой по бревну, и прямо передо мной в траву полетел изгибающийся «резиновый» жгут. При виде его все бросились от траншеи, обдирая одежду и наживая ссадины. Потом же все разом осторожно и подошли.

Где упала змея — я не заметил. Она мелькнула перед моими глазами и скрылась в крапиве, росшей на дне траншеи. С небывалой прытью я начал выбираться, но края были песчаными и осыпались. Вдобавок сумка с орехами зацепилась, и, освобождая ее, я некоторое время промешкал. И в это-то мгновение почувствовал резкий укол в щиколотку левой ноги: но то мог быть и сухой сучок, и крапива, и колючая проволока. В эту минуту мне было не до размышлений.

Да и кто из мальчишек обращает летом внимание на ушибы, синяки, ссадины! Я присоединился к ватаге, и мы подались от орешниковых зарослей в сторону мшаника, через который предстояло выйти на лесную дорогу к дому.

— Сашок,— сказал мне через минуту Женька с сочувственной серьезностью.— Сними штаны!..

— Зачем? — простодушно спросил я, на всякий случай взглянув на свои матерчатые брюки: вдруг порвал. Но штаны были целыми.

— Не там ищешь, Сашок... Загляни внутрь. Небось от страху...

Мальчишки, угождая Женьке, захохотали. Все, кроме конопатого Гордея. Я неожиданно ощутил полную беспомощность и растерянность, не зная, что сказать в ответ Женьке. Слишком неожиданной показалась мне насмешка. Решимость и обида захлестнули меня. Я бросил сумку с орехами наземь, подошел к Женьке и расстегнул брючный ремень.

Мальчишки присели от смеха. Теперь они уже хохотали над нагловатым Женькой. Хохотали, падая, приседая, хлопая и толкая друг друга.

Я застегнул спокойно ремень, уменьшив его после лазания по орешникам на одну дырочку, перекинул через плечо сумку и первым побрел по мшанику на дорогу.

Я шел и то отходил от случившегося, то, наоборот, горел им. У меня было странное желание выбраться на дорогу и пойти одному домой. Все ощутимей наваливалась тревога и беспокойство. Привыкший к вороньему крику, я почему-то вздрогнул сейчас, когда стая ворон пролетела над лесом. Идти по мхам мне становилось до крайности трудно. Ноги как будто сделались ватными, я спотыкался. То, что я осмеял заводилу Женьку, не должно было пройти мне сегодня даром, но сейчас и это было безразлично. Кое-как я преодолел мшаник. Земля потвердела, вокруг лесных болот потянулась за мшаником полоса почти непролазных зарослей. Дорога ждала нас в нескольких сотнях метров.

И здесь-то, в зарослях, я явственно ощутил, что левая нога набухает и что я уже почти волочу ее. Страх затмил сознание. Остановился, пропуская вперед всех, и поднял штанину. Спереди на щиколотке ноги краснели три маленькие точки. От них по ноге шла опухоль, туго и воспаленно толкалась кровь.

— Тебе больно? — услышал я рядом голос и быстро опустил штанину.

Гордей поправлял сумку:

— Давай помогу. Держись за меня. Скоро дорога...

Откуда бы знать ему, что мне больно?.. Мало ли что

с ногой, ну, расцарапал, ушиб, подвернул, вывихнул — как догадался он о моей боли? Скорее всего я повредил ногу, падая с бревна, и сгоряча не почувствовал. А может, и растянул...

— С чего ты взял, что мне больно?

— Я точно знаю... — замылся он. — Тебя змея укусила, — сказал он, уверенно и спокойно глядя в лицо мне.

— Врешь ты, Гордей. Чепуха!..

— Вот смотри, — показал он на три красные точки с капельками крови. — Это ее укус. Когда мы с бабушкой брали чернику, ее тоже укусила гадюка. За палец. Было вот так, как у тебя. Я запомнил. Рука долго болела. Бабушка едва не умерла...

Сказав об этом, мальчишка тут же умолк. Мне же, как никогда, захотелось жить. Это что же, я не попаду в Снегириный лес, а поля, а дороги, а моя удочка, школа, книжки — все это будет мне недоступным?

Ну нет — я должен и буду жить. Назло судьбе выживу. Я выдернул проворно ремень из брюк, и мы взялись с Гордеем зажимать ногу выше колена. Ремень врезался в опухоль, почти скрылся в ней, но зато, полагал я, змеиный яд не подберется к сердцу, не убьет его. И я выживу, вновь буду ходить с мальчишками в заброшенный Снегириный лес.

Так, опираясь о плечо Гордея, я сделал несколько шагов и понял, что до деревни мне не дотянуть. Да что до деревни — выбраться хотя бы на дорогу, а там видно будет. Боль усиливалась с каждым шагом, нога немела, и я уже совсем не ступал, а волочил ее, опираясь на палку и на плечо Гордея.

Голоса ушедших вперед слышались за буреломом, у самой дороги. Стиснув зубы, я упрямо продолжал двигаться. Нет-нет да и закрадывалась мысль — а вдруг уйдут мальчишки, оставив нас? Или все же, как это часто бывало, усядутся на лесной травянистой дороге и будут ждать...

Если уйдут — придется туго. Домой я один не доберусь: расстояние немалое.

Я ступал по кочкам, цеплялся распухшей ногой за коряги и бурелом, проваливался в мох и, с болью выдерживая ногу, брел, покрываясь потом, вперед, к дороге.

Мальчишки ждали. Они сидели и вылущивали орехи. Их рвали в лесу наперегонки — побыстрее да покрупнее. Теперь же орехи вылущивали, чтобы не нести домой лишнего. Я опустил в стороне на траву, вытянул негнущую-

ся ногу и перевернулся на спину, лицом к небу. Гордей с кем-то перешептывался: вероятно, рассказывал о случившемся. Я видел небо, верхушки елей. Пахло нагретой смолой и папоротником. Умиротворенная предвечерняя тишина и эти запахи расслабили меня.

Однако почему я лежу? Почему теряю драгоценные минуты, в которые боль и опухоль только усиливаются, а яд продвигается выше? Надо брести скорее к деревне, а там уж спасут, вылечат.

Я поднял голову, встал, оперся на палку. Молчаливо и одиноко побрел по дороге. Ватага с каждым шагом меня нагоняла. Я двигался, опираясь на палку, и палка была мне в эти минуты другом. Оттого что никто не сокрушался, не думал упрекать Женьку за издевку, я вдвойне ощущал свое одиночество.

Мальчишки приближались. Женька нагнал меня первым.

— Знаешь, мы лучше пойдем наперед и скажем, чтоб за тобой прислали телегу.

Я промолчал: дело ваше. Голоса быстро затихли за лесными дорожными поворотами. Пусть спешат со своими орехами — тем настырнее и упрямее буду в одиночестве я. Добреду наперекор всем.

Гордей тоже исчез. И я сразу забыл о нем. Зачем ему со мной оставаться? Подался, и ладно. Подобно хилому утенку, он пробовал поотстать, тянуться позади, но Женька крикнул, и он присоединился.

Ничто теперь меня не отвлекало. В притихшем предвечернем лесу я был один. Даже здоровому человеку до темноты не поспеть в деревню. Сумка с орехами была по боку, мешала идти. Я бросил ее под куст, заприметив место. Вернусь, заберу как-нибудь. Но облегчение вскоре пропало. Боль и тяжесть навалились снова. Хотелось остановиться, прилечь на покрывшуюся росой траву и лежать не шевелясь, ни о чем не думая...

Времени минуло достаточно. Телеги все не было. Женька не сдержал слово, промолчал в отместку, иначе бы отец уже появился. Остальные же, вероятно, и не догадывались, о чем говорил со мной Женька с глазу на глаз.

Я приближался к приметному у дороги большому камню. За ним лес сменялся полевыми кустарниками, и на дороге нет-нет да и появлялись люди. У самых домов, где сходится несколько дорог, начнется густая, плотная пыль. По ней-то я и приду к себе.

Я поравнялся с валуном и услышал чье-то робкое покашливание. Наверху его, поджав колени, сидел Гордей.

— Зачем ты здесь?

— Тебя жду,— ответил он, спускаясь с камня.— Давай сумку поднесу.

— Я ее в кусты забросил.

— Зря,— сокрушился он.— Хочешь, сбегаяю. Скажи, где?

— Ты все равно не найдешь.

Посылать мальчишку за сумкой я не мог, понимая, что он залез на валун от страха, иначе пошел бы навстречу. Кусты, сумерки и окружающая пустынность принудили его остановиться и ждать. Гордей спустился с камня, и мы поковыляли по дороге вдвоем. Я шел осторожно, опираясь на подставленное плечо, Гордей — держась за мой пояс.

Вскоре мы услышали стук телеги. И не со стороны деревни, как ожидали, а из леса.

Кто-то нагонял нас. Лошадь ступала неспешно. Телега покачивалась в колее с одного бока на другой. Мы сошли с дороги и остановились чуть в сторонке.

— Тпру-у-у!..— Мужик в телеге натянул вожжи, заваливаясь на спину.— Тпру-у-у!

Телега остановилась.

— Хотите, чтоб подвез? — спросил мужик, пристально глядя на нас.

— Хотим! — ответили мы в один голос.

— Садитесь, мастера ломать орешник!

Мужик в телеге был заметно навеселе.

— Его змея укусила,— сказал быстро Гордей.

— Ишь, хитрецы какие! — захохотал мужик.— Насквозь вижу мазуриков. Обленились.

— Его правда змея укусила! — заступился Гордей.

— Лучше под ноги надо глядеть, когда орешник ломаете. Чего стоите? Садитесь! — проворчал мужик.

Мальчонка от радости встряхнул сумкой, и по дну ее, по самому низу, костяшками отозвались орехи.

— Давай торбу!

По-видимому, это был лесник, судя по низким дробинам и неразъезженной, в отличие от колхозных, телеге. Сидел он на скошенной траве, положенной небрежно и вдоволь. Колхозный возчик к траве отнесся бы по-другому: ни один клочок не рассыпал бы.

Мужик взял у Гордея сумку-мешок, подержал, потряс ее на весу, словно прикидывая, много ли мы нарвали, и, решив, что мало, распорядился:

— Садись на траву, ко мне поближе!

— Скорее! — заметался Гордей, помогая мне взобраться на телегу.

— До перекрестка подкину, а там и сами дотопаете, — буркнул мужик. — Мне в другую сторону, — добавил он.

— Может, до деревни довезете? — попытались мы уговорить лесника.

— Ну, разве до первой хаты, — согласился он.

Я очнулся уже дома. Лежал на кровати, мучимый ознобом и жаждой. Рядом в тревожном нетерпении стояли родители. Смутно понимая, что внизу прохладнее, я попросил положить меня на пол — на еловую свежесть вымытых накануне досок.

Однако легче от этого не стало. Я то и дело впадал в забытие. Мне виделась ползущие отовсюду змеи... Они никогда не добрались бы ко мне на кровать, но на полу могли ужалить еще раз. Меня снова перенесли на кровать.

Но и здесь я продолжал метаться от воображаемых змеиных туловищ, напоминающих пастушьи кнутовища. Пока меня доставят к доктору, змеи, размышляя я, успеют наползти в дом из Снегиринога леса. Воображал, как спускаются они в подвал дома и появляются затем в щелях на полу, нацелив на меня свои ядовитые жала...

Боль и бред изводили меня.

Болея долго. Временами мне виделась поляна с тихо стоящим орешником, крупные гроздья сами просились в сумку. Где-то за окнами кричали ребята. Тоскливо становилось от этого привольного и веселого крика. Орехов в то лето было так много, что ватага ходила в Снегириный лес почти ежедневно. Гордея в лес родители после случившегося не пускали. Боялись. И он с нетерпением ждал, когда я выздоровею. Вдвоем с ним мы запаслись бы орехами на целую зиму...

Я лежал и досадовал. Все сильнее влекло меня в знакомый лес. В нем я знал одно заветное место и рассчитывал побывать там с Гордеем.

Постепенно я начал ходить на самодельном костыле. Однажды Гордей принес слипшиеся в газете конфеты. Я стал отнекиваться: негоже старшему брать у младшего. Но лицо Гордея было таким участливым, а душа его, понял я, искала себе другую родственную и созвучную ду-

шу, которая бы не покинула его в трудный и страшный миг жизни.

Мы часто обсуждали с Гордеем наш предстоящий поход в лес, к неизвестному другим месту. В стороне от тропинки набрел я однажды на такие ореховые кусты, что нам хватило бы обирать их несколько дней. Поляна была без бурелома, сухой и чистой. И главное — ее не знала ломавшая, сокрушавшая орешник мальчишеская компания.

Мало-помалу я начал шевелить пальцами, пытался сгибать ногу, хотя отек все еще оставался. Ходить я мог, только держась за что-то. И все это время около меня был Гордей. С его помощью я выбирался во двор и с захоловшим сердцем глядел на солнечный убывающий мир лета. И еще на дальнюю-дальнюю, темно-сизую кайму Снегириного леса и дорогу к нему. Что-то происходило там, что-то делали, творили в лесу мальчишки — ведь не одни же орехи рвали они?.. Рвали без меня и Гордея...

Меж тем надвигалось неумолимое первое сентября. Гордея ждал третий класс, меня — пятый. В деревне и окрест жизнь заметно поугомонилась. Поубавилось птичьего щебета и детского гвалта. Птицы в большинстве улетели. Дни стояли сухие, теплые, солнечные. Покой и тихое блаженство царили на полях и в воздухе.

В такие дни я не мог оставаться дома. Костыль уже отбросил и каждый раз уходил от дома все дальше. И в какую бы сторону ни подавался, все поглядывал на кайму Снегириного леса. Проходив как-то часа три кряду, я убедился, что могу дойти до леса, побывать на заветной поляне и вернуться назад с орехами. Тренировки не пропали даром. Дело было теперь за Гордеем. С утра он — в школе, а если пойти после уроков — поздно, не успеем вернуться.

Воскресенье — мой последний свободный день перед школой. Там всю уже шли занятия. Значит, отправляться в лес надо в субботу. Мы посоветовались с Гордеем и решили: я пойду на поляну пока один. Узнаю, есть ли орехи, а в воскресенье, если дождя не будет, подадимся с ним вдвоем. За это время орехи могли осыпаться. Но тогда на песчаной чистой поляне их можно будет собирать прямо под деревьями. И я принесу вдоволь и себе, и Гордею.

Утром я побрел низом деревни, по стерне и скошенно-

му отавному лугу, к заветному Снегириному лесу, дальний вид которого притягивал, манил и звал меня. За время, что я болел, в лесу, должно быть, немало переменилось: в нем всегда что-то меняется, а в первые дни осени — в особенности. В эту пору лес стоит нетронутым, не зная, что делать со своим добром, кого одарить им. В самом неподходящем месте вдруг натыкаешься на крепыш-боровик, да такой величины, какой не попадался прежде за целое лето.

Давно уже позади деревня. Хрустально-чистое небо, в просторах стога и скирды, связанный в снопы лен — необъятная, головокружительная свобода... И ты один в этой покойной сентябрьской необъятности. Как-то доберусь я обратно? Главное — не зацепиться, не растревожить большую еще ногу в лесных зарослях. Отек спал, но иногда, резко ступив на твердое, я чувствую боль. Но я не полезу в повалы и буреломы. Буду идти старой лесной тропой почти до самой поляны.

Лес выростал, надвигался, как великан, распахнувший огромные полы тулупа, чтобы сомкнуть их, как только ты в него ступишь. В колеях затравенелой дороги — вода, по ней плавают иссохшая, покоробленная листва. Вода отстоялась, по-осеннему чиста и прозрачна.

Вот и вошел я под полог леса. В тени держатся холодок и свежесть. Где-то над лесом раздается крик ворона — пустынный и чуть тревожный.

Лес затягивает меня, как затягивает человека вода. Боязно и любопытно. Но это пока что начало, еще тянется дорога, по которой, хотя и редко, все-таки кто-нибудь пройдет или проедет. Дальше мне надо сворачивать на тропу, я угадываю ее между кустов и деревьев. Трава на тропе не примята. Это радует: значит, никто не набрел на поляну. Тропу проложили в военную пору к передовой линии — копытами лошадей и солдатскими сапогами. За десятилетия она почти заросла. Прошлая жизнь на ней давно минула, новая же до сих пор не привилась.

И только досужая ребятня летом ходила сюда. И шла она не столько за орехами и ягодой, сколько за приключениями, в поисках на былой передовой разного ржавого и давно истлевшего в лесных песках и болотах военного скарба.

Со страхом сворачиваю я на заброшенную, заросшую тропу. Что-то ждет меня сегодня в чащобной глухомани? Над лесом опять кричит одинокий ворон. Крик его звучит

для меня предостережением. Сбоку темнеет поваленный старый дуб, за ним, чудится мне, кто-то спрятался. Не спускаю глаз с темного за деревьями громадного дубового пня. Я готов уже вернуться, не идти дальше, но поляна... Если бы не она и не орехи, обещанные Гордею... Ведь они пропадут, осыплются, никем не тронутые. На затерянной поляне просторно и солнечно, нет зарослей — листья ландышей да осока на песчаных местах.

Она должна быть уже рядом, и ноги сами несли к ней. Кусты орешника стояли здесь и словно ждали меня в немом удивлении, увешанные отяжелевшими гроздьями. Теплынь и солнце кругом. Ни ветерка, ни дуновения. Свисают заветные гроздья. Рви, сколько можешь унести. Никогда и нигде не встречал я таких крупных орехов...

Но, странное дело, в абсолютном лесном безмолвии, в полном безветрии слух ловил на поляне непривычные шорохи, какие-то звуки. Казалось, лес силится мне что-то сказать, посвятить в свою тайну, предупредить, предостеречь. О чем?..

Я не спешил рвать орехи. Стоял, пытаюсь постигнуть настоороживший меня лесной шепот и шорох. Вокруг как будто сыпался, невидимый тек песок. Я напрягся от непонятого ощущения и предчувствия. Не ветер ли трется тихо в листве орешника? Запрокинул голову, листва на кустах орешника не шевелилась. Она скорее сама вслушивалась в едва уловимый шелест лесной поляны.

Я присел, и шипение стало отчетливей. Не примусь за орехи, пока не разгадаю этого шелеста-шепота, не выясню этого странного, шепелявого звука, навязчиво и упорно стремящегося мне что-то поведать.

Вскоре я заприметил, что осока на сухой песчаной поляне отчего-то шевелится. Кто-то трогал ее у самой земли, терся, невидимо передвигаясь от одной травинки к другой. Так, бывает, шевелится под водой тростник от прикосновения рыбы. Но в лесу ничего подобного мне не встречалось.

Я взял небольшую палку, осторожно раздвинул осоку. И онемел от ужаса. По всей нагретой поляне ползали, шипели, шуршали, терлись друг о друга десятки змей. От взрослых я слышал о так называемых змеиных свадьбах, о местах, куда сползаются они чуть ли не из всего леса. Свадьба ли тут была и случаются ли свадьбы в эту пору, я не знал ни тогда, ни теперь. Но то, что поляна кишмя кишела змеями, было очевидным.

Я боялся сделать хотя бы шаг. Ступить мне было буквально некуда. Меж тем змеи как бы и не замечали меня, продолжали шуршать и тереться на солнечно-желтой орешниковой поляне. Я осторожно шагнул назад, шагнул спиной, весь дрожа и цепенея от творимого на поляне змеиного шабаша.

Не помня себя, выбрался на тропу и в тряском холоде, с колотящимся сердцем, спотыкаясь и задевая больной ногой за кочки, хворостины, рытвины, понесся что было сил к дому.

— Где же орехи? — поинтересовался наутро Гордей, пока я отлеживался с разболевшейся не на шутку ногой.

Что мог ответить ему? Вздохнул и сказал, что разболелась нога и я не добрался до леса.

— Жалко, что орехи там остались, — огорчился Гордей.

О змеиной поляне я умолчал. Не хотелось, чтобы у Гордея пропало желание бывать в Снегирином лесу и одному искать солнечную поляну с орешником.

...Уже взрослым я услышал однажды поверье, что укус змеи делает человека несчастным. Змея ворует якобы счастье. Я долго размышлял над этим: так и эдак прикидывал, примерял услышанное и ничего не понял. Махнул рукой и забыл о поверье.

Но иногда кажется, во сне тормозит меня мальчишка самый меньший из всей нашей лесной компании, легонько трогает за плечо, и я слышу, как говорит он: «Вставай, в лес пойдем, я отыскал поляну. Идем скорее, пока там никого нет».

## Мартовский костер капели

А. Т.

В весеннем сквере по сохнувшей обнаженной земле неторопливо и осторожно катит коляску Надя Колычева. Молодая мать, любуясь, смотрит на четырехмесячного сынишку, с едва обозначившимися ямочками на щеках и морщинками возле носа. Синяя соска торчит в розоватых губах. Глаза малыша, небо и соска — одинаково сини. Синий цвет — предвестник счастья.

А ее счастье тревожно, но одновременно высоко и радостно, и все пережитые волнения сейчас уже ничего не значат, бессильны омрачить материнское ликование.

Черты ребенка ей напоминают с каждым днем все заметнее и резче другого человека, вряд ли знающего о ее малыше. И никому не может она признаться в этом: ни матери, ни подруге, ни тем более мужу... Только она одна читает и распознает эти черточки, эти отметинки, и как бы ни было трудно дальше, жизнь не будет казаться такой пугающей и запутанной, какой виделась поначалу.

Она выносила, выстрадала и уберегла свое счастье. Для нее оно теперь в малыше и заботах о нем. Все последующее — вторично, зыбко, неопределенно. Временами в душе и сердце ворохнется пережитое, но сразу умолкнет и вытеснится, как только раздастся голос ребенка.

Время кормить малыша — и Надя поворачивает коляску к дому. Сейчас она наберет известный ей номер телефона.

— Вас слушают, — отзовется знакомый голос.

И хотя ничего не услышит в ответ человек на другом конце города, он догадается, кто звонит, и не откликнется. А она обрадуется голосу и тому, что не отозвался в трубке другой, кто-то неизвестный ей.

\* \* \*

Много раз у них прежде бывало: когда хотелось, чтобы он позвонил, она с напряжением принималась думать, по-

сылая свои необъяснимые для обоих позывные. Через несколько минут раздавался телефонный звонок.

Она тут же брала трубку.

— Нет, ты скажи! Вот так чудо! — радовалась Надя такой интуиции. — Только подумала: почему не звонит? И тут же звонок. Ты просто молодец!

И она расспрашивала, как он там в своей однокомнатной квартире, наверно, опять ел всухомятку. Тронутый заботой и беспокойством, он говорил в ответ ничего не значащее, но такое понятное им обоим, такое нужное и волнующее. И никто не мог дозвониться к ним — так долго длились эти беседы.

— Мне нравится слушать тебя, — признавалась она с некоторым кокетством, но он верил, никогда не сомневался, что отношение ее искренне и неподдельно. — Знаешь что? — начинала она и умолкала. — Знаешь что?..

— Да говори же!

— У тебя есть стихи...

И умолкала вновь.

— Какие? — в нетерпении переспрашивал он.

— Ну, вот эти: «Не жизни жаль с томительным дыханьем...»

Он сразу угадывал, чье это, и подхватывал: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть? А жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем, и в ночь идет, и плачет, уходя».

— Да-а-а... — размышляла она о чем-то своем и тут же спохватилась: — Какие обжигающие слова «просиял над целым мирозданьем...» Почитай еще, пожалуйста.

Он не заставлял ждать, уговаривать:

— «И много лет прошло томительных и скучных, и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, и веет как тогда, во взорах этих звучных, что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь».

— Вот сейчас бы так писали... — сказала она и, посерьезнев, вдруг призналась: — Мне нравится, как ты говоришь — мягко, сочно. Я очень люблю твой голос.

И не предполагал он, никогда не думал, что голос его может быть для кого-то приятен, как глаза и улыбка...

На работе Надя иногда машинально рисовала его лоб, овал лица, подыскивала к рисунку модели плащей, костюмов, пальто, сорочек и галстуков. Она была художником-модельером, рисунки были оригинальны. Он выпрашивал

их, когда встречались, и прятал. А она снова и снова рисовала его.

Случалось, приглашала к себе домой, в две небольшие комнаты с окнами на трамвайную линию. В прихожей было тесно, и раздеваться мог он только один, ища, куда бы повесить пальто и шапку. Надя тут же принималась накрывать стол, разогревала, жарила. В окно виделась улица: беспорядочные склады, впрыток прижатые к набережной, окованной каменистыми берегами Яузы. Мутная, маслянистая, с густым сточным запахом река не замерзала в любой мороз.

Потом они ходили гулять в сад, где в спокойном величии красовался старинный дворец, построенный по проекту архитектора Казакова.

Не забыть ему той последней морозной как никогда зимы. В середине ее Мишка Минаев и Надя Колычева гуляли по засыпанным снегами дворцовым аллеям, радуясь и морозному воздуху, и бодрящему дню. Он настоял, чтобы Надя обула валенки и надела полушубок отца — старшины-сверхсрочника.

В давнишнем, студенческих дней пальто, в импортных легких ботинках он вскоре озяб до чертиков, но вида не подавал: сколько раз до этого замерзал, и ничего не случилось. Он шел, приноравливаясь к медленному ее шагу. Временами ему все же неодолимо хотелось убежать в теплый подъезд.

Гуляли часа полтора. Возвратясь, он не ощутил почему-то тепла и за чаем попытался незаметно снять под столом туфли. Но... подошвы примерзли. Позже ботинки удалось сдернуть, и страшная боль неистово передалась от ступней вверх.

Стопы он отморозил, долго лежал потом и в больнице, и дома. Изредка его навещала Надя, но приходила все реже, ссылаясь на занятость по работе. Просила иногда свою тетю, одинокую, сердобольную Полину Семеновну. Михаил уговаривал не навещать, но пожилая женщина с удивительной аккуратностью приходила к нему. После ее визитов росла необъяснимая тревога: что-то менялось в отношениях между ним и Надей...

Возвратясь как-то в палату, он увидел на тумбочке кулек с апельсинами и записку: «Не говорите нашим, что я заходила. Полина Семеновна».

Потрясла, расстроила тогда эта записка, но не простые предшествовали ей и события...

Между прожитым и наступившим мартом был теперь год. Минул ровно год с их последней встречи. Наступивший март выдался редкостным. Перед сумерками в комнату доносилось весеннее оживление: детские голоса, пронзительное воронье карканье, и где-то внизу во дворе слышался треск горящих поленьев или лежалого сушняка, но без дымного запаха и отблеска пламени. Треск от невидимого горения который вечер не утихал, он, наоборот, становился гуще и рождал некое неразгаданное чувство тоски и восторга.

Временами казалось, что в комнату и в самом деле откуда-то проникает запах костра и дыма. Михаил не выдерживал, шел открывать балконную дверь и смотрел вниз.

Ничто не пылало внизу, в сырой темноте, не горело ни возле дома, ни поодаль. И он понял: это были звуки воды. С крыш густо сыпалась капель, падала на землю с весенним напором, и этот звук создавал впечатление дружно горящего из сушняка костра, с таким же неподдельным и точным треском. Не выгляни Михаил на улицу, вряд ли и узнал бы об этом.

С жемчужным весельем дробилась вода, лилась с накопленной силой, радостно сверкала, пролетая мимо балкона. От водяных этих звуков будоражилась кровь, путались мысли, рождались неясные, смутные желания.

И среди запаха талого снега, среди нахлынувших впечатлений о прошлогоднем марте, среди творящегося весеннего обновления с осязаемой пронзительностью вдруг зазвонил телефон. В трубке молчали. Сердце часто забило, хотелось выкрикнуть, выдохнуть в запотевшую в руках трубку: «Надя, ведь это же ты!..»

Но он ждал, когда отзовутся в трубке первыми. А ее положили. Могли звонить, конечно, и по ошибке, однако что-то подсказывало, нашептывало, что это была она: срабатывали те же позывные сигналы, возникшие в разгар их дружбы. От нетерпеливого ожидания они сработали и теперь. Но они уже ничего не могли изменить: Надя вышла замуж, у нее был сын...

Как хотелось увидеть ее сейчас с малышом на руках. Она ходит на комнате, под густой треск капли за окнами... Поразмыслив, он решил: «Может, и к лучшему, что разговор не состоялся». От кого-то он слышал, что волнение матери передается и малышу. В этом случае виноватой была бы не она, а те сигналы, что подавали они друг другу. И по молчанию в телефоне он понял, что сила сиг-

налов не иссякла и не ослабела, вопреки замужеству, она оставалась в их чувствах и памяти прежней.

Не забыть ему осени их знакомства. В судьбе и жизни его Надя встретила первую, с кем было легко и раскованно и кто понимал его так, как, может, не понимал иногда себя и он сам. Он помнил много стихов и романсов, отобранных и отсеянных неумолимым временем. Надя часто просила что-либо прочесть ей или напеть. И он пел, читал, а Надя впитывала то, что слышала, вбирала в себя, как росную влагу вбирает растение. Он делился с ней тем, чем жил сам.

— Мишутка, прочти еще...— просила она.

— «Молитву» хочешь?

— Нет, лучше стихи.

— «Молитвой» стихотворение называется.

— Тогда читай.

Он останавливался в тихом переулке или под деревом на бульваре и начинал читать: «Я, мать божия, ныне с молитвою Пред твоим образом, ярким сиянием, Не о спасении, не перед битвою, Не с благодарностью иль покаянием, Не за свою молю душу пустынную, За душу странника в свете безродного; Но я вручить хочу деву невинную Теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, Дай ей сопутников, полных внимания, молодость светлую...»

С того времени, как у Миши Минаева умерла мать, он думал о женитьбе. И все чаще казалось ему теперь, что Надя Колычева именно та девушка, которая и нужна ему. Будь живой мать, пожалуй, порадовалась бы его выбору.

— У меня ведь жених есть,— заметила как-то Надя, словно разгадала его тайну.— В командировке он, в Африке, на два года.

Вначале и не поверилось, показалось розыгрышем обескураживающее ее признание. Женитьба на ней все же представлялась хоть и далекой, но вполне вероятной.

— Не обижайся, если расстроила. Ну, пожалуйста.

— Тебя, Надя, наверное, бог приметил.

— Выдумщик.

— Так говорят обычно о хороших и добрых.

— Хочешь, я поцелую тебя? — И, не дожидаясь ответа, вставала на цыпочки и целовала его. Он вздрагивал от трепетной теплоты ее губ, обхватывал узкие плечи и притягивал к себе.

Позже действительно подтвердилось, что некий Виталь-

чик, командированный за границу, и в самом деле ее жених. Но от этого он только крепче уверился, что замуж она все-таки выйдет за него, Мишку Минаева.

— Знаешь,— говорила она через несколько дней, когда он сделал ей предложение.— Знаешь, я бы, пожалуй, и пошла бы за тебя, да не уверена, что не уйду к Витальчику, когда вернется. Он ведь что говорил: «Если ты слово нарушишь, я потом все равно тебя уведу, где бы ни жила».

— Напиши, чтоб не обижался. Объясни, что так, мол, и так, встретила другого...

— Нельзя.

— Почему?

— Потому, что такое письмо убьет его. Представляешь,— повторяла она любимое свое словцо,— представляешь, написать за границу такое! Да он же с ума сойдет! Это жестокость.

В ответ он только вздыхал и выслушивал все до конца.

— Представь, с Витальчиком случилось бы что? Ведь я потом до конца дней этого себе не простила бы, да и какое счастье было бы у нас? Уж лучше так. Вернется он, и я все расскажу. Все как есть — пусть сам решает. Так будет честнее. Осталось немного.

О приезде Витальчика он больше не говорил. Разговор о нем в последний раз возник на квартире у Нади. За чаем, на который приехала и Полина Семеновна. Мать Нади осторожно заметила:

— Хороший вы человек, Михаил. Но не обижайтесь на нас. Надя обещала Витальчику ждать, давала слово. Я, как мать, тоже обещала.

— Я понимаю...— всего и сказал он.

Полина Семеновна не вмешивалась. Она никого не осуждала и ни о чем не высказывалась в этой совсем необычной и одновременно же не новой житейской истории. Спокойно и рассудительно думала, что такие, как Михаил и Надя, нелегко сходятся, непросто расстаются и еще труднее забывают друг друга.

Она была единственной, кто догадывался, что Витальчик и сам в себе толком не разобрался еще и что привязанность к племяннице могла объясняться больше командировочной тоской по друзьям и знакомым, нежели чувствами. Отношения к Наде, как казалось, не требовали от Витальчика зрелой серьезности, душевной общности и родства. Рано привыкнув к родительскому покровительству, он и за рубеж был послан благодаря влиянию и опеке отца.

Племянница виделась Полине Семеновне более рассудительной: именно такую жену и подбирали сыну родители Витальчика.

Многое понимала Полина Семеновна, не случайно оказавшаяся на чаепитии у своей младшей сестры. Она любила племянницу, желала счастья и повторяла часто: «Сердечко-то у нее доброе».

В тот же день она ничего не сказала ни Наде, ни ее матери.

\* \* \*

После замужества Надя переехала в квартиру родителей Витальчика. С кооперативным жильем, на которое рассчитывал Витальчик, улетая в Африку, почему-то не получалось. Командировки и теперь вынуждали его часто отсутствовать. Надя жила вместе с его родителями. Почти всегда звонила она Михаилу и просила проводить после работы. Волосы ее теперь пахли дымом модных зарубежных сигарет «Мальборо»: что-то, видно, не давало покоя Витальчику, курившему до того, что даже волосы жены успевали пропахнуть куревом.

Накануне Восьмого марта он улетел вновь. Поздравив Надю с праздником, Михаил предложил ей посидеть в кафе.

— Ой, как здорово! Я давно нигде не была. А куда пойдём? Может, в «Садко»?

В стилизованном под старину кафе на Пушкинской улице они просидели недолго. Было шумно и будоражно, с какой-то нарочитой ленцой двигались меж столиков официанты.

— Что-то голова болит,— призналась она.— Закажи коньяка.

Когда официант разлил коньяк по рюмкам, Надя сделала глоток и отставила, поморщась, рюмку:

— Гадость!

— Может, лучше ко мне поедём? — предложил он, глядя на ее утомленное лицо.— Отдохнешь там.

— Свекровь обидится за позднее возвращение. А впрочем, у меня же сегодня праздничный вечер! — спохватилась она.— Поехали!

Жил он в Измайлове, в однокомнатной квартире: полки с книгами, цветной телевизор, письменный стол и неболь-

шой бар со светильником определяли его простой холо-  
стяцкий быт.

— Как спокойно здесь,— заметила она, устраиваясь на диване и вздохом выдавая нелегкость своего замужества.— Знаешь, чего я больше всего хочу? — спросила она, как только он заварил чай.

— Ну?

— Хочу, чтобы ты сказку прочел в честь праздника.

— У меня же подарок есть!

— Пусть и сказка будет подарком.

Сказки были ее исцелением.

Он уменьшил в телевизоре звук, открыл книгу.

— «Жил старик со старухой,— начал читать Михаил, проникаясь волшебством и мудростью.— Вот старуха на старика всегда бранится, что ни день— то помелом, то рогачом отвалает его; старику от старухи житья вовсе нет. И пошел он в поле, взял с собою тенеты и постановил их. И поймал он журавля и говорит ему: «Будь мне сыном!»

Текст звучал с тем особым настроением, когда невольно отходит и забывается тягостное и неотвязное. И успокаивается, обволакивается тишиной и покоем сердце.

— «Я тебя отнесу своей старухе,— продолжал он,— авось она не будет теперь на меня ворчать. Журавль ему отвечает: «Батюшка! Пойдем со мною в дом». Вот он и пошел к нему в дом. Пришли...»

Он оторвался от чтения и увидел ее отрешенно спящей. С темными ресницами и бровями, с полыхавшим на щеках румянцем, она напоминала сказочную Аленушку, прилегшую после хождения по лесу и сидения на камушке у воды. Отложив книгу, залюбовался ею в полумраке комнаты.

Поздним вечером она медленно и нехотя засобиралась. С ледящей душу тоской смотрел он на нее, с сожалением и отчаянием отвозил домой.

Однажды из будки возле работы она позвонила ему. Говорила, что со дня на день придет Витальчик, а она не знает, как быть теперь и что делать... Неожиданно заплакала:

— Только ты и можешь помочь...

— Чем?

— Найди срочно врача. Кажется, я беременна! И чтоб никто-никто не узнал...

— Перебирайся ко мне! — решительно предложил он, опаленный изнутри мыслью, что у них будет ребенок и она наконец станет его женой.

— Тогда я определенно погибла. Пожалей меня!

И он заколебался, пообещав подумать. А думая и взвешивая, заполучил от знакомых и необходимый адрес. Но говорить об этом Наде медлил. Он знал ее характер менять намерения, поступать в итоге, как повелевает душа. И почти не ошибся: звонки с мольбой вскоре отпали с такой же внезапностью, как и возникли.

Загадочное, удивительное вдруг наступило затишье в их отношениях. Не зная, как понимать это молчание, он позвонил сам. Надя сказала сухо:

— Знаешь, я передумала: будь что будет.

А спустя немного еще, когда он вновь уговаривал переехать к нему, вдруг заявила, что ничего не подтвердилось, ничего, оказалось, и не было.

С тех пор они больше не виделись, после того марта ни разу не встретились. Она не звонила ему, и он не тревожил, зная о возвращении Витальчика. Но летом, перед отъездом в отпуск, не утерпел и по телефону спросил, не случилось ли что.

— Позванивай, если хочешь, сам. Я больше не буду...— И, ссылаясь на занятость, повесила трубку. Не понял он тогда этих слов: простая ли в них была доброта или нечто большее, называемое вечной женской загадочностью. Так и уехал со странной обеспокоенностью.

Неделю спустя он позвонил ей. Пронзительно синие были дни, подобной синевы никогда и не помнилось, и потому хотелось поведать о ней — вдруг да надумает приехать.

С этого-то звонка из далекого Крыма он не знал уже больше покоя, с этого-то звонка он ни на минуту не выпускал из памяти минувший март и все, что было отныне с этим месяцем связано.

— Надя Колычева? — с удивлением переспросили его.— Она же в декретном отпуске!

— Извините, не знал.

Новость ошеломила, сбила с отпускного настроения. Перемешала тревогу с радостью. Тревога была за исход, радость же, что и у нее тоже будет, как и у многих, крохотное чудо.

\* \* \*

Под треск весенней капли ощутил он свою неустроенность, усиленную загадочными телефонными звонками и за ней следовавшим непонятым молчанием. И после каж-

дого из звонков, поддаваясь иллюзии, сильнее воображал радостно трогающие лицо детские ладошки...

Кому надо было звонить и молчать, узнавать, дома ли и что у него на душе? И благодарить, возможно, судьбу — за малыша.

Мишка Минаев замирал с колотящимся сердцем и с волнением, удвоенным и утроенным, напрягаясь, ждал — не взорвется ли нечаянно на другом конце провода детский крик, выдавший бы тайну молчаливых звонков. Не уменьшая веры и убежденности, что звонила она, тайна все так же оставалась тайной. И чьи-то губы всякий раз, казалось, шептали в трубку: «Он — твой, он — твой...»

И тогда вечерами, мартовскими весенними вечерами, одолевало беспокойство и непривычное опасение, которое объяснял он для себя одной лишь причиной: не пропали, не исчезли бы однажды молчаливые эти звонки, как брошенный конец веревки с проплывающей мимо лодки.

Но и другой, кто звонил ему, не мог не бояться этих вечерних предвидений тоже — вдруг да прозвучит в трубке чужой женский голос!

Двух этих мгновений они сильнее всего боялись — под звуки падающей и текущей воды.

Из ремонтных мастерских Степка возвращался под вечер. Шел, надеясь поспеть к приходу стада. Быстро темнело. Настороженно затаились кустарники. Ветер обрывал с них и носил над дорогой сухие листья. Безотчетная тревога подгоняла Степку, заставляла торопиться.

И немало уже отмахал он от центральной усадьбы, как внезапно хлынул ливень. Степка метнулся было под куст, присел, вжался, но ветви мотало, гнуло, и его обдавало водой. И, как на грех, ни стожка, ни скирдочка при дороге — сплошь кустарники да оголившиеся пригорки. Впрочем, уже не было толку и прятаться — Степка насквозь промок и пошлепал к дому по лужам и грязи.

Вот поравнялся с кладбищем и невольно остановился, глядя в сторону шумевших елей. После похорон матери он ни разу не приходил сюда. Где-то здесь можно повернуть к елям. Была ли дорога к кладбищу протоптанной или поросла травой, не запомнилось тогда. Ему почему-то захотелось найти это место сейчас. Степка взгляделся, но не увидел под дождем поворота, и в наступающей темени подался с безотчетным желанием напрямик к елям. В эту минуту тянуло делать все вопреки дождю, ветру и темени.

Глухо было на кладбище и темнее, чем на дороге. Сейчас бы грозу, молнию, чтобы осветила. Сквозь заросли он наугад пробрался к могилам, не испытывая ни малейшего страха.

По желтоватому песку и бумажным цветам на кресте Степка определил — ее могила... Дождь размыл насыпанный в день похорон песок. Степка опустил руки на перекладину креста и стоял так под разгулявшимся осенним ненастьем. Ничего для него не существовало вокруг, кроме горя и неудач, нахлынувших после похорон.

Прежде чем вернуться на дорогу, Степка прощально по-

целовал крест, как это делала всегда мать на отцовской могиле...

Стадо давно пригнали. Степан заглянул в хлев — у яслей было пустынно и тихо. Может, корову кто к себе загнал, приютил до утра?

Степка прошелся вдоль изгородей, окликая и вслушиваясь, но в ответ доносился непрерывный шум дождя. Он с горечью подумал: «Без хозяйки и хлев корове не мил».

Из распахнутых настежь дверей в непогоду метнулась какая-то озябшая птица. Лампочка в хлеву не загоралась, сколько ни щелкал он выключателем. Видно, ветер повредил провода. Степка исправлял часто проводку сам. Это было надежнее, чем дозваниваться до электрика в другую деревню.

И каких только забот не свалилось на его голову после смерти матери — руки опускались. Когда пахал Степка вблизи деревни — мог справляться еще, но с дальних полей не поспевал. И тогда он просил соседку, бабу Максимиху, без которой было не обойтись ему.

На скотном дворе поодаль также не было света. Но ни за что не пошел бы Степка туда после того, как недавно нашумели на него бабы. Известно, что в молодости одинокого человека всякий берется наставлять, поучать, а чаще бранить, пытаясь кроить и переделывать по своему подобию. Требуют от него послушания, покорности, забвения нажитых до того привычек. Ругая и стыдя, бабы надеялись миром вывести парня на трезвый путь.

Будь это не Степка, они наверняка взяли бы сразу невесту подыскивать. Но такого женить никто не решался: кому надобен «выпивоха»? Спасался Степка от бабьих укоров на пашне. Уезжал в поле и пропадал там целыми днями. Пахал иногда и ночью. Поутру, возвратясь, снимал и развешивал в сенях одежду, от которой в доме пахло землей, железом, ветром — его работой...

Степан вошел в дом и, не раздеваясь, лег на лавку. Хлестал по окнам и крыше ливень, мокла земля, стояла под дождем где-то в ночи одинокая корова... Гибло на лугу за деревней и сено, что не привез он вовремя, при хорошей погоде. Собирался и не успел. Другие управились. Да и сам он возил многим сено на своем тракторе — за выпивку. Свои же копны остались под дождем. Как раз те, которые сушила и сгребала в последний раз мать. Не убрал их Степка. Разговоры теперь бабам не на один год. Ни-

чего не успел он сделать, потому что не был еще хозяином в доме.

Трясло под овчинным тулупом. Вот выпить бы в самую пору, да нечего, выпивка у него не застаивалась. И Степка продолжал лежать. Встать, пошевелиться не было ни сил, ни желания. А к чему вставать, к чему шевелиться — все одно: нет в жизни удачи...

Такой ночи еще не помнил он, такой ночи у него еще не было. Глаза закрыты, а видится все как наяву. Впервые ложился он трезвым, впервые так обостренно и горестно думал. И издали, из глубины растревоженной Степкиной памяти наплывало лето, последнее для его матери, голубое и чистое.

По весне долго болела она, почти не ела и на глазах у всех чахла. И каждый думал, что это у Ефимихи от заботы по Степке — тревожат ее сыновьи запой. Сам он перемену в матери заметил не сразу. Только когда привез из больницы домой — с седой головой и угасшими, провалившимися глазами, — понял: жить ей недолго.

Вначале вроде бы и воспрянула она, отошла. Сидела на лавочке, ходила к соседям, делала кое-что по хозяйству. И даже ворошила во рву за деревней сено. После больничных запахов дышала и не могла насытиться травяным теплом горячего лета.

На мгновение всплыло в памяти сказанное: «Помру — побираться будешь...»

«Ладно, завяжу. Вот посмотришь, пить брошу!» — заявлял Степка матери, как о чем-то давно решенном. И только по необъяснимой ему самому причине относил и откладывал это дело, словно бы что мешало ему или руки не доходили.

И не стало матери...

Трудно бывает от чужих толков. Но толки в конце концов забываются, память же о матери вечна, всегда жива.

\* \* \*

Перед кончиной мать ослабелой рукой достала из-под подушки марлевый узелок и протянула Степке.

— Возьми, сынок, — тихо сказала она. — На поминки...

Степка оторопел: и после смерти не хотела мать быть никому в тягость. Как и все старые люди, она была уверена, что через сорок дней, ее, по обычаю, в родном доме

помянут. Скажут доброе слово, а большего и не надо отошедшей душе ее.

Отправила бы мать узелок лучше в город дочери Зойке, у той хоть дети, и потом, она все-таки хозяйка. Но мать отдала деньги ему. И это лишило Степку покоя. Он думал теперь о ее просьбе каждый день и за любимым делом.

А думать было о чем: приберегали деньги в большинстве одинокие люди, наподобие бабки Максимихи, но мать-то его жила не одна? У нее был он, тракторист Степка, а получалось, что его как бы и не было, если наказывала мать помянуть и деньги приберегала. Значит, не надеялась на сына. Даже умирая, хотела, чтобы думали о ней, а значит, и о Степке, о всей их семье только хорошо.

И вот теперь, когда неотвратно надвигался сороковой день, все чаще испытывал Степка растерянность и смятение. Незаметно для себя успел истратить большую часть материнских денег. От этого растерянность и смятение только усиливались.

Зря положились на него мать. Отдай она деньги Зойке, куда вернее и проще все было бы. А теперь... Просить у кого-либо в долг он не решался, хотя об оставленных ему деньгах знала пока одна бабка Максимиха.

Из них он взял себе на ботинки: старые совсем развалились, машинное масло и солярка доконали их раньше срока. Приобрел он, как водится, и несколько поллитровок... Остальное завернул с отцовскими орденами и медалями в марлечку и положил на дно железной конфетной коробки. Так, казалось ему, будет вернее, хотя денег оставалось всего ничего, несколько бумажек. Эти бумажки он не хотел сейчас ни на что тратить, боялся их даже трогать.

К сороковинам он надеялся заработать на осенней вспашке: полторы-две нормы давал. И, наверное, заработал бы, да сломался, подвел, на беду, трактор. И Степка отбуксировал его к центральной усадьбе.

Обновку же узрели бабы: «На свои, что ли, купил?» По сердцу Степки вроде наждаком провели, сжималось горло от обиды: горели ноги в ботинках.

Возил ли Степка кому сено прицепом, ездил ли за дровами или делал другую какую работу — за все поднесут стаканчик. Сам он вначале принимал это как должное, а там свыкся, втянулся...

Так и жил Степка — под хмельком, навеселе.

Глядела, глядела на него бабка Максимиха и окрестила его «каголиком». Лешка-сосед расхохотался от бабкиного определения, а потом и по деревне разнес, хотя и другом считался. И пошло: Степка-каголик...

— Каголик, как есть каголик,— сетовала не однажды бабка Максимиха.

\* \* \*

В первые дни сентября небо насупилось, стало ниже. Быстро гасли дни. Заветрило, потянулись лохматые облака, потемнели мокрые деревенские крыши. На огородах копали спешно картошку. Рано с полей пригоняли стадо. Не придешь вовремя — ищи корову по чужим огородам. Степкин трактор стоял по-прежнему на ремонте. На рассвете спешил Степка в мастерские, а к вечеру устало шагал домой. Без трактора стаканчик не подносили. Степка как-то притих, ушел в себя. И чувствовал себя вроде дерева на распаханном поле.

Сороковой же день надвигался. Идти к кому-то за советом не хотелось.

Терзала, изводила Степку одна и та же мысль: думалось ему, что это он, именно он, ускорил кончину матери, из-за чего теперь ругали и корили его колхозные бабы.

Возможно, жилось бы Степке намного и лучше, будь он, скажем, рыболовом, имей он, кроме трактора, другое приращение.

Но ни рыбалки, ни охоты не знал Степка. Он и лес-то видел больше из кабины трактора, когда ездил с прицепом для кого-нибудь за дровами за неизменную поллитровку, которую потом распивали чаще всего с Лешкой-соседом,— в деревне того обычно нанимали копать могилы.

— А кто мне выкопает? Кто?..— плакал Лешка не однажды на очередных поминках.— Кто, спрашиваю?

Бабка Максимиха, наведываясь в дом к Степке, вздыхала и, ни слова не говоря, уходила. А однажды с горечью сказала:

— Ох, Степочка, останется после тебя один след кривой!

— Какой такой... след? — вытаращился он.

— От пьяных ног.

— Не дури, бабка! — сказал он.— Уеду я скоро. Посмотришь — распродам все и уеду.

Теперь же до сороковин оставались считанные дни.

спохватился как будто Степка, начал трезветь, прикидывал, примерялся, как лучше устроить их. Спыхватился он все-таки поздновато — время было упущено. Сделать же предстояло немало. И главное, эти материнские деньги. Как вышло, что он истратил их, извел почти все, на что-то надеясь?

Судя по всему, бабка уже смирилась, свыклась с мыслью, что сороковины не состоятся и что Степка уедет.

Но Степка и речи не повел больше о распродаже. Одной только бабке и сказал об этом. Сказал про отъезд сгоряча, не подумал. Не мог он продавать то, что наживали свой век отец с матерью. Никому отчий дом не мог уступить Степка, не мог просто расстаться с ним. Только бы сороковины справить, найти денег, а там все будет иначе, все пойдет по-другому.

Шло время. Заметно остывала земля, притихшая и покорная после лета. Минула неделя-другая, и замглило, посыпались с кустов ольшаника листья.

\* \* \*

Ночью ветер злобно сотрясал крышу, дребезжал оконным стеклом, словно просился в дом. Среди дождевого шума померещилось Степке коровье мычание. Он насторожился. Мычание повторилось. Нашла дорогу. Явилась, когда разбухло от молока вымя. Пусть ревет. И тут же вообразил, как утром находят соседи лежащую во дворе с вытянутой шеей корову. Сойдутся, соберутся — гвалт, брань: корову не смог сберечь!

Надо было вставать. Неохотно поднялся. По мокрому двору протопал в темноту хлева. Ведро не взял — не хватало ему с молоком ночью возиться. Корова, по-видимому, вернулась давно, хлев был согрет ее дыханием. В нем сейчас было теплей, чем в доме. Степка нащупал в углу скамеечку, сделанную им когда-то для матери, присел сбоку коровы.

Он привычно и быстро поймал соски. В земляной пол торопливо ударили, зациркали теплые струи... В лицо пахнуло молочным духом.

Однако после нескольких струй молоко исчезло. Корова беспокойно переступала, мычала, задела ногой скамеечку — Степка чуть не упал. Что-то непонятное происходило с ней. Степка принес фонарик — посмотрел: вроде все нормально, лишь печально глядели на него выпуклые коровьи

глаза. Без совета, без людей не обойтись. Неплохо бы ветеринара позвать, но он жил на центральной усадьбе, далеко.

Оставалась бабка Максимиха. Посвечивая фонариком, Степка потрусил к ее дому. Постучал.

— Кто там? — спросила не сразу.

— Это я, бабка.

— А кто ты?

«Признавать, старая, не хочет», — подумал Степка с обидой.

— Да я это! Степка Ефимихин.

— Нет у меня, Степочка, ни бутылочки, ни наперсточка.

— Да при чем тут бутылочки? Я по делу!

— По какому? — отворив дверь, спросила Максимиха. — Гляди, о притолоку не стукнись.

Дом ее был словно пустое в голом лесу гнездо. Крыша протекала, весь он осел и как будто согнулся от времени вместе с хозяйкой. Под окном шумела береза, лепила мокрой листвой в оконные стекла. На стене тускло вырисовывались рамки с фотографиями.

— Помоги, бабка, с коровой неладно... Хотел выдоить молоко на пол, да почему-то не удалось.

— Господь с тобой, Степочка. Грех-то какой — доить на пол!

— Ну, заладила. Не надо мне молока. Сроду не пил.

— В сенях-то у вас ведроко малированное стоит. В него и подои, а я маслица собью.

— Не надо мне его!

— Так уж и не надо? Иди подои в ведро. Корову загубишь.

— Лучше сама сходи. Я дров потом привезу.

— Ну да... ну да, — без обиды вздохнула бабка Максимиха. — Сам попробуй... — И спросила: — Что-то давно не видать тебя?

— Дел полно.

— Надумал, поди, что?

— Трактор ремонтирую.

— А я решила — мать вспомнил.

— Я мать и не забывал, — сказал Степка со сдержанностью в голосе.

— Забыл, Степочка, забыл, — вздохнула бабка Максимиха. — Сорок-то дней не прошло, а уж забыл.

Слова ее разозлили Степку. И он выпалил, что это его личное дело и пусть оно бабку не волнует.

— Как же не волноваться, Степочка? Как же не волноваться-то... Родную-ю мать помянуть надо...— Бабка говорила не переставая.

Степка же мигом сообразил, представил с отчетливой ясностью, что в глазах бабки он остался пока что «выливохой», «каголиком». И что бы он сейчас ни говорил, ни возражал, как бы ни спорил — бабка про каждый день его знает, каждый день взвешивает. И от этой, только что пришедшей догадки в нем закипела, забилась решимость. За живое задетый, он молча шагнул за порог.

Обижаться на Максимиху, конечно, не следовало: на горе да на беду старуха непременно пошла бы. Самый близкий человек после матери. Значит, понимала — ничего серьезного с коровой нет.

Отыскав в сенях подойник и перевернув его, чтоб дождь не накапал, Степка пошел в хлев. Снова устроился, примостился подле коровы. Потянул несколько раз за соски, и белая струя с тугим звоном ударила в днище. Корова стояла притихшая. И Степка враз догадался: всю жизнь мать доила ее только в подойник, и корова привыкла к звуку струи о дно. Парное теплое молоко пробудило в нем голод, как когда-то вынутый из печи материнский хлеб.

Пожалуй, два существа, он да корова, сильнее других скорбели сейчас о матери. Им не хватало ее.

\* \* \*

Угрюмые тучи утром ползли почти по крышам. В саду ветер сломал яблоневый сук, положил в палисаднике георгины с уцелевшими бело-красными на макушке цветами. На соседней опустевшей усадьбе сломало ветлу — старое толстое дерево. Давным-давно перебрались соседи куда-то. После их отъезда дом Степки оказался на улице крайним.

Улица была не из самых длинных: десятка два домов наберется. Но уезжали с нее, казалось, чаще, чем с других, отчего она становилась год от года короче. Место, где жили соседи, перешло под выгон. Ветла была последней приметой бывшего подворья. Но вот и ее не стало...

Степка редко топил печь. Завтракал, обедал и ужинал где доводилось. Сегодня затопил печь и сделал себе яичницу. И это было первым делом, которым он начинал день.

После завтрака взялся тесать во дворе высокие колышки. Воткнул их в землю, пообочь цветов, потом подни-

мал кусты и привязывал, как это делала прежде мать, прижимал куст к колышку. Выпрямлял. Так простоят георгины до заморозков. Мать частенько срезала их ножницами, добавляла мяты и ставила в стеклянной банке на крышку приемника.

Бабка Максимиха плелась по воду, из-под платка поглядела в сторону Степки: что-то делает? Из трубы избенки ее тянуло густым дымком, стелющимся по-над крышей — сырой ольхой топила. «Надо бы ей заранее нарубить дровишек, пусть бы сохли, а там и трактором привезти можно», — невольно пожалел Степка Максимиху.

Бабка поставила ведра, завернула к его дому. Пройшла в избу, ничего не сказав, не спросив о корове. Она процедила молоко, разлила его по крынкам, вымыла, подмела, словом, доделала то, что обычно не успевал Степка, спеша к трактору. Так же молча и вышла Максимиха. Пока же она была в доме, Степке казалось, что бабка все время о чем-то думает, и то, что она в доме делает — только помогает ее неторопким раздумьям. И когда она на него посмотрела, Степка весь напрягся. Бабка и мать были подругами, многое одна от другой переняли. И он насто-рожился.

— Я денег тебе, Степочка, принесла, — спокойно сказала она. — Вот. Мне, Степочка, не к спеху. Ты только похорони меня, как умру. Больше-то некому. Этим и вернешь долг.

Степка опешил. Его выручала старая одинокая Максимиха. Он знал, что она сберегала, откладывала по рублю на свои похороны от пенсии, только эти деньги и были у нее. Бабка Максимиха ему верила, как поверила сорок дней назад мать. Помянуть человека, чтобы не был забыт он сразу, — для бабки было вековечным смыслом и долгом, ради которого все на время уходило на второй план.

— Спасибо, — проговорил обескураженно Степка. Отказаться от услуги Максимихи, пренебречь ее святой добротой — означало обидеть старуху. — Я обязательно верну. Обязательно!

Степка отнес деньги и положил их под крышку приемника. Когда вернулся в палисадник, у калитки ждал его Лешка-сосед. Степка продолжал проворно обтесывать колышки.

— Цветы, что ли, продавать думаешь? — не выдержал Лешка.

— Купи.

— Сено купил бы.

— Я и цветы тебе не продам.

— Это почему? — насторожился Лешка.

— Пригодятся... — сказал Степка загадочно.

— Да я в шутку. Не сердчай! Пришел сказать тебе. Вчера Зойку видел в городе. Передавала, что утром сегодня будет. Насчет поминока поговорить хочет.

Лешка предлагал продать сено не зря: выведывал, собирается ли Степка уехать. Потерять в колхозе работника, и не какого-нибудь, а механизатора — дело не шуточное. Хотя и славился Лешка как любитель выпить, однако вел хозяйство исправно. После бражничания умудрялся купить то ружье, то лодку, то просто разные мелочи, годные при умелых руках в домашнем хозяйстве. Ни ячмень, ни рожь на своем огороде не сеял.

— Трактор-то скоро пригонишь? — спросил он.

— За дровами тебе?

— Калым есть.

— Обойдутся без трактора!

— Как сказать... Машина — она всегда нужна. Лучше меня знаешь. — Лешка посмотрел на дорогу. — А ветлой могло крышу твою задеть. Толстая больно — с дуплом. На нашей улице завсегда что-нибудь ветер ломает. Легось на моей березе макушку хрястнул, теперь вот — ветлу. На тех улицах все ветлы целы. Лип, дубов много. На себя ветер берут. Только так, иначе бы все перекрошило. Удачно упала ветла. На улицу. Трактором бы ее зацепить, отволочь: к твоей калитке не подойти теперь, не подъехать. Судьба наша тоже, как эта ветла. Живешь, а что внутри тебя — не знаешь, пока не схватит...

Лешка говорил и не мог понять, что сделало сегодня Степку не таким, как всегда. Слушал и как будто не замечал Лешку: следовало подаваться куда-то в другое место. Лешка заторопился к магазину. Болела голова — состояние хорошо Степке знакомое.

— Знаешь, приходи-ка в субботу ко мне, — сказал он. — И лучше всем семейством.

— Это зачем?

— Мать поминать будем.

— Ты всерьез? — с явной почтительностью проговорил Лешка.

— Ну а как еще!

Лешка преобразился:

— Имей в виду — много будет.

— Вряд ли.

— Почему это вряд ли?

— На кладбище шло не густо.

— Чудак, тогда не до похорон было. Уборка, то да се — хватали, пока погода. А сейчас придут. Мне-то лучше знать. Готовить на стол кого позовешь?

— Бабку Максимиху. Зойка придет.

— Если посуды не хватит, у нас взять можешь. Далеко не ходи, — как-то сразу перешел Лешка на деловой тон. — Достанем, найдем что надо.

К магазину, конечно, Лешка не направился: скрылся у себя в доме, чтобы поведать жене о предстоящих поминках. А уж через ту деревню мигом узнает.

Степка с ножовкой в руке взялся распиливать поваленную поперек улицы ветлу. Сломанное дерево высилось возом опрокинутого сухого сена. Степка пилил ее — последнюю память соседей. Расчищал дорогу.

Пилил, пока незаметно не подошла к нему прямо с поезда Зойка. Он не видел, как появилась она и стала подле ветлы, удивленная хлопотливостью брата, ожидая, когда он сам заметит ее. Степка оторвался, поздоровался.

— Ну, как тут у тебя, Степа?

— Все нормально.

— На два дня вырвалась. Не отпускали. Говорят, что там поминать — не воротишь. А я отвечаю им: верно, не воротишь; мы с братом да с соседями не столько поминать намерены, сколько сравнить себя с матерью, с ее жизнью. Может, отвечаю, для того и еду, чтобы свою жизнь понять лучше. Для человека не безразлично, что будут думать о нем после смерти. Выслушали. Отпустили.

Степка не вставлял своего слова, не поддакивал, воспринимал все с какой-то горестно-тихой сосредоточенностью. Сестра же торопилась выговориться, выложить, что назрело у нее в суетливой жизни и что не терпелось высказать, пока шла она ранней дорогой с поезда.

— Может, с утра в магазин ходим, — говорила она, — пригласим людей, пока на работу не разошлись. Денег, Степа, я с собой привезла немного. Как у тебя?

— Мать же оставляла, — спокойно ответил Степка. — В доме лежат.

И принялся допиливать ветлу, освобождая дорогу, что вела на большак, в даль, за деревню.

## Соловьи под дождем

— Ты знаешь,— говорил старший, укрывая от дождя голову куском полиэтиленовой пленки,— ты знаешь, когда я в этих местах учительствовал, мне рассказали об удивительном свойстве наших берез. До сих пор не пойму, чем и объяснить это. Деревенские пастухи не раз подтверждали его.

— А что это за свойство? — спросил, не утерпев, младший.

— Когда приходится попадать в такие вот ситуации, как мы с тобой, надо искать березу. Недавно прочитал одно стихотворение, вот послушай:

Увидишь: дым курится над сосной,  
Поникнул тополь, рухнул дуб могучий,  
Березку ж гром обходит стороной,  
И молния не бьет ее из тучи.

— Слышишь, «молния не бьет ее из тучи»?!

Дождь хлестал по лицу младшего грибника, удивленного тем, что узнал и услышал он от своего друга. Пораженный, стоял под дождем, забыв о лежащем в корзине берете, который взял в лес на всякий случай.

— Ну, что смотришь, что стоишь? — прокричал ему весело старший.— Давай искать ее, нашу красавицу — березку. Под ней-то надо и переждать нам грозу.

— А может, назад к косарям пойти? — неуверенно предложил младший.

— До них далековато. На нас нитки сухой не будет!

Они окидывали взглядом местность, вертели головами и всюду натывались глазами на одинаковый, густо сросшийся орешник. Ни в поле, ни над кустарниками не вышались вблизи березы. Сверху косыми струями хлестал дождь, небо озарялось грозowymi вспышками, то самое небо, которое еще недавно было для грибников ясным и чистым.

Они вышли из дома утром. То один, то второй повторял: «Какой день! Какой день!..» И долго никто не встречался им. Никто, казалось, и не живет здесь и никогда не жил. И тем неожиданнее было увидеть вблизи дороги, на лесной поляне, избенку, вовсе не похожую на лесничью сторожку. Из трубы тянулся ровно и тонко дым, жерди и бревна подпирали стены, старая крыша — будто шляпа с обвислыми полями.

Собачонка с белым подгрудком залаяла на голоса грибников, и тотчас же из-за ограды выглянула пожилая женщина с низко опущенным на лоб темным платком, в поношенной серой юбке и старом мужском пиджаке. Она задержала недолгий взгляд на чужих и снова принялась за прерванное во дворе дело.

О лесном этом домике грибники знали: в нем жила дочь умершей недавно восьмидесятилетней старухи Башкатихи, не пожелавшей в тридцатые годы переселяться в деревню.

Станным казалось двум приезжим из большого города людям это одиночество, эта заброшенность в лесном краю, где за год, кроме егеря, едва ли появлялся кто. Соток двадцать картошки да грядка лука у дома были единственным здесь богатством. В огороде торчала, как пугало, одетая на колья изношенная одежда.

— Она самогоном живет,— сказал младший.— Я от кого-то слышал: гонит и продает лесникам.

— Если и так, то ей только на хлеб хватает,— рассудил старший.— Лесников здесь — раз-два, и обчелся. Я другое слышал: она грибы солит и в городе продает. Этим вроде кормится, зарабатывает на одежду. Любопытно, как они с матерью в войну уцелели?.. Ведь здесь самое пекло было. Десять месяцев фронт держался.

И оба стали рассуждать, что и до сих пор есть еще на земле подобные глухие уголки, и сколько их — неизвестно: велика Русь...

Сосняк при дороге вскоре сменился сырым олешником: старым, с шершавой корой, обычно растущим вдоль речек. Между сосняком и олешником просматривалась просторно выкошенная деланка. На краю ее виднелось глиной обмазанное, осевшее до земли строение, наполовину скрытое густой лебедой и полынью.

— Прежняя хата Башкатихи,— пояснил седоватый грибник. Исподволь и незаметно он все больше тянулся рас-

сказывать, но умолк, видя у заброшенного жилья незнакомых людей.

Две большие березы да столик под ними наводили на мысль, что и здесь жили когда-то и человек любил посидеть под березами, глядя на летнюю дорогу у дома. Столик был с прогнившими досками вокруг ржавых гвоздей, выбеленный дождями, рядом две жердочки для сиденья.

У дома стояла с поднятыми оглоблями телега с сеном. Малый в солдатских штанах лежал на нем, прикрыв лицо соломенной шляпой и взгромоздив на дробины босые ноги.

Под старыми, уцелевшими с войны березами, за вкопанным столиком сидел лет пятидесяти мужчина в глубоком раздумье. На столе перед ним стояли пустые миски: отобедали косари.

Какая-то мысль осенила мужчину, задержала взгляд, остановила мускулы лица, до черноты загорелого. Она так овладела им, что он не обратил внимания даже на грибников, неловко потоптавшихся почти рядом и затем тихо побредших дальше.

В прохладе болотных зарослей дорогу перебегал ручей, с полугнилыми, разбухшими бревнами и камнями посередине. Судя по сваям, это была когда-то речка, что легко угадывалось и по омуткам, видневшимся кое-где сквозь кусты, а теперь заросла.

В самом ближнем бочажке из воды торчала корзина — «снасть» для карасиной ловли. Поодаль в лесу слышались мальчишечьи голоса, по-видимому, это и были рыбаки. Завидев усевшихся на камнях грибников, мальчишки притихли, явно не расположенные выдавать в глухом месте, в этой текучей, еле заметной лесной воде свою маленькую радость — редкую окрест рыбалку.

Грибники не засиделись, пошли дальше, чтобы не смущать ребятню. За ручьем на сухом взлобке они увидели неподвижно лежащего ужа, с двумя красными крапинками на голове. По легкому движению приподнятой головы можно было понять, что уж жив, но почему-то не переполз людям дорогу: то ли обрадовался им, то ли хитрил, та-ясь и выжидая.

Пообочь заросшей стеги все чаще стала попадаться земляника. От устоявшихся сухих дней ягода запеклась: земляничный дух — только и можно было сказать о ней. И грибники, оставив корзины, начали собирать ягоды. Они рвали их, обходя поляну за поляной. Было редкое пиршество для обоих. И оба хорошо понимали это.

Лес, земляника, откуда-то возникший в невидимой дали звук грома и, наконец, женские голоса, кого-то зовущие, совсем раззадорили их, и грибники откликнулись.

На стеге появилась бойкая молодуха.

— Наших тут не видели?

— Какие они из себя, ваши-то? — ответили ей вопросом.

— Да двое мужчин.

— Мужчин видели.

— Где?

— С телегой, у того глиняного дома. — И грибники показали в сторону кустарников.

— Не наши те. Мой муж егеря, а то — косари из лесничества. К мужу сам Сутокин приехал, знаете?

Сутокина они, конечно, не знали, но для семьи егеря Сутокин был, очевидно, фигурой немалой. Это же разделяла и сама женщина, бойкая и разговорчивая, губы и пальцы которой были в чернике.

— Как же не знать Сутокина? Председатель охотнадзора! — И уже, как своим, поведала тише: — Приехал на выходной, может, кабанчика, говорит, на шашлычок подстрелим. Забрались сюда, а мой-то возьми да угости, как водится. Так и про кабанов оба забыли. Пойду искать. Ленька-а-а! Степан Иваны-и-и-ич!..

Сворачивая за земляникой, грибники натыкались на взгорьях, заросших лесом, на груды камней, встречали одичалые яблони, островки лип, кленов, но всего больше — сирени и тополя.

Старший, удивляясь, спросил самого себя: откуда взяться тут тополю? И сам же себе ответил, вспомнив, что когда-то жили здесь люди, в километре-полтора друг от друга. И что еще в молодости перед войной хутора кое-где оставались. И камни от фундаментов домов в граве еще замечались, островки деревьев и побеги яблонь-дичков от прежних садов. Грибники угадывали места былых усадеб по выемкам от подвалов, по кустам шиповника, розам и небольшим аллеям.

И старший, вспомнив, сказал, что в часе ходьбы отсюда за лесом должно быть селение, одно из красивейших до войны мест, славившееся грибами, речкой, мельницей, на которую осенью хуторяне везли на помол урожай. Там же чесали они и шерсть, из-за чего с охотой держали много овец. И что уже когда хутора исчезли, он прожил в этом селении лето, работал в пионерском лагере, будучи

в ту пору учителем. И вздыхал, что война изменила здесь жизнь, навела свой «порядок».

— Давай туда сходим, речку посмотрим? — предложил он. — Ах, какая там речка!.. Давай сходим, а? — И они свернули на тропу, еще более заросшую и оттого узкую.

В небе неожиданно гроыхнуло, потом сильнее и ближе, но за деревьями, кустами, зарослями небо далеко не просматривалось, и, надеясь, что дождь пройдет стороной, оба грибника шли не спеша в сторону речки. Ветер гнул и мотал деревья, срывал листву, ломал ветви.

По расчетам, до речки уже было немного. Под мостом с мельницей они устроятся и переждут вихрь, дождь — любую непогоду. Старший помнил эти места...

Шумело, колосьями кланялось до земли ржаное поле. Тревожно-синяя туча стороной стремительно продвигалась из-за леса к реке. И пронесется ли она, прольется ли над их головами, или тучу расколошматит вихрь — не угадать сейчас. Ветер и туча сливались воедино.

Со сдерживаемой тревогой грибники продолжали путь, пока не выбрались к речке. И остановились, словно бы не речку увидели, а вышли на погост — к давно умершим... Оба умолкли, слушая, как ветер рвал листья и гнул кустарники.

Речка заросла ряской, пахла тиной. Среди зеленой кипени лета напоминала безнадежно больную. И как больную навестили ее те, кто знал речку веселой, радостной, светлой. Не понять было даже, в какую сторону текла она: маленьким-маленьким водоворотиком билась, наподобие вымученной улыбки, словно говорившей: извините, что таков вид.

А мельница, мост... Их не было. Хотя кое-что сохранилось — по одну и по другую сторону. Уцелели сваи, столбы, соединенные кладкой из двух осиновых бревен и шаткими перилами. Из воды под кустом проглядывали остатки ржавой колючей проволоки, которой, вероятно, перегородивали речку, когда здесь проходила линия фронта в войну. О мельнице же, о шумливом радостном водяном распаде возле нее, о близком плесе, гулком мостке — ничего не напоминало. Увиденное, казалось, привиделось средь белого дня, как случайное недоразумение, как развевная кем-то мечта.

К месту, где была мельница, вела сейчас выкошенная стега, взамен наезженной широкой дороги, о которой можно было судить по двум выступам от каждого берега с ос-

татками пожеванных временем, водой обглоданных старых бревен. И густые заросли ольхи и лозы сомкнулись и плотно сжали речушку, являя такое запустение, такую забытость, что уже ни косить, ни даже взглянуть здесь вширь было невозможно. Заросли сомкнулись прочно, чтобы их выкорчевать, понадобилось бы много лет. Судя же по заброшенности, приниматься за эту землю было сейчас решительно некому.

Маленькие деревеньки в полтора-два десятка домов, именуемые бригадами, в которых, кроме старух, было по одному-два работника, еле управлялись с колхозным скотом и полями. На много верст одна от другой были эти деревушки, столь далеко, что и в сухую-то летнюю пору, и то лишь в сенокос, появлялись здесь люди. Недолгий стрекот комбайна да гул трактора будили в конце лета и осенью эту мертвую тишину.

Все исчезло, отодвинулось, ушло разом с бывшей мельницей.

— Бог мой! Ручей-то и есть та самая речка, в которой я до войны купался!

И пожилой грибник, словно чего-то испугавшись, сутоло побрел от реки обратно на выкошенную тропу, не переставая сокрушаться и качать головой.

Второй, ничего не говоря, поплелся за ним.

Вернул их к прежнему состоянию мигом обдавший, окативший как следует ливень. Седая голова сокрушавшегося грибника побурела, расчесанная струями ливня. Молодой обогнал его и скорее ринулся в плотную гущу кустов, сел с ходу на корточки, втянув голову в плечи.

Ветер меж тем крутил и заносил струи то сбоку, то спереди, и когда рядом присел и пожилой грибник, они быстро достали со дна хозяйственной сумки прозрачный кусок полиэтилена и подняли над головами, держа за края.

Но вода все-таки попадала за воротник, и скоро оба успели промокнуть.

При каждой вспышке, после которой раздавался удар грома, грибники озирались по сторонам: нет ли рядом высокой заветной березы, и не находили, не видели ничего по-настоящему ствольного, высившегося над глухим кустарником.

Как только ливень ослаб и перешел в ровный, хотя и сыпучий дождик, они выбрались из-под куста и по едва за-

метной мокрой тропе подались искать лесную дорогу к своей деревне.

Шли, рассуждая, что если бы не свернули они смотреть речку с мельницей, от которой и в помине ничего не осталось, то, возможно, и добрались, попали бы прежде дождя домой. Наверняка поспели бы, утешал себя каждый, хотя внутренне и не очень-то верил в возможность дойти до деревни сухим.

Вокруг светлело, точно по небосводу натягивали огромную прозрачную крышу. Потом светлеть перестало, заметно утихомирилось, и только дождь с устоявшейся равномерностью струил и струил. Колдобины на дороге были полны водой, и грибки, до нитки промокнув, ступали по ней уже без разбора.

Они миновали участок лесного хозяйства, где от войны не уцелело никакого леса, те же редкие ясени, дубки, березы, а больше лоза и ольшаник, относилось к лесничеству скорее по давнему правилу. Охранять здесь пока было нечего.

Когда грибки вышли в поле, увидели покрытые муравой две дорожные развилки. Пошли вправо. В прежние годы этой тропки не было, ее, вероятно, проложили сквозь кустарники как прямой, более близкий путь трактористы.

Грибки несли пустые корзины и рассуждали, что прошедшие до этого небольшие дожди не могли напоить землю, а потому и за грибами они пошли рано.

Путаясь ногами в мокрой мураве, задевая плечами ветви кустарников, осыпаемые дождем и капелью с деревьев, промокшие и продрогшие, они понуро глядели то под ноги, то вперед на незнакомую им округу.

Время шло, а «прямая» дорога что-то и в самом деле не появлялась. Кругом были трава, мокрые одинаковые кусты и дождем наполненные две тележные колеи. Теперь, спустя время, оба не сомневались, что свернули они не туда, «не в ту степь».

И когда наконец вышли из зарослей, сразу поняли, что расстояние до деревни удлинилось: кустарниковая дорога пошла по наезженной глинистой насыпи, где ноги скользили и расплзались.

Они пошагали в сторону своей деревушки. Дорогу, настолько изъезженную и разбитую, мог потерять теперь разве что абсолютно незрячий.

Уже от деревни, разметавшейся на раздольном пригор-

ке, оглянулись назад и увидели как некое диво: солнечную полосу неба за лесом. Дождь почти прекратился.

— Это ничего — до нитки раз вымокнуть, — рассуждал младший. — Это даже полезно...

Пожилой соглашался, говоря, что после такого случая недолго и простудиться. И мокрые, они прошли по уличным лужам к знакомым избам.

Сияло закатное солнце. Ничего не нарушало устоявшегося после дождя сырого тихого вечера. Влажный воздух казался парным.

Грибники были односельчанами, но жили в столице. И когда в зимнюю пору младший позвонил своему другу и они встретились, оба первым делом заговорили о минувшем лете.

— А помнишь большие березы у дома Башкатихи? — сказал седой.

— Конечно!

— Что-то все-таки было в них... Ей-богу было что-то в том грибном дне и покинутых старых березах. Ну, такое, как бы тебе сказать... — морщил он лоб и щелкал пальцами, — что-то... — И, не находя точных слов, он мучился и на-прягался.

Молодой же сидел, слушал и, как бы очнувшись, вдруг встрепенулся и, вспомнив, сказал:

— А мне слышались тогда соловьи, поздние соловьи, под дождем, певшие в тех уцелевших старых березах. Я совсем забыл, честное слово, когда шли мимо, я отчетливо слышал соловьиное пение!

— А я что-то не помню.

— Ручаюсь, что в тот раз соловьи пели. Ручаюсь! И как еще пели!

И он начал подражать, щелкать языком, и присвистывать, и даже цокать, отчего оба рассмеялись.

Потом же, на время притихнув, вдруг задумались — каждый о своем.

## Шашка

Вероятно, Гришка догадывался о моей робости и что-то взвешивал после того, как мы добрались в летних сумерках до его дома.

— Может, заночуешь?— предложил он.

Идти обратно, признаться, я боялся. Безлюдная дорога петляла по болотистым местам, пропадала в кустарниках; в темноте на ней нередко встречались дикие кабаны и лоси.

— Да нн-е-ет...— отказался я.— Дома всполошатся.

— Ну, смотри.— И совсем неожиданно предложил:— Знаешь, я тебе шашку дам, чтоб возвращаться было не страшно.

— Настоящую?— быстро спросил я.

— Ну да. Мы с матерью все равно на целину скоро уедем. Не брать же ее с собой.

— Мне бы с шашкой-то, конечно...— выдавил я.— С ней веселее было бы...

Гришка рассказал, что случайно нашел ее после войны в канаве, за домом. Я удивился: как он мог так спокойно держаться все это время? Любой мальчишка перво-наперво дал бы шашкой полюбоваться, после чего рубил бы налево и направо, а не берег бы неизвестно зачем. Кавалерийская шашка — редкость в наши дни.

Гришка подтолкнул меня с дороги в глубь двора. Я не пошел за ним в дом, как-то не поверив его обещанию. Разное попадалось, думал я, в послевоенных лесах: автоматы, винтовки, пулеметы. Только кавалерийской шашки до сих пор не находил никто... Может, предложить ему взамен немецкий тесак или каску целехонькую? Но что-то нашептывало мне: он откажется. Я с замиранием ждал, когда Гришка выйдет из дома.

От желания увидеть настоящую шашку я буквально замер. Долетали обрывки разговора с матерью, укорявшей сына за позднее возвращение с рыбалки, потом что-то за-

гремело, попадало, лязгнул дверной засов — и во дворе появился Гришка.

— Вот, бери. За печкой лежала. А мать там всего понаставила, загородила лаз.

И Гришка протянул мне увесистую шашку. Я взял ее и удивился, что так просто все решилось. Ни у мальчишек, ни у взрослых — ни у кого не было шашки, о чем хорошо знал я. И вот, полный немого восторга и радости, держу я в руках ее, настоящую, во всех смыслах подлинную, хотя и без ножен, с медной нечищенной рукояткой без бахромы, суровую и тяжеловатую, слегка изогнутую, как и положено быть боевой шашке.

Я тут же заторопился, стал прощаться, заверяя друга, что подарок его обязательно уцелеет, и если придется ему самому поздно идти с очередной рыбалки, то и он может взять шашку для храбрости, чтобы не бояться волков, кабанов и других разных зверей, шастающих по зарослям и полям. Гришка согласился, и мы простились.

За деревней я оказался с шашкой наедине. Первым делом требовалось почистить: все-таки оружие. Удивительно, что друг мой не догадался об этом сам. Даже грязь из отверстия на рукоятке не выковырял, да и медной рукоятки давно не касалась суконка. Гришка вообще, похоже, к шашке не прикасался — странный парень: как принес, бросил, так, должно быть, до сих пор и лежала за печкой. Дело хозяйское, конечно, но ведь шашка, не что-нибудь...

Шашка как-то сразу потребовала от меня внимания и напряжения.

Попробовал я тереть ее плашмя о землю. Пролежав, провалявшись долго в пыльном запечье, она потеряла блеск. Придется днем чем-нибудь другим почистить. Устрою же я завтра рубку, как только вычищу и наточу!

Летний сумрак с коростелиным криком поторапливал, подгонял меня к дому. Ясно было, что не миновать взбучки за поздний приход. Но любое наказание стерпитя и забудется, когда знаешь, что один ты только имеешь шашку. Главное сейчас — понадежнее ее спрятать, чтобы не обнаружили, не отняли родители. Оружие сдают участковому милиционеру, а не хранят дома неизвестно зачем.

Надежнее и удобнее — воткнуть пока шашку в нижний край крыши хлева. Строение невысокое, крыша старая, осунувшаяся, побуревшая от дождей, морозов и снега. Местами она протекает, и отец кладет на кровлю листы ржа-

вой жести. Решил — сделал. Сунул шашку в застреху по самый срез рукоятки, чтобы не торчала, замаскировал тщательно раздвинутой, полуистлевшей соломой, даже труху впотьмах с земли подобрал, чтобы не осталось следов. Ловко додумался, самому даже приятно...

А в дом не спешу. Какая-то досадинка гложет меня, что-то непонятное тревожит, скорее всего от напряжения и чрезмерной радости. Утром, как только проснусь, испробую шашку, и досадинка пропадет, пройдет как легкое облачко.

Не лежать больше шашке за печкой.

\* \* \*

Утром я незаметно вытащил шашку из соломенной крыши и разглядел как следует. Вдаль нее с одной и другой стороны тянулась узенькая канавка с засохшей землей. Отыскав в крапиве битый кирпич, я поскоблил, потерял им. Сталь слегка посвежела, потом можно и бруском от косы пройти и напильником, а пока и такая сойдет.

До завтрака еще было время, как раз чтобы испытать оружие на молодом олешнике во рву. Не раздумывая, я тотчас же скрылся в подросте с весны кустарнике. В нем еще не просохла роса, пахло свежестью, и на траве под деревьями лежали ранние солнечные кружева. Я всегда любил этот уголок вблизи дома, отсиживаясь в нем после родительских нахлобучек. Никто не мешал здесь отойти душой, забыть разные горести.

Зимой же знакомый кустарник был, по обыкновению, уныл и темен. Наполовину засыпанные стылой снежной поземкой голые ветви свистели под ледяным ветром, по ночам гул их усиливался, напоминая чьи-то стенания.

Летом, наоборот, я радовался каждому кустику, тотчас угадывал, если кто-то был в олешнике: человек ли, скотина или нечаянно забежавший и притаившийся зверь.

Я всегда безошибочно определял пришельца.

Ровная, с зеленоватым стволом олешина показалась мне самой удобной для испытания: можно отвести руку, с большой силой ударить. Раз имеешь оружие, значит, как-то его надо использовать...

С шашкой в руке я не помышлял ни о жалости, ни о сочувствии к деревцам. Над головой прошумела листва и будто затихла перед моим ударом.

Со всего маха ударил я по зеленому ольховому ство-

лику. Руку молнией обожгла боль и отдалась в плече. В глазах потемнело, я юлой завертелся на месте.

На зеленом стволике забелела содранная кора. Сама же олешина стояла как ни в чем не бывало, стояла целая.

Я разглядывал дерево, придерживая больную руку, и не верил, чтобы боевой шашкой нельзя было срубить тонкий ольховый куст...

От дома слышались голоса — звали на завтрак.

Я спрятал шашку в крапиву, кое-как ополоснулся под умывальником и сел за стол, не в силах поднять руку с ложкой. Попытался есть левой — получил замечание. Мать строго взглянула, спросила, что со мной.

— Так, ушиб,— сказал первое, что взбрело, и, едва не плача, положил руку на стол. Движение потребовало немалых усилий.

— Будешь шататься дотемна, так и голову поте-ряешь,— заметила мать ворчливо.

Выпив наскоро молока, поднялся. Мать наказала далеко не отлучаться: я должен был наносить воды для полива грядки и посматривать, чтобы в огород не забирались куры.

— А еще,— добавила мать,— пойдешь и нарежешь венников.

— Подметать в доме?— спросил я.

— Для бани, непутевая голова! Сейчас вениковая пора. Березовый лист в самом соку.

— Принесу березовых. Принесу!— согласился я, обрадованный.

Меня явно загружали, чтобы не бил баклуши. Натаскать в бочку воды из колодца, чтоб к поливу согрелась, да шугануть из огорода кур, если придется,— дело пустячное. Поливали грядки обычно к вечеру, теперь же утро — самый момент и повозиться с шашкой. Днем уже будет некогда, подвернется другая какая работа. А нарезать венников можно и шашкой у озера.

Я взял сенокосный брусок и принялся точить редкостный свой боевой подарок. Удивительно легко мог работать бруском отец, доводя косу. Я же поминутно слюнявил его, и тем не менее острее шашка не делалась. На ней не появилось даже царапины. Не помог и наждак, который я разыскал в отцовских плотницких инструментах. Лезвие шашки только чуть блеснуло.

Оставалась одна надежда — на кузницу. Сейчас ее окружали телеги, сани, жатки, молотилки, веялки и разный

инструмент, свезенный для ремонта. Людей рядом не было. Что же теряю понапрасну время, мучаюсь зря со своим подарком, когда в кузне есть точильный круг, вмонтированный в колодное выдолбленное корыто? Как сразу не пришло в голову: нажми кнопку и точи что хочешь. Открывали кузницу не каждый день, сегодня она как раз была заперта, но дыра в окне, заделанная для вида прутьями, мигом привлекла меня.

Чтобы налить воды в корыто, пришлось дважды пролезать через дыру. И вот загудело точило, заструилась вода, сыпанули раструбом искры от прикосновения шашки, запахло железом и камнем. Раз, другой провел я по кругу лезвием, да так, что ручка разогрелась. Острее и не наточить.

Остудил шашку в воде и вон из кузни: не ровен час — бригадир нагрянет.

Рука понемногу успокаивалась. Пальцы плотно и крепко обхватывали рукоять, просились в работу.

О материнском поручении я больше не думал. Сразу за кузней срезал шашкой кончик веточки — острая, хоть брейся. От радости запел о кавалерии, пел про то, как «разгромили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход».

У океана поход давно закончился, а вот мой, собственный, как бы начинался только. Переполненный радостью, я, казалось, скакал на быстром коне с шашкой наголо. На меже наткнулся на колючий татарник и, словно косою, лихо снес куст у самой земли. Дальше тропа запетляла по прибрежному олешнику, здесь шашке негде было разгуляться. Рубить теперь примусь на взлобке, откуда любовались мы с Гришкой озерными далями. Кроме ольхи, там растет и лоза, где-то читал я, что на ней-то и учились кавалеристы рубке.

В песчаной обрывной осыпи взлобка иной раз попадались и перемешанные с землей кости и железо, которые, как говорили, от былых войн остались. Правда, мальчишкам ни костей, ни сабель на полуострове видеть не приходилось, да и сама обрывистая осыпь заросла со временем и скрепилась травой настолько, что напоминала скорее лесную поляну с малинником и земляникой. Ягоды здесь попадались крупные, хорошо вызревшие на открытом солнечном месте.

Сорока застрекотала, оповещая птиц о моем появлении. Взлетела с куста и скрылась в зеленых зарослях.

Еще раз я испробовал шашку на кончиках веток. Странно, но удара, которым я восторгался у кузни, больше не получилось. Ветка почему-то надламывалась, свисала и только после очередного удара с медленной неохотой падала вниз. Срубить же целиком хотя бы один куст мне так и не удалось. И это понемногу охлаждало мой пыл и ретивость. Одновременно и раззадоривало: помахивал я все же не чем-нибудь, а боевой шашкой.

Надо бы скорей на березе попробовать, заодно же и веники будут: одним махом — семерых побивахом. Шашкой нарублю мигом, никому не доводилось еще заготавливать ею веники. Пусть берет отец потом в баню хоть по два, хоть по три — все равно на целую зиму хватит. За такое усердие скажут спасибо не только домашние, а и мужики в бане: вот-де сын — даже в вениках знает толк... Веник резать — тоже надобно умение.

Поручение матери казалось сейчас крайне простым. Подумаешь, полить грядки! Один день и без полива простоят, а кур и без меня пугнут, если надо. Утешая себя таким образом, я убежденно решил не спешить домой. Рубка берез нужнее. Если мать и поворчит, отец заступится.

Успокоясь, я подался вдоль берега на пригорок. Пахло сырым прибрежным песком и березовой прогретой листвой. У воды под соснами рос черничник, петляла стежка в иссохших сосновых шишках. Ступать босиком было колко. На пригорке заметен невысокий курганчик. Воин ли, князь ли или простолюдин погребен в нем — никому не известно.

Березняк был здесь двух видов. Один — ветками вверх, другой — вниз. Из какого веники лучше — я не знал и поэтому решил попробовать и тот и другой. Я не торопился сечь первую попавшуюся березу. Искал помоложе, чтобы ствол обхватывался ладонью.

Терпковатый лиственный аромат берез напоминал луговое сено, рождал беспечное чувство приволья. Я дышал и любовался ими, напоминающими тихих девчонок. Эта красота сдерживала мое стремление начать рубку. Но и отрешиться от задуманного было теперь уже поздно: как-никак, а домой вернуться лучше бы с вениками.

Молодая береза шепотно шевелила листвой, робела словно бы перед умудренными своими соседками. Не теряя времени, я тронул шашкой ее невысокую ветку, и она опустилась на землю, почти воткнувшись. Длинной ветка

годились как раз на веник. Начало окрылило, и я заработал, замахал с прежним задором. И чем больше размахивал, тем бестолковее получалось. Я быстро умаялся, иссяк, ловкий поначалу удар оказался, вероятно, случайным: ветки выглядели одна другой хуже, искромсанные либо, наоборот, длинные, теребящиеся как попало.

Не помогли сколько-нибудь и удары с оттяжкой, от них шашка вообще застревала, и я выдергивал ее двумя руками, как дровосечный колун. Охота рубить пропадала с каждой минутой — сколько ни упорствовал, сколько ни бился. Разнылась, разболелась почти до плеча рука, а веток на земле набиралось едва на веник. Опостылел и сам пригорок.

Собрав редкие ветки, я понесся домой. Перед домом оружие предусмотрительно спрятал в густую картофельную ботву.

Во дворе меня встретила мать и строго спросила:

— Где ты столько времени пропадал?

— Веники резал, а нож тупой, — невинно соврал я, направляясь в дом. И мельком глянув на часы, понял — была уже середина дня.

Мать вошла следом.

— Веники, говоришь? А что вначале делать было наказано?

— Воду носить, — ответил я, чувствуя надвигающуюся неприятность.

— И наносил?

— Сейчас наносишь. — Измученный неудачной рубкой, я нервничал от материнских вопросов, казавшихся мне чересчур дотошными.

— Нет, погоди. А где веники?

— Разве не видела? Во дворе лежат.

Мать вышла и быстро вернулась.

— Воду ты можешь не носить теперь. Куры до рассадинки разгребли все. — И не долго думая, мать огрела меня ниже спины принесенной мною березовой гибкой веткой.

Я ойкнул и взвился, не столько от боли, сколько от обиды, и заплакал. Я считал себя почти взрослым парнем и ходить битому полагал унижительным надругательством. Мать с досадой бросила ветку и выбежала, пророча при этом, что из сына вырастет бездельник и даже разбойник. И куда смотрит отец, которому из-за постоянной работы вроде и дела нет, чем занимается его шалопад.

Слова матери били меня больней хворостины. К чему-то важному и значительному, к какой-то исключительной и редкой профессии готовился я, а стал вдруг «шалопаем», «бездельником», «разбойником». Как она могла так говорить? Вот уеду в город, выучусь, как другие, начну никому не подвластную свою жизнь.

В доме из-за меня назревал скандал. Все складывалось как нельзя хуже. Шашка приносила одни неприятности. Как Гришка подарил, так и начались они. Все кувырком. И конца не видно. Отец хотя и любил меня, но мог и выпороть, чего я испугался и предпочел удалиться в спасительный за рвом знакомый олешник, пока не успокоятся родители. Я сидел в том самом олешнике, который еще недавно нещадно пытался рубить.

Мать тут же ушла за рассадой и жаловалась на деревенным соседкам:

— Не пойму, что с ним. Как подменили....

Бабы гадали:

— Может, с глаза дурного?

Мать качала головой, говоря, что чем-то скрытным и непонятным занялся ее сын в последнее время, а чем — неизвестно.

— К делу бы надо какому,— советовали на деревне.

Разговор только больше убеждал меня покинуть скорее дом и искать настоящее дело, свой хлеб, свою дорогу. Сотворю что-либо такое, что не ругать, а гордиться будут мной в деревне и дома.

Шашку на время следовало забыть. Ходить дальше с нею оказывалось день ото дня рискованнее и опасней. Понадежнее бы спрятать, чтоб вернуть при случае Гришке. За печку, как он, нельзя: печь намеревались к зиме перекладывать, запасли даже кирпич.

Соломенная крыша по-прежнему виделась самым надежным местом. Кому в голову придет копаться в ней и вообще — трогать. Дыры, слава богу, отец залатал, и после дождей в хлеву сухо, не капает... Может, когда и научусь рубить шашкой, узнаю секреты кавалеристов, но сейчас они не по рукам оказались.

После порки, семейных объяснений да разговоров я, не колеблясь, решил покинуть деревню, авось да не пропаду, кем-нибудь стану, прославлюсь еще...

Втайне я надеялся на ремесленное училище, и родители не перечили, зная, сколько подростков нашли себя в нем.

Отпустили меня с охотой.

Гришка летом, к моему удивлению, не появился. Добираясь к поезду мимо скошенных лугов и убранных полей, я надеялся все-таки вернуть ему как-либо шашку — смазанную, ухоженную и отточенную. Такой спрятал я ее в стреху.

Минуло несколько месяцев. Я уже гордо носил форму ученика ремесленного, мечтал скорее показаться в ней дома. Перед Новым годом удалось наконец выбраться. Притихшая после лета и осени деревня как бы преобразилась. С огородов и дворов тянуло паленой кабаньей щетиной и горелой ржаной соломой: кололи к празднику кабанчиков.

Я сразу стал помогать отцу — подавать ему пучки зажженной соломы, которыми водил он по кабаньей щетине. Работа медленная, особенно последующее скобление туши. Глядя на кропотливый отцовский труд, я неожиданно вспомнил о припрятанной шашке.

Теперь я уже не боялся, что кто-то отнимет ее, это выглядело бы во всех отношениях несправедливо, да и сама шашка, по правде сказать, не так уж и волновала теперь. В городе она почему-то ни разу не вспомнилась, я, видимо, успел от нее отвыкнуть, увлеченный другими вещами. Но все же интересно подержать ее, наверняка поржавевшую за дождливую осень.

Глянув на хлев, я оторопел: под добротной шиферной серой крышей, обновленный, словно бы принаряженный, стоял наш хлев. Как же не заметил я сразу; другой бы обрадовался ей, а я сник, потерялся.

Где шашка? Куда исчезла она? Почему отец ничего не сказал, зная, что кроме меня прятать ее туда некому?

Я заметался в догадках и предположениях. Винить отца тоже нельзя: хранить оружие, каким бы безопасным и безобидным оно ни было, не полагается.

И тем не менее досада не покидала меня: ни в войну, ни у Гришки за печкой не пропала шашка, везде уцелела, а в нашем подворье исчезла. Раз отец промолчал, значит, что-то да приключилось с ней...

Впрочем, отец мог и перепрятать, зря, возможно, я волнуюсь. Надо бы прежде поискать хорошенько, посмотреть для начала в снях, во дворе — вдруг да отыщется.

Дойдя до кладовой, я перевернул длинный плотницкий ящик. Выпали ножовка, топор, посыпались гвозди — и ничего на шашку похожего нет.

Один из инструментов показался мне новым, прежде у отца не водившимся. Внимание привлекла небольшая с насаженными деревянными ручками для шкурения жердин и бревен скобелка. Смотрелась она до блеска свежей, словно начищенной, лезвие острое. Посередине же темноватой полоской тянулось углубление. Подобных скобелок или стружков, как их еще называли, я не встречал прежде.

Новый отцовский стружок так и просился сам в руки. Возле дома, помнилось, лежали наполовину ошкуренные бревна, и я, оставив на время поиски, решил попробовать отцовский инструмент в работе. Когда начал учиться в ремесленном, любой инструмент, попадавшийся на глаза, хотелось сразу пустить в дело.

Стружком, признаться, я никогда не работал.

Сперва неуверенно, затем все сильнее я прошелся им по бревну. Чуть тормознув на сучках, он мягко и ходко снес полоску коры. Пахнуло смолистым древесным духом, пробуждавшим во мне тягу к плотницкому отцовскому делу, веками постигавшемуся моими предками. Бревно шкурилось почти играючи, как если бы я проработал стружком многие годы. Я двигал им с редкой прытью, и бревно вскоре забелело на примороженной голой земле. Ошкуривать больше было нечего, и я, держа стружок за спиной, вернулся к отцу.

— Ты шашку в стрехе не находил?— спросил я, предчувствуя, что судьба Гришкиного подарка давно решилась.

— Шашку?

— Да.

— Головую?

— Нет же, кавалерийскую! Ну, саблю, что ли...

Отец распрямылся, положив поверх туши нож, неторопливо вытер соломой руки и тронул затем кончики рыжих усов.

— Саблю твою, сын, переделали мы.

— Как?

— Ну, мужики тут сообща порешили, когда хлев крыли. Хороший стружок получился, почти не лежит дома. Хвалят его, не нахвалятся.

— Этот?

— Он и есть.

Отец окончательно подтверждал мою догадку. Спрашивал я скорее на всякий случай. Ни для меня, ни для Гришки, ни для других шашка теперь не существовала. Никог-

да отныне не быть ей оружием. Невозвратно разрушилось и погибло прежнее мое счастье, о котором, если откровенно признаться, я сейчас и не сожалел: стружком мог пользоваться каждый без особых секретов и лишней сноровки, а шашку, как военное оружие, приходилось прятать, скрывать.

Мне не хотелось дольше горевать, досадовать, таить обиду.

— Попробуем скрести стружком,— предложил я.

— Смекалистый ты стал в ремесленном,— заметил отец не без удовлетворения.

Я немного смутился.

— Кто же к стружку еще и ручки придумал?— спросил у отца.

— В кузнице делали ее. Вначале калили, после гнули, расплющивали, так вот получилась скобелка,— отец, наклонясь, не переставал работать. Я лил из ведра на кабанью шкуру горячую воду.

— И долго возились?

— Больше советовались да рассуждали, чтобы не испортить. Редкая больно вещь. Поначалу бабы пользовались твоей саблей. Рубили на деревне по очереди капусту. Потом мужики отобрали у них — на стружок...

Тем временем туша после скобления глянцеvито заблестела. Ловкий же инструмент сделали мужики, ничего не скажешь! Я тоже виделся себе молодцом, найдя скобелке еще одно применение, за которое похвалят теперь ученика ремесленного.

Жалел я, что не слышал разговора, той редкой беседы, которую вели в кузне мужики, пока ковали: было им что вспомнить, рассказать друг другу. И не стоило огорчаться, что не научился рубить шашкой: сколько бы извел кустарника, покалечил деревьев. И чего ради! А перед Гришкой как-нибудь оправдаюсь...

Через несколько дней я отправился в соседнюю деревню. Захотелось мне еще раз пройти по той дороге, которой возвращался я летом с шашкой.

Еще издали, с макушки пригорка, узрел я, что на месте многих домов темнели только фундаменты, что дом Гришки снесен: уехали люди на целинные земли, а с ними и Гришка с матерью, как и обещал.

В одиночестве постоял я среди обезлюдивших зимних полей, простился с деревней друга и заторопился в город, увозя память о кавалерийской шашке.

День ликовал и словно бы купался в солнце. Сентябрь с неубывной силой пылал в березовом лесу, светился блесками паутины, резвился листвой осинника. Казалось, никогда не кончится этот праздник природы.

И только сжатые по косограм поля напоминали об осени, выделялись светло-желтой стерней и скирдами соломы — бывшим вольным пристанищем мальчишек. В них мы обычно делали лазы, взбирались наверх и смотрели на зыбкое колыхание дня, оставались там до вечера, а иногда и до ночи. Кроме скирд, были еще и осенние стога, но трогать их ребятам настрого заказано. Покувыркаться в сене хорошо, пока оно в валках, стог же порушить считалось делом недопустимым.

Солнечную щедроту и веселость за окнами — да еще на последних уроках, — переносить было не вмоготу. И я от скуки полез в свою армейского образца сумку. Сумка эта и теперь нет-нет да и приснится мне, с ремнем, пришитым несметное количество раз. В ней было два отделения — для тетрадей и книг. Карандаши и ручка втыкались в кожаные пистоны, ладно притороченные на передней стороне сумки, чуть выше железной защелки.

Сумка закрывалась откидным кожаным верхом с металлическим наконечником. И было приятно поигрывать наконечником ремешка.

Я ненароком сунул руку в сумку, и пальцы мигом нащупали газетный сверточек, положенный матерью. На душе разом потеплело, и жизнь смутно посулила мне какую-то близкую перемену, неожиданно радостную новизну...

В бумажном сверточке лежали драники — лепешки из тертой моркови. Даже не откусив кусочка, я уже чувствовал сладкую душистость их тепла, сохраненную бумагой.

Но нельзя же есть одному: пусть и другие попробуют

лепешку и оценят умение моей матери. И я протянул дра-  
ник соседу по парте Сеньке Малышеву.

Честно признаться, я жалел своего соседа: нескладно-  
го, всегда одетого наспех, кое-как. Так он ходил в школу,  
таким был на улице и дома.

— Бери, пробуй,— шепнул ему.

Сенька нехотя протянул руку и, к моему удивлению,  
с ленью сытого кота понюхал драмик. Затем расплывчато  
улыбнулся и, не сказав ни слова, наколол лепешку на  
острие ручки. По драмику расплзлось фиолетовое чер-  
нильное пятно. Во мне все закипело.

Я, однако, сдержался, снял лепешку с Сенькиной руч-  
ки, завернул и положил снова в сумку. Вот тебе и Сенька,  
с виду несчастный да голодный! И вспомнилось мне, как  
допоздна не ложилась мать, натирая морковь и стряпая  
драники.

День за окнами потускнел, солнечная щедрота померк-  
ла. Я даже не услышал звонка на перемену.

Только мы вышли на улицу, как на дощатом крыльце  
появилась тетка Марьяна с колокольчиком.

— Идите в зал, директор зовет!

Залом, как назвала его тетка Марьяна, считался длин-  
ный бревенчатый коридор, вернее, сени. Они заменяли и  
спортзал, и место собраний.

Директор и учителя стояли в глубине коридора. Тетка  
Марьяна для порядка звякнула колокольцем. Гомон улегся,  
и в тишине заговорил директор:

— Вас собрали затем, чтобы известить об отмене уро-  
ков.

Птицей вскинулся радостный возглас.

— Спокойно, — поднял руку директор. — Спокойно.  
Вместо уроков мы идем собирать сегодня колосья. Сумки  
возьмите с собой...

— А книги?

— Книги на время выложите где-нибудь на меже.  
В сумки будете собирать колосья, относить приемщику и  
взвешивать.

— Зачем взвешивать?

— Затем, чтобы знать, сколько собрано.

— Всеми или порознь?

— И всеми и порознь.

— А для чего?

Ребятня посыпала вопросами, и директор стал пояс-  
нять:

— Мы с вами теперь те же солдаты, которые отвоевывают не только колосок, но и каждое зернышко, лежащее в поле.

Сравнение пришлось нам по душе: какой мальчишка не видит себя солдатом!

— Кто больше соберет, того ждет премия,— подогрел наш интерес директор.

— А какая? — любопытствовал кто-то.

— Книга! — директор торжественно показал ее.

Передние прочли нараспев заглавие: «Де-ти ка-пи-та-на Гран-та». В школьной библиотеке был один экземпляр с выдранными страницами, потрепанный и до дыр зачитанный. Новенький, казалось, просился сам в руки. Мальчишки мигом приободрились. Кто-то окажется сегодня счастливым? Кому-то повезет, выпадет радость листать эту интересную новенькую книгу?

У меня такая была. Летом я нечаянно оказался в районном центре, зашел в магазин и не удержался — купил. Сначала мать расстроилась: в семье лишней копейки не было. Но вскоре, когда всех нас снимал приезжий фотограф, она пожелала, чтобы я взял в руки именно эту книгу. С тех времен и храню фотографию: белобрысый мальуган настороженно глядит в глазок фотоаппарата, держа на коленях книжку.

— Колосья будем собирать так тщательно, — продолжал директор, — как если бы вы собирали их дома, на своем огороде. Лучшая школа премируется районным призом. Лучший класс — грамотой. А лучший ученик, как я уже сказал, — книгой...

Спустя некоторое время мы торопливо пошли к сжатым полям. Собирать колоски казалось нам делом что ни на есть пустячным. Взять колосок и положить в сумку — проще простого...

Боясь дождей, поля скосили да сжали рано. Погода же, наоборот, расщедрилась и разыгралась так, что грешно выглядело бы не прочесать стерню разок-другой, пока не обрушились ливни и холода. Взрослым заниматься колосьями не было времени: пришла пора убирать картофель, пахать под зябь — мало ли забот в такой погожий редкий сентябрь.

Вел классы директор: лысоватый, низенький, в сапогах, темных брюках и черном морском бушлате, который он донашивал после службы.

Поля издали выглядели пустыми. На самом же деле в них вершилась жизнь: мелькали перед отлетом стаи скворцов, разгуливало воронье, кричали в отдалении галки и пугливо из-под ног убегали полевки — все замечалось проворным ребячьим глазом.

Просто чудо оказаться внезапно вот так на воле... В солнечной сухони возле стерни устойчиво пахло теплом соломы, нагретой сбруей и рабочим потом вдоволь намаянных за лето лошадей. На них здесь возили солому. Зелень отавы скоро сменилась позолотой сжатых полей.

Вблизи от нас по жнивью ходила с кошелкой в руке старуха. Нагибаясь, раздвигала палкой стерню, отыскивая колоски. Обильно стрекочущие по краю поля кузнечики при нашем появлении запрыгали так высоко, что доставали нам почти до пояса. Кое-кто подставлял ладошки и пытался поймать их. Торопливо выпархивали из жнивья зазевавшиеся пичужки и, испуганно тенькнув, летели к кустам.

На меже поля после уборочной остались весы, на которые клали мешки с намолотом. На весах сидел, ожидая нас, дядька, оказавшийся бригадиром. Кроме больших весов, были и маленькие: с железными блюдцами и набором гирек, специально доставленные для взвешивания колосков. Директор и дядька пожали друг другу руки. Тем временем мы выкладывали из сумок тетради и книжки.

— А это кто? — кивнул на старуху директор.

— Не знаю, небось на самогон собирает бабуля, — съязвил бригадир.

Тем временем старуха медленно приблизилась к нам и устало вытерла вспотевший лоб. Она спокойно разглядывала из-под платка гурьбу ребятни и незнакомого ей начальника.

— Бабуся, детвора тут и без тебя управится, — сказал ей директор. — Ступай-ка лучше домой.

— Нешто я собираю на самогон?! — с укором отозвалась старуха, глядя на бригадира. — Трое внуков. Да без отца. Вдоволь-то лепешек не ели еще, как цемца изгнали...

Старуха пытливо разглядывала директора, ожидая, что скажет он. А директор смутился и, чтобы как-то скрыть это, распорядился строиться в шеренгу и «приступить к сбору». Ему хотелось скорее приняться за дело, в котором, знал он, легче отходят неприятности и разные промахи.

Старуха, опираясь на палку, одиноко и сгорбленно подалась через поле к деревне. Шла она, медленно ступая и не оглядываясь. На время забылась волновавшая нас награда: собрать бы и отдать старухе все колоски, которые остались на поле.

Искать их на жнивье было каждому не в новинку. Но собирать сообща, одной длинной шеренгой, нам доводилось впервые. Лучше школьников никто не смог бы это сделать. Глаз у малышни зорек и вездесущ, редкий колосок останется незамеченным.

За нами, чуть поотстав, шла классная руководительница, привычно дававшая немудреные указания: не забегать вперед, не отставать, не баловать, не молоть почем зря языками.

Шурша по жнивью худой обувью, мы цепко обшаривали глазами поле. Порой колос замечали сразу несколько человек. Успевали быстрые и проворные и радостно прятали его в сумку.

— А норма какая? — спрашивал Сенька, шедший рядом с классной руководительницей.

— А я разве не говорила?

— Нет.

— Не может быть!

— Не говорили, не говорили! — подтвердила и наша троица: Славка, Женька и я.

— Ну, значит, забыла. Спасибо, Семен, напомнил. Три сумки норма!

— А дальних отпустят раньше? — поинтересовался Славка.

— Как директор решит...

— А если норму выполним?

— Тогда отпустят.

Ребята из дальних деревень тешили себя надеждой уйти с поля пораньше. Добираться домой по осенней темноте не очень-то весело. Самой дальней и была как раз наша троица. Возвращаясь сумерками, мы обычно жались друг к дружке и с тревогой оглядывались поминутно на кустарники и дорогу, на которой иногда за полтора часа ни души не встречалось.

Набрать три сумки колосьев — легко на словах. Сумки у каждого почти одинаковые, военно-полевые. Иной колосок был переломан и так в стерню втопан, что приходилось его почти выковыривать. Попадались лежащие и поверх стерни: брать их — сущее удовольствие. Крупные, да

еще с длинным стеблем, они лежат прямо перед тобой — нагнись и бери. И грешно было бы такому красавцу колосу пропасть от осенних дождей.

Но таких «легких» колосков было мало. Вскоре мы убедились, что наполнить три сумки, идя в шеренге, вряд ли быстро удастся.

Но не зря же слыла тройка дальних самой разбитной и проворной! В головушках наших забродило шальное: пусть огульно ищет колоски Сенька, его дом близко, рядом, в поселке. А нам некогда. Нам бы и книжку получить, и дотемна домой прийти...

Недалеко сосредоточенно и поглощенно Сенька обшаривал стерню. И тресни сейчас хоть небо, он и глазом не моргнет, бровью не поведет, чтобы прервать такое важное дело.

Мы полушепотом договорились незаметно ссыпать набранные колосья сначала в одну чью-нибудь сумку. Набрал таким образом пять сумок, на кого-то — Славку, Женьку или меня, — мы, без сомнения, должны получить после этого книжку. Она станет подарком для всей малышни нашей деревни, начнут они по очереди читать ее, а нас будут считать героями и победителями.

В марте мы уже заработали одну книжку. Нам дали ее за рекордно собранную в конце зимы золу. Скота в колхозе осталось мало, навоза для удобрения не хватало. Решили вывозить на поля печную золу.

Чем не работа для ребятни — выгрести из загнеток золу, когда печь истоплена. Золу ссыпали в загодя расставленные деревянные ящики и затем на санях увозили в заснеженные поля.

Когда засеяли и, заборонив, оставили поля ждать теплых дождей, председатель уехал с отчетом в город. Там он раздобыл через «десятые руки для пацанья лично» новехонькую книжку «Робинзон Крузо». Читали ее по очереди, а потом в кустах за деревней строили шалаши и воображали себя робинзонами.

За что только мы не брались после этого! Пасли коров, стерегли коней, окучивали картошку, ворошили, гребли и возили сено, складывали снопы — везде помогали, как могли и умели.

Теперь же мы стали «дальники», ходили в поселковую школу.

Зимой, когда утром еще было темно, мы жгли налитый в банки мазут. Банки прицеплялись к длинным проволо-

кам. Крутя огненными пугалами, освещали себе дорогу... Готовили банки еще с вечера. На дно клали и заливали мазутом или соляркой ветошь. Пугало должно было светить, пока его не погасят. Банки прятали на подходе к школе в кустарниках. И бережно уносили назад как первостепенную надобность.

Кому же как не нам, дальним, и было сейчас отвоевывать книжку?! В глухой и бездорожной нашей деревне она была нужнее, чем здесь, где и магазин, и клуб, и библиотека!

Сдавать колоски бегал я. По две плановых сумки для виду, а то и по одной, надлежало отнести в конце работы Женьке и Славке.

Высыпая колоски в стоявший на весах ящик, я едва не вытряхнул и забытый на дне сумки, исколотый Сенькиной ручкой драник. Перекладывая в карман, я почувствовал голод и решил было потихоньку съесть его. Но увидев свободно и часто склоняющихся над жнивьем Женьку и Славку, передумал: люди гнут спину ради моего рекорда, а я тут есть буду. Голодать — так вместе!

Я подошел к Женьке и Славке.

— Ты что задерживаешь? — укоряюще зашептали они. — Давай сумку!

Оказалось, пока я ходил, ребята немало насобирали. Как только Сенька склонился к стерне, они мигом пересыпали мне колосья. И я, для приличия потоптавшись, потянув время, понес сдавать сумку снова. Так я ходил и раз, и два, и три, усердно увеличивая свой рекорд.

Сенька вроде бы ничего и не видел, близоруко сгорбившись, глядел только под ноги. Сумка его свисала до самой земли. Время от времени он опускал в нее руки и, как мне казалось, подносил их затем к лицу. Я заинтересовался и начал исподволь наблюдать за ним.

Скоро без труда разгадал Сенькину тайну. Держа руки в сумке, он неприметно тер, вылущивал колосья, выдувал мякину и торопливо поедал зерна. При этом сопел, надувал щеки. Значит, сдавал-то он одну шелуху!

Утренняя обида на Сеньку еще держалась во мне. Надо бы проучить его — не весь же день валять ему дурака.

— Ты что это делаешь? — возмутился я над самым его ухом. Он в испуге отпрянул.

— Тебе-то что?..

— Ты же мошенничаешь!..

— Есть хочу,— сознался он убито и тихо.

— Все хотят. Не ты один.

— Дал бы мне лучше драник,— сказал, глядя в сторону.

— У меня больше нет...

— А тот, который на уроке дарил. Он ведь мой.

— Почему это твой?

— Ты мне его отдал. Значит, мой.

— Я его выбросил.

— Вы-ы-ыбросил?!  
— Да.

Сенька недоверчиво покосился.

— Когда книжки складывали,— пояснил я.— Взял и выбросил. В траву.

— Может цел?..

— Воронье давно подобрало.

— Врешь ты. Просто жалко.

— Пусть вру. Я предлагал тебе на уроке? Предлагал.

А ты?

— У меня живот болел...— признался неожиданно Сенька.— Я боюсь есть морковь. От нее часто болит.

— А от колосьев нет?

— Не знаю,— пожал Сенька плечами.— Дай драник!

— Что он к тебе привязался?!— вмешались в разговор Славка с Женькой.— Дел у тебя нет? Эй, ты, мухомор, отцепись!— пригрозили они Сеньке.

— Сам прилип,— буркнул тот.

Сказать или не сказать им о зернах и дранике? Пожалуй, не буду, чтобы не отрывать от работы. Сеньку, по совести говоря, было все же немного жаль. Не умеет скрыть голод, не роптать. Не умеет пересилить себя.

В конце концов книжка ему все равно не достанется. И чернильный драник он тоже не получит. И незачем тратить мне попусту время.

Прочесав стерню, мы повернули назад. Колосья теперь попадались реже, да и те мятые, втоптаные и поломанные настолько, что и брать не хочется. Это были половинчатые колоски, от которых сумки наши наполнялись медленно.

На меже с краю поля шеренгу остановил директор, подозвал классных руководителей, что-то сказал им и, показав рукой в сторону, отпустил.

— Ребята!— Классная хлопнула в ладоши.— Подойдите ближе!

— Результаты скажет,— предположили мы.

— Ребятки, сейчас мы пойдем по соседнему полю, соберем с него колосья и вернемся за книжками.

Мы попурились.

— Соседнее поле поменьше, — утешала она. — На нем не задержимся. Определим победителя и распустим вас по домам.

— А как с нами, с дальними? — спросил я, показывая на садящееся за лес солнце. — Темнеет...

— Виктор Григорьевич! — обратилась учительница к спешившему во главу цепочки директору. — У меня в группе трое зареченских. Отпустить их пораньше?

— Людмила Ивановна, как вы можете... Ответственнойшее мероприятие... — укорил директор.

— Все ясно, — поспешно откликнулась классная. — Терпите, теперь недолго.

Мы поплелись на соседнее поле. Я совсем устал, начал цеплять и шаркать ботинками о стерню. Мысль о позднем возвращении домой только усиливала усталость. Хорошо бы месяц светил: при нем и добираться к себе веселее.

Но, главное, голод. Он больше всего не давал покоя. Тело от него стало легким, в глазах возникли бегущие по стерне мелкие тени...

Соседнее поле было в холмистых перепадах. Сжать или чисто скосить его — довольно трудно, поэтому и лежалых колосьев на нем оказалось полным-полно.

Взойдя на бугор, Славка сказал:

— Смотрите-ка, Сенька наш, как командир, рядом с директором!..

— Домой, поди, отпрашивается.

По-утиному переваливаясь, он шел с директором. Склонив голову, директор внимательно слушал его... Потом Сенька присоединился к нам.

— Не отпустили тебя, — посмеялись мы.

— А я и не просился.

Мы едва тащили ноги, держась ради книжки из последних сил. Только бы досталась она, с ней и назад легче будет идти.

Солнце коснулось верхушек леса, и часть поля белесо затуманилась, а вскоре и совсем затемнилась. Лишь после этого директор распорядился возвращаться к оставленным на меже книгам.

Трава на меже занялась росой. От предвечерней осенней влаги поотсырели и книжки. Мы торопливо запихи-

вали их в сумки. Директор о чем-то совещался в сторонке с учителями. Никаких листков с записями они не держали. Опустившись на колени, одна учительница делала на заветной книжке надпись.

Втроем мы отнесли десять сумок, шесть из которых были записаны на меня. Неужто кто собрал больше?

Кружок совещающихся наконец зашевелился.

— Минутку внимания, друзья мои! — Ребяшня сгрудилась вокруг директора. — Я обещал вручить в конце работы вот эту книжку тому из вас, кто соберет больше колосьев. Но прежде я хотел бы поведать вам одну тайну...

Детвора всколыхнулась и оживилась. Глаза директора побежали по ней и остановились на мне.

Но заговорил он о Сеньке.

— Ученик нашей школы Семен Никулин поступил сегодня как настоящий товарищ. Он собрал не так уж много, три с половиной сумки, но велика и важна в таком деле честность...

— Куда это он клонит? — удивился Славка.

— Больше всех собрал, как записано в этой тетради, — директор взял у бригадира тетрадь и поднял над головой, — Юрий Дудов, — он кивнул на меня. — Но мы не станем присуждать ему книжку. Вас, конечно, удивит, почему? Да потому, что колосья собраны не одним Дудовым, а вместе с друзьями — Женей Игошевым и Славой Бакушиным...

Осыпаящим листву ветром пронеслись по детворе ропот и оживление. Галдеж и гомон. Любопытство и недоумение. Мы втроем не проронили ни слова.

— Об этом позоре для шестого «А» и для всей школы рассказал мне Семен Никулин...

— Врет он, ваш Семен Никулин! — раздался голос.

— А давайте все вместе спросим у самого Дудова. Так это, Дудов, или нет?

Сердце мое бешено колотилось.

— Та-а-а-к... — выдавил я.

— После мы обсудим этот поступок. А сейчас разрешите, друзья, вручить Семену Никулину книжку. Вручить за честность. Пусть каждый из вас всегда будет таким же!..

Несколько жидких девчоночьих хлопков подкрепили слова директора, впрочем, тут же и оборвались из-за общей тишины.

Уплыла безвозвратно заветная книжка. Мелькнула сорвавшейся с крючка крупной рыбой. Второй раз не поймать!

Мы уходили с поля. Сумки с учебниками и тетрадками оттягивали плечи. Ноги были как чужие. На бугре, перед поселком, мы перевели дыхание и оглянулись на желтые дали предвечерних полей.

Из лощины устало возвращалась к полю старуха. Шла на освободившееся жнивье, сделав работу по дому. Были бы силы, мы, наверное, вернулись бы и помогли ей искать колоски, но сил оставалось только-только добрести до дома.

— Зря ты связался с Сенькой,— укоряли меня приятели.— На кой ляд он тебе понадобился?

Я промолчал. Не хотелось ни спорить, ни оправдываться. Говорить о дранике или о том, что Сенька вылущивал колоски, я все равно сейчас не мог: я просто жалел его...

— Пожевать бы сейчас,— горько вздохнул Славка.

И я спохватился, вспомнил о лежащем в кармане дранике.

— Ребята, а у меня кое-что есть!

Женька и Славка, увидев драник, мигом ожили, повеселели, и сам я заметно взбодрился от их веселости.

— Где взял?

— Мать испекла! — произнес я с гордостью и разломил драник на три равных доли. И никто не заметил, что по краям излома был он в чернильных пятнах. Каждому перепало по крохе. Мы зашагали быстрее, увереннее. Скоро уже дойдем. Дома накормят нас щами, которые к вечеру будут с кислинкой. Мы разомлеем, отяжелеют, сомкнутся веки. Забудется предстоящая в школе взбучка — придет сон. И приснятся нам желтые дали, хрупкие колоски да желанная книжка — «Дети капитана Гранта».

\* \* \*

А мне, возможно, приснится и Сенька, мнущий в ладонях сухие крупные колоски в спешке сжатого хлебного поля.

Тревожно становилось в деревне, когда пересыхали окрест болота. В такие дни недолго было появиться машинам с немцами. И казались эти дни годом.

Мать Егорки и сестренка рано ушли сегодня за железную дорогу к родственникам. Мать повела за привязь бычка, сестренка легонько погоняла его хворостинной. Егор и трехлетний брат Федька остались дома.

Вскоре заглянула к ним соседская девчонка Адка, стала уговаривать пойти с ней по землянику: ну совсем рядом с деревней, за дорогой сразу. Егор согласился. Не мог отказать москвичке Адке, жившей в деревне без родителей. Про землянику сказала ей бабушка.

С этих ягод все и началось.

Они собирали их по нагорным купинам, вблизи песчаной дороги, что пролегла возле деревни. Собирали недолго. Незнакомый говор да сигаретный дым насторожили вскоре Егорку. С дороги потянуло вдруг непривычным куревом. Местное отдавало обычно лыком, дегтем, ржаной соломой — всем тем, что держали работающие стариковские руки.

Затаились Егорка с Адкой. И рта не раскрыли, пока скрипела за кустами телега. И только когда все стихло, дети крадучись выбрались на дорогу. И сразу увидели на песке пустую коробку с белым орлом и со свастикой. Они поняли: проехали немцы...

Собирать ягоды поблизости расхотелось. Егорка знал одно место — горушки вокруг старых заброшенных хуторских клунь — сараев. Обычно он ходил туда с мальчишками и впервые шел с девчонкой. Очень уж хотелось Адке попробовать ягод! Земляники на полянах вокруг сараев — горстями рви. И не заметили, как стали кружки полнехоньки. И домой вроде бы пора. Адка заладила: «Пойдем клуни ваши посмотрим!» Ей, видите ли, слово это нравится: клу-у-ня. В Москве она никогда не слышала его. «Клу-

клу-у-у...» — трубила, вытягивая губы, Адка, как в сруб колодезный либо в кружку пустую. В деревне и земляника зовется иначе, по-своему: су-ни-цы. Адка соглашалась — красиво, правда, тут же добавляла, что слово «земляника» ничуть не хуже. Егор не спорил, хотя и ругал себя после, что пошел к клуням...

Клунь было несколько. Пугающе и маняще зиял темный вход в крайней, виднелись стенные проломы, нагроможденные, покореженные стояли машины, и держался невыветренный дух жженой резины. Клуня напоминала развалившийся скворечник. Внутри другой — сумеречно пахло залежалой соломой. Егорка хотел обойти их все, но, как только поднялись на пригорок, где слабый ветерок гонял разомлевший воздух, со стороны стоящего на соседней горушке самого большого сарая опять уловил запах незнакомого дыма.

Мальчик насторожился: чутким стало ребячье сердце в военное лето. Из сарая доносился чужой говор. Немцы! Егорка дернул за рукав Адку и припал с ней в траву. Где ползком, где пригибаясь, они все дальше уходили от сарая. Спускаясь по склону горушки, увидели на траве колесный след. Значит, в том сарае находились сейчас ездоки, лошадь, телега. Всех вместила клуня.

Адка все время шла рядом. Она не уловила в дуновении ветра чужого дыма, не услышала говора, и тележный след на траве ни о чем не сказал ей. Она без умолку тараторила, слушая, как над дорогой истошно кричали ласточки. И Егор подумал, что кричат они обычно перед дождем. Адке захотелось взглянуть на них под крышей тока, узнать, есть ли там гнезда и что в них. И так и сяк убеждал Егор, что ласточки вряд ли будут лепиться здесь, держатся они ближе к деревне, к жилью, в колхозном же току одни мыши летучие.

— Ой, интересно! Я таких мышей только в зоопарке видела. Идем скорее к току!

Адка взяла Егорку за руку. И он сдался. Вторично сегодня сдался. Как только брала она его руку, хотелось идти с ней хогь на край света.

В одном конце тока стояли молотилка без широкого шкива на барабане да трактор с разбитым стеклянным отстойником. В другом же до самой крыши высились прошлогодние льняные снопы. А над ними, под стропилами — гнезда ласточек. Со льна можно достать гнезда рукой, можно даже внутри прощупать, что и сделал Егор ради Адки.

Он полез по снопам к стропилам, достал теплое малюсенькое яичко, которое она едва разглядела в сумеречном свете сарая. Егор опустил яичко на место.

— А говорил, гнезд нет. Есть!

И только сказала это Адка, как на перекладинах балок что-то стремительно дернулось, зашевелилось, и вниз посыпались в темноте труха и пыль. Адка вскрикнула и не помня себя выбежала. Егорка испугался, что крик ее услышат в тех дальних сараях. Просыпая ягоды, Адка помчалась во весь дух от притаившегося безлюдья.

— Да стой же ты, стой! — нагонял ее Егор. — Сова ворхнулась на балке...

Адка дрожала, она крепко прижалась к Егору и пошла с ним к деревне. Со стороны можно было принять их за взрослых, беспечно идущих летней дорогой. Надо сказать, настырная девчонка Адка. Не то что местные. Все надо ей знать, надо видеть — объясни, покажи. Дотошная!

Запрокинув голову, Адка искала в небе жаворонка. Солнце слепило глаза, и Адка счастливо жмурилась, прикрывая глаза ладошкой. Забыв о железной кружке, она хотела к глазам приложить и вторую ладошку.

И тут кружка упала, ударила по ноге. Адка всхлипнула, видя, как посыпались ягоды. И тогда он высыпал в ее кружку все свои ягоды — первые за это лето. Жаворонка в солнце Адка так и не увидела. Густо-синие глаза ее на румяном лице светились. Таких удивительных глаз Егор ни у кого не встречал.

— Я тебе потом покажу жаворонка, — пообещал он. — Может, поймаю даже.

— Ну, спасибо!

Домой Адка принесла полную кружку ягод. Бабушка погладила внучку по голове, посокрушалась, что осталась девочка сироткой. И Егор сейчас без отца — он на фронте, но все же есть мать, брат, сестренка... Половину ягод Адка отнесла Федьке, после чего Егор был готов собрать для нее всю землянику окрестных лесов.

Это было с утра. Теперь же время перевалило за полдень. Адки пока не видно: спит, наверное. Набегалась, находилась по земляничным полянам. Когда надо — кричит иной раз через частокол: «Клу-клу-клу!..» Зовет. Манит. Впрочем, и сам он точно так же ее вызывает и нарск даже клунышкой. Про себя, конечно, зовет так. Сорвись с языка, скажи он при всех — в тот же день ребятня подхватит. А это

ни к чему. Дружбе Егорки с городской Адкой завидуют почти все мальчишки. Пусть непривычное, московское имя — Адка, а называть другим, обижать Егор никогда не станет. Интересно, что сейчас делает Адка? Оно и хорошо, что ее не видать пока. Сегодня у Егора другие планы, только бы стемнело скорее...

Стоит Егор в огороде, смотрит на лесную кайму, за которой тянутся по земле рельсы. Из Москвы привезли по ним Адку. Сквозь леса, через реки — к своей одинокой бабке. Война помешала приехать ее родителям, и застряла в деревне Адка. Теперь живут они вдвоем.

По шпалам за лесом бродят чужие солдаты. Ступит, взойдет кто на рельсы — мигом стреляют. От деревни к станции петляет дорога, сейчас она стала стежкой — мало кто ходит в сторону станции. По этой стежке должны сегодня вернуться мать и сестренка. Егор с братом целый день ждут их...

Тишина усыпила Фedyку. Егор несет и укладывает его, разморенного солнцем, спать, и как только малыш начинает покойно посапывать, возвращается на цыпочках в огород, взяв соли и хлеба ломоть. Кроме этого ломтя, ничего в доме нет. Но все изменится, как только вернутся мать и сестренка. Скорее бы...

В огороде он аккуратно срывает несколько стрелок лука, как показывала ему мать. Делит на две равные доли и идет снимать с хлева куриный подклад. По кудахтанью в лопухах он отыскивает еще яйцо, снесенное в глухом месте. Это уже немало.

Егор готовится к вечеру.

Жара понемногу спадает, выдыхается к сумеркам. Вдали ложатся тени от замшелого, осевшего у дороги колхозного тока, от хуторских старых сараев. Никто сейчас не живет, не бывает в прежней хуторской стороне, и овины забыто стоят уже много времени, наводя своим видом уныние. Эти забытые в полях строения стали с начала войны безлюдны, отчужденно и сиротливо стерегли пустые пашни и холмистую, в ракитниках местность.

Иногда под вечер в колхозном току возникают непонятно откуда люди, жгут неприметный костерик и пропадают вскоре, в деревню не заходят. «Кто бы это мог быть?» — гадают после бабы и старики.

О людях, жгущих вдали костерики, при детях не говорили. Егорка знал этот закон деревни, знал, когда после ночевок не раз слышались на железной дороге взрывы, и,

живя законом, не решился сказать Адке, что сегодня увидел в колхозном току.

С тока и старых сараев Егор не спускает глаз и сейчас. В смутной тревоге бьется его сердце. Откуда-то немцы узнали, что с темнотой в забытых сараях останавливаются на привал партизаны. Узнали и уже утром разместили в одном из овинов засаду. Егорка не ошибался. Он умел распознавать немцев десятым чутьем, да так, что вскоре начали величать его за это Егором, как будто курил он с деревенскими стариками, сидел с ними под старыми липами.

— Скажи, Егор, будет сегодня немец? — спрашивали, как о погоде, бабы.

Он и сам не знал, почему это удавалось ему. Взгляд его шарил по зеленым скатам, по унылым, безлюдным полям и летним дорогам, и стоило мелькнуть вдалеке незнакомой фигуре, а слуху уловить непонятный звук или говор, как Егор тут же срывался и несся от хаты к хате: «Не-емцы!..» И редко, редко когда ошибался.

Чутким стало ребячье сердце в военное лето.

Только раз проглядел Егор немцев, и они согнали людей за деревню. С кузова машины навели пулемет, длинно и горланисто говорили. Протиснувшись к пряслам, мальчишки ждали, готовые сорваться и сигануть прежде выстрелов в картофельную ботву.

Но немцы не стреляли. Они прошли с автоматами на изготовку по дворам, вывели скот и увезли. Вот почему тревогой жила деревня, когда пересыхали вблизи болота.

Сегодня Егор нарочно увел поскорее Адку от ближнего тока. Никакой совы там не было. На балке Егор заметил человека. В руках у него была винтовка. Егорка понял: это не немец, а один из тех, кто появляется перед вечером в клунях-сараях. Человек ждал темноты, чтобы уйти. Наверное, партизан ранен — на полу мальчик успел разглядеть капли крови.

Теперь Егорка сидел на бревнах и рассуждал. Бревна у палисадника сложены еще отцом, ошкуренные, высохшие, гладкие до того, что босым ступням щекотно.

В стороне над железной дорогой кружит еле видимый самолет: то снизится, то пойдет вверх, точно ястреб, высматривающий добычу.

В сорванный лист подорожника высыпал Егор соль. Рядом на стеге положил снедь. Он смотрел в ту сторону, где были сараи. Немцы не показывались, по-видимому на-

блюдали за местностью скрытно, намереваясь встретить партизан близ сараев позже. Боец, судя по всему, тоже ждал ночи, и неизвестно, знал ли о немцах, спрятавшихся в дальнем к лесу сарае. Возможно, он собирался с темной уйти, а может, ждал своих. Егорка размышлял, как ему помочь.

На Егорке была черная сатиновая рубашка, вышитая сестренкой: зеленые цветы по воротнику и на кармашке сбоку. Адке она нравится. Егор провел пальцем по воротнику, ощупью почувствовал шелковистые нити вышивки...

Так и сидел бы без конца в предвечерье на бревнах у своего дома, не переставая глядел бы в тихие летние дали. Не видать что-то Адки... Нет и матери с сестренкой. И Федька спит. Грустно Егору. Грустней не бывает.

За железной дорогой повалил дым, похожий на паровозный. Гудков оттуда не слышно. Боятся немцы гудеть. Только по безмолвным клубам дыма и угадываешь, что прошел поезд за лесом.

Но чересчур уж долго дымит паровоз и не так, не похоже как-то. Туча дыма висит над лесом и ширится, ширится, становясь темнее. Не успеют клубы развеяться — прут новые, валят, перемешиваясь и расползаясь.

Протяжно завyla собака. Егор вздрогнул. Нет, не паровозный это дым. Пес учуял пожар. Горели за железной дорогой хаты. Овин за речкой исчез под распластанной дымной тенью. Взглянул Егор на свою хату. Стоит, соломой крытая, пламенеют от заходящего солнца окна. И стало страшно Егорке, что могут сегодня и ее сжечь. Несмышленыш Федька, он сам и пес, что могут они втроем? Только ночью не приходили бы немцы. Днем он еще уговорит, объяснит, чтобы Федьку не трогали. Пес заскулил, затаил так, что у Егора сердце зануло. Их хату, возможно, жечь и не станут, если придут до сумерек и Егор увидит их.

Вот ночью... Сразу и не придумаешь, как быть ночью...

Егор решительно поднялся с бревен. Снял с полатей тяжелый отцовский тулуп и охапкой отнес его в огород, в картофельную ботву. Расстелил промеж борозд, положил на тулуп так и не проснувшегося Федьку.

Окна Адкиного дома по-прежнему не светились. Проходя мимо бревен, Егорка услышал под ногой хруст. Он остановился и увидел раздавленное им на тропе яйцо, рядом краюху хлеба, пучки лука... Надо же так угодить! С чем же он пойдет на ток?

Из кустов подала голос птаха. Малиновка, определил

он. Пес больше не скулил. Над деревней стемнело, и ни одной звезды на небе. Это была даже не темень, а, казалось, нависла, затянула все дымовая туча.

Слабый ветер донес до Егора избяной запах старой горелой соломы, слежавшейся в крышах от долгого времени. Вкрадчиво и тревожно подсветилось за лесом небо, оголив клуб валившего дыма. Тихо. Настораживающе тихо.

Раздумчиво стоял Егор на стеге, держа в руке ломоть хлеба. Разбудить брата, чтобы покормить, дать псу или оставить до завтра? Нет, он побережет его для незнакомого человека, что спрятался на току. Ему хлеб нужнее...

Густой немотой распласталась над деревней ночь. Малиновке откликнулась другая птица. Их голоса вернули Егора к зиме, когда в яблонях и даже в кустах сирени под окнами заполнял он кормушки птицам. Каждый звук ловит Егор, откуда бы он ни раздался. Придется ли еще кормить птиц? Больше всего они любят хлеб, но сегодняшний ломоть он не мог им отдать.

— Клу-у, клу-у-у, клу... — робко прослышалось за изгородью.

Егор определил: Адка в кружку трубит. Нашла время. Расклубькалась...

Встрепенулся Егор. Матери и сестренки все еще не было. Значит, сегодня им не прийти. Сегодня они уже не вернуться. А какое странное небо! Ни одна звездочка не прозвездалась.

\* \* \*

Голодный пес молча вылизал Егору ладошку, подобрал с нее все до единой крошки. Егор отвязал пса — хлев пуст, стеречь некого. Несколько дней назад немцы увели корову. Пристегнул пса к изгороди, подальше от крытых соломой хлева и дома. Сидя на корточках, в темноте потрепал собаку за уши и, осторожно шурша росной ботвой, понес пучки лука и оставшееся яйцо спящему в борозде брату.

Федька посапывал с детской безмятежностью. В лист конского щавеля завернул Егор хлеб, сунул на время в рукав тулупа.

— Клу-у... — будто всхлипнула Адка.

— Клу-у-у! — отозвался Егор и поспешил на ее одинокий, пугливый зов — как же это он забыл о ней!

Хорошо, что Адка пришла! Он обязательно уговорит ее побыть с Федей. Недолго... Он только сходит к колхозному току...

## Старая скрипка

Музыкант, скрипка, смычок... Я разглядываю эту скульптуру из старого дерева и слышу — рядом тихо переговариваются. Мне хочется, чтобы голоса эти как можно дольше не умолкали.

— Ты улавливаешь что-нибудь?

— Музыку...

— Музыку?

— Ну, еще дождь. Лесной дождь.

— Вот ты сказал: музыка. А... зачем она?

— Зачем?! Чтобы возвращать человеку силы.

— Возвращать силы,— повторяет в раздумье девушка.— Возвращать силы... А мне кажется, что дрожит летнее марево и где-то играют на скрипке...

Парень тоже думает о своем и начинает негромко рассказывать, как помогал ему зимой старый приемник, когда он разбитым приходил домой после уроков в вечерней школе. Обычно искал только музыку. Рассеянно слушал, и не заметно проходила усталость.

— А если ты не устал?

— Ну, случается тогда, что музыка и не трогает,— глуховато басит он.— Хочешь, расскажу тебе один случай?

— Конечно!..

Они идут дальше по залу. Затихают шаги. Стихают голоса. И я уже никогда не узнаю, что это был за случай.

Я знаю другой.

Есть в дальних далях окруженная кустарником и мелколесьем в одну улицу деревушка. И поныне ходит через нее детвора по дороге в школу. Проходили ее и мы в послевоенную пору. Из своих деревень выходили перед рассветом. В Тиховке присоединился к нам Мишка Зуенок — из деревушки единственный семиклассник, чтобы не бежать шесть верст одному по морозной темени. Поземки начисто

заметали дорогу. И школьники первыми ее протапывали. Правда, был кроме Тиховки и другой путь, километра на два длиннее, и зимой заметался начисто. Это была железнодорожная ветка, рельсы которой поснимали, когда оскудели леса, и насыпь превратили в санную дорогу.

В теплое время все ходили домой по ней.

Уже в мае лес по сторонам дороги плотно смыкался ветвями, торжественно и неумолчно качая зеленым своим убранством. С дороги ничего не виделось в эту пору за первым кустом или деревом.

В солнечный майский день, когда луга и поля уже запестрели цветами, решено было идти из школы домой, минуя Тиховку.

Вместе со всеми пошел и тиховский Мишка. Поначалу, переехав из других мест, он не очень-то пришелся классу своей молчаливостью, но чем быстрее таял снег, тем быстрее менялось и отношение класса к Мишке. Умел он делать то, что никому другому из ребят не удавалось. Тонкий, напоминавший застигнутый морозом, еще не окрепший стебель, Мишка, к примеру, так иногда переплетал ноги, закинув одну за другую, будто свивал их. И это нравилось мальчишкам.

Но покорила всех Мишка весной.

Просохшую лесную землю устилали прошлогодние листья. Часть их сгребли ребята в небольшую кучу и подожгли на дороге. Лесной дымок вмиг разбудил мальчишеский азарт.

Сняв рубашки, принялись мы показывать на теле рубцы и отметины — память о патронах, минах и гранатах, оставленных в свое время в окопах да траншеях, раскиданных по холмам и лесным полянам. Ни одного среди нас не было, кто бы к такой находке не притронулся, у кого не нашлось бы таких отметин. У белобрысого Мишки их оказалось всех больше. На бедре, на ладонях и даже над бровью остались царапины от осколков, и несколько порошинок синело на щеке.

В тот день Мишка был в особом ударе. У поворота на Тиховку он рвал на обочине травы и спрашивал у нас их названия. Ни одного названия мы, конечно, толком не знали. А Мишка объяснял и перечислял без умолку: лисий хвост, манжетка, гусиная лапка, будяк, зверобой... Как было не позавидовать!

С того дня и повелась за ним слава — знахаря и следопыта. Вскоре нашли мы в лесных полувысохших канавах

и ямах несколько шурят. Откуда они взялись — никто не знал. Спросили Зуенка. Сказал, что утки занесли на лапках икру.

Что ни день — новое!

Как-то, сдав последний экзамен, мы возвращались с ним из школы вдвоем. Сильней обычного пахла зелень. Мишка заметил, что быть дождю. Так и случилось. Из-за холмов вытянулась и распласталась над дорогой туча. В километре от Тиховки хлынул спорый, но не громовой ливень.

С дороги, прямо по засеянному овсяному полю, мы побежали с ним к одиноко росшему на холме старому дубу.

Толстый, дуплистый дуб вдобавок был еще и выжжен внутри. Мы пролезли без труда в дупло, примостясь на корточках, уставились, как скворцы из гнезда, на струи косого ливня. Сквозь них лес, пригорки и поле казались расплывчатыми, неопределенными, тонули в водянисто-туманной завесе.

Вначале, вслушиваясь в шум ливня, оба сидели молча. Но вот Мишка уловил, что в дупле дождь шумит иначе, так, словно где-то на придорожье зовуше гудит вверх провод. Сходство показалось мне поразительно точным. И я удивился, что раньше не замечал такого. Сказал об этом Мишке. Он, откинув со лба светлые волосы, от моих слов заулыбался, словно от похвалы учителя. И стал рассказывать о местах, в которых жил с матерью после войны до переезда в Тиховку. Припомнилось ему одно утро, после которого как-то «не так», как он выразился, пошла вся жизнь...

Будто бы только сейчас стоял перед ним с отчетливой ясностью замшелый лесной рассвет, в котором возникла вдруг вдальке многоголосая песня. Когда ее слова стали отчетливо различимы, Мишка, опережая взрослых, выскочил на дорогу. На запад шли наши солдаты.

В тот день деревня вернулась из леса.

На пепелищах взрослые ковыряли палками пепел. Их палки напоминали клюки, а сами люди казались очень старыми, безмерно утомленными. Мишка сидел на сваленных у пепелищ котомках и толком не понимал: что взрослые ищут, почему так старательно, осторожно ковыряют золу?

Их дом сожгли немцы. Он был с края села. Недалеко в долине, жалась к дороге кузница. Кирпичная, да еще на отшибе, она почти уцелела. Сгорели только деревянные пристройки и крыша.

Сон валил Мишку. И кузница то уплывала, то казалась почти рядом. Он уже засыпал, когда тишину пепелищ потревожил незнакомый ему, непонятный звук. Точно с ветки сорвалась в воду капля, от которой пошли едва уловимые круги. Или бывает еще: зазвенит в темноте комар — и уже не уснуть.

Почему именно этот звук так насторожил и встревожил? Кричали ведь, носились над пепелищами птицы, пели рядом в кустах сирени. С особой отчаянностью щебетали ласточки. Наверно, когда деревня вернулась из леса, прилетели и птицы, но с домами сгорели и их гнезда. Однако даже тревожно-тоскливое щебетание ласточек казалось обычным, а услышанный им звук был совершенно новым.

Мишка протер глаза. Сон будто рукой сняло. Он вдруг увидел, что в стороне, возле кирпичной кузницы, на разбитой снарядом жатке кто-то сидел и играл на... скрипке. Большая взлохмаченная голова клонилась, как у прикорнувшей птицы. Человек держал в руках скрипку и водил смычком по струнам. Плыли тихие, под стать хмарному дню, звуки. Сперва они действительно напоминали расходящиеся круги, только не на воде, а как бы в воздухе. Слово поплыла над головнями и пеплом легкая паутина.

Музыка казалась слабым огоньком, за который боишься, чтобы не погас от ветра.

Услышав скрипку, сдавленно заголосили бабы. Их плач слышался, пока не стемнело, и, засыпая, Мишка уже не мог разобрать — то ли плакали бабы, то ли пела скрипка.

Утром он проснулся от звона молота и сразу побежал к кузне. Пахло углями и горячим железом. Мишка вызвался покачать замусоленную оглоблю горна. Качал, а сам посматривал на Матвея. Пожилой седоватый кузнец возился с железками. Это он играл вчера на скрипке. Было время, когда без скрипки Матвея ни одно торжество в деревне не обходилось. Были, понятно, и другие музыканты, но Матвея уважали особо.

— Дяденька, — произнес Мишка, как только Матвей достал кiset, чтобы передохнуть за сигаркой, — научите играть!

Матвей попридержал кiset, задумался.

— С чего бы это? — проговорил он. — А впрочем, приходи вечером, когда я работу закончу.

От счастья Мишка был на седьмом небе. Ведь Матвей согласился сразу!

— После работы. И каждый день,— предупредил кузнец, расшевеливая в горне уголь.

Мишка, окинув взглядом кузницу, увидел скрипку, приклоненную в углу, и, едва сдерживая радость, припустил скорее домой, на свое пепелище. Несся, а в ушах свистел ветер и слышалось пение скрипки.

Снова пришел в кузницу под вечер. Пахло все тем же неостывшим металлом. А Мишке представлялось: тепло не от железок — от струн скрипки.

В кузне теперь, кроме Матвея, стоял усатый солдат-артиллерист со скрещенными на петлицах стволиками. Матвей насаживал у наковальни лопату. Солдат топтался, умолял простить его.

— Да, браток, подковали мы с тобой скрипку... Что делать? — Матвей попытался улыбнуться. — Пришлешь новую после победы. А сейчас веди коней, перекую — до Берлина дорога длинная! — И вздохнул: — Вот мальчика жаль, обещал ему...

Мишка стоял у порога и недоумевал, почему дядька Матвей не замечает его. Только когда солдат вышел, кузнец кивнул обреченно на угол:

— Нет у нас с тобой скрипки...

Мишка взглянул туда. Грудой лежали обломки скрипки, а рядом — матерчатый чехол и увесистая связка подков.

— Солдат невзначай бросил. Прямо в нее угодил. Эх, мать те... — выругался Матвей. — Он ведь не знал, что в углу она... Не знал, понимаешь!

И, больше не заговаривая, принялся расплющивать под нож железку. И уже не теплом, стынью пахла для Мишки в тот день железка.

От кузницы шел, едва волоча ноги. Забрел, забился в бурьян и долго сидел там, бездумно отламывал и жевал ветки полыни. С того дня перестал ходить в кузницу...

Умолк Мишка, кончил рассказ.

Только тут заметил, что спал летний ливень. Над дорогой очистилось небо. Стекали с дуба, катились по траве капли. Было тихо. Казалось, земля дышала после дождя.

Никогда не вспоминали мы то утро. Не возвращались и к разговору о скрипке. Давно промелькнуло у обоих детство, но прежде чем оно кончилось, еще не раз удивлял

Мишка мальчишек, когда рыбачили или шлялись по лесным стежкам.

В поле однажды поймал он ежика, устроил ему жилье в старой бочке, добывал для него яблоки, хлеб, молоко...

Под кустом у самой воды, помнится, разглядел как-то Мишка обглоданный скелет крупной рыбы.

— Выдра питалась! — с уверенностью определил он. — Выдра, это точно: обглодает и ни косточки не помнет!

Тому уже много и много лет. Сколько — не сосчитать. Исчез в поле дуб, рухнул, бездумно кем-то подпиленный, и рой пчел, покругившись над ним, улетели искать в новых местах пристанище.

...Чередом сменяются, уходят на земле весны. Прилетают жить под крышами каждый год ласточки. Щебечут на проводах. Щебечут, летая. И всякий раз, когда вижу я, как они лепят гнезда, — всякий раз кажется мне, что в мире начинает петь и звучать много скрипок...

Была ли потом скрипка в Мишкиной жизни и выучился ли он играть, не знаю. Только верится мне, что в душе его звучит скрипка по-прежнему. Звучит та, «подкованная».

И я часто ее слышу. Когда прилетают лепить гнезда ласточки — мне слышится ее голос.

Это купание у речного обрыва напоминало веселый праздник. Бултыхались в тот жаркий день и местные, и приехавшие на лето к родственникам горожане.

Сергея Никитин, демобилизованный недавно из армии, удивлялся, как за время его службы подросли ребята, как забавно угадывать в них прежних огольцов. Из девчонок же, взрослевших с какой-то изумительной поспешностью, Сергей многих просто не узнавал.

Вот подошли две подружки, вероятно доярки, скинули легкие платьица, положили рядом со свернутыми белыми халатами. А вскоре подбежала и еще одна.

— Появилась наша красавица! — улыбчиво отозвались о ней.

Она сразу бросилась в глаза Сергею. Стройная, густые, чуть вьющиеся пышные волосы прихвачены перламутровой заколкой. Движения грациозны, изящны, будто работа ее была другая, нежели у подруг. Ветхий халатик она снимала и складывала с медлительной аккуратностью.

Любуясь девушкой, Сергей и не заметил парня, стоявшего в стороне и не сводившего глаз с девушки. Это был приехавший на лето к бабушке Эдвард, которого он помнил совсем мальчишкой.

Не обращая внимания на взгляды, словно бы зная о них заранее, девушка неспешно входила в речную воду. И когда оборачивалась, Сергей для себя отметил: серо-голубые глаза ее прекрасны, распахнуто-задумчивы.

«Да Ленка же это, Стромиллина...» — начал догадываться он и даже отца ее, механизатора, вспомнил. И не знал: горячо ли ему было от солнца, или закипала порывами кровь от краткой встречи возле реки. Может быть, так и было оно, и одно и другое испытывалось им в мимолетной растерянности на полуденном местном пляжике...

Целое лето мне довелось жить в деревне. Дом стоял на бугре, откуда хорошо виднелись стога и соседский дом с огородом, бабки Эдварда. Чистый разлив реки смотрелся особенно четко. Просветленно пылали над ним закаты, а в полдень желтели, сливаясь с прозрачностью неба, поля.

Страда была в полном разгаре. Жали днем и ночью. Сперва у деревни, а дней через десять комбайн Сереги грохотал уже по заречным далям. Обед комбайнерам теперь доставлялся в поле.

А вечерами, августовской пьянящей тишью, на другой берег в лодке переплывала Лена. Серега, завидя лодку, старательно махал.

Лена гребла прямо на его взмахи. Он целовал ее, вскочив в лодку, боясь дотронуться вымазанными мазутом руками, отмывать которые мог лишь дома горячей водой, брал весло и сильными гребками гнал лодку обратно.

Потом они не торопясь шли к дому.

И несколько раз повторялось одно и то же: стоило возникнуть Сереге с Леной, как за пряслами бабкиного огорода сразу же появлялся Эдвард и затаенно чего-то ждал. Вначале я не придавал этому значения, но после задумался: зачем понадобилось Эдварду прятаться, с какой стати подкарауливать?

Казалось бы, что любопытного в том, как после трудового дня от реки идет к себе в дом молодая пара?

В освещенном соседском окне я видел потом в раздумье сидящего паренька. А утром возле примкнутых лодок валялись помятые стебли аира, видно, кто-то нервно крошил их.

Несколько вечеров Эдвард у изгороди не появлялся. Перестали мелькать и Серега с Леной. Давно было известно, что в сельском Совете за неделю до жатвы их расписали. Через некоторое время Эдвард опять зачастил на пляж, держась скромно и в стороне. Деревушка с ее жизнью его вроде и не интересовала.

Однажды Лена вдруг появилась у дома Эдвардовой бабки и стала за что-то отчитывать парня. Доносились их голоса: мелодичный девический и ломающийся басок Эдварда.

— Ты это сделал. Ведь некому больше!

— Клянусь, нет...

— Еще клянешься? Эх ты!

— Клянусь.

— Эдик, я прошу тебя, верни обратно на место, будь другом. Ведь некому же больше? Некому! Твоя работа...

— Ты все теперь на меня будешь валить.

— Я никому не скажу, верни только!

— Приезжие могли сделать это...

— Да ты это, ты!

Голос Лены сорвался. И почудилось в темноте, что она вытирает слезы.

Неведение тянулось с неделю.

Торопилась Лена к реке обычно после вечерней дойки, управлялась быстро на ферме, чтобы не ждал Серега на противоположном берегу. На ферме она и проговорила о том, что кто-то отомкнул и угнал ее лодку. Перевозить мужа оказалось не на чем. Доярки посочувствовали молодой хозяйке, пожалели ее, ибо, кроме дойки коров, ей надо было еще и за мужем плавать.

Начались, как водится, разговоры. И сразу припомнился мне притаившийся за изгородью в темноте Эдвард. И то, что навевался он по вечерам к приколу, тоже выглядело странно.

Верней и лучше было самому помочь найти лодку. Детство мое прошло у воды, и я знал поэтому, где и как искать угнанные лодки: случалось, и сам не раз искусно их прятал. Полазив по зарослям и протокам, по камышовым топям, я набрел на нее вторым же днем. Несколько часов просидел в укрытии, ожидая, что к лодке кто-либо придет. Лодку, конечно, я мог бы сразу пригнать, но она таким же образом исчезла бы снова. И отыскать ее тогда было бы уже гораздо труднее.

«И чего ради,— рассуждал я,— терять мне время, маяться да сомневаться, когда можно вызвать Эдварда на откровение?»

Вскоре узнал я, что Эдвард и Лена когда-то дружили и что в деревню он в основном приезжал из-за нее. Мучила парня тревога перед армией: не вышла бы Лена замуж. И беспокоился он, как теперь выяснилось, не зря.

Серега влюбился с первого взгляда, женился на Лене. И за эту женитьбу, по молодости, вполне мог мелко мстить Эдвард, неуклюже отстаивая свои чувства. Он, похоже, не знал, не догадывался пока, что любовь и благородство искони рядом. Этому Эдварда вряд ли где учили. Но за мелкой мстью, если дать разрастись, последует и месть крупная.

Встретясь, я первым заговорил с Эдвардом. Возвращением лодки я рассчитывал успокоить душевную боль его, а заодно и Лсну.

— Эдик, а приятнее, когда в лодке двое?

— Это к чему вы?.. — спросил он настороженно.

— К тому, что плаваешь ты в ней один.

— Не понимаю...

— И понимать тут нечего. Видел я, как ты ее угонял.

— Видели? Да чушь это! Ничего вы не могли видеть.

Такого вообще не было.

Я повторил увереннее. Конечно же, говорил я неправду — не видел я Эдварда с лодкой. Но по глазам его угадывал, что угнал именно он. И как вскоре выяснилось, я был прав. Парень, пораженный, что заглянули в самое потаенное, куда, как полагал он, сроду никому не добраться, молчал.

В какой-то момент я даже стал сожалеть и сомневаться в своей уверенности в недоказанной пока правоте, и надо было скорее утвердиться в догадке. Я предложил Эдварду пройтись вдоль речки: может, увидим где лодку...

Чутье и жизненный опыт подсказывали мне, что если и впредь будет Эдвард отмыкать лодку, его постигнет неминуемое наказание. Рано или поздно пожалуется Лена мужу, вынужденно делающему в эти дни крюк после изнурительного рабочего дня. Как еще до сих пор не сказала она? Видно, что-то сдерживало Лену. Несдобровать бы Эдварду, скажи она мужу. Но терпение в конце концов иссякнет — и не сегодня-завтра над парнем грянет гром. И останется он в глазах Лены побитым, и не кем-то, а ее мужем, старшим и более сильным.

По всем признакам Лена пока что оберегала парня, скрывала от возможного гнева Сереги. Не однажды, наверное, Эдвард дарил ей цветы и что-то, быть может, доброе говорил ей и подобное слышал в ответ. Могли клясться и в долгой дружбе. Таял, млел парень от ее искренних, чистых слов...

Речной быстринной уплыла радость. И поник, озлобился с отчаяния Эдвард.

Шагали мы к ручью кустарниковой косогорной тропой. Стежка местами не позволяла идти рядом, она выводила кое-где на открытое место, и я сбоку видел тогда сосредоточенно-сумрачное лицо Эдварда. И получалось вроде бы, что вел я парня на некую уготованную заранее казнь либо на продуманную мною загодя экзекуцию.

Лодка стояла в тени под олешиной, заваленная сушняком и сабельным аиром. С какой стороны ни смотри, ее не увидишь. Можно было легко пройти по травяному берегу и не подумать, что здесь, в ручье, наткнешься на нее. В камыше и осоке — куда ни шло, но тащить лодку почти волоком через намытые в устье песок и ил, преодолевать обширное мелководье — требовались и немалый труд, и дьявольская догадливость.

Разгрести песчаную преграду, провести по ней лодку, а в довершение тщательно завалить сухими сучьями и зеленым аиром — мог только человек одержимый.

Теперь же лодку следовало перегнать. Причем сделать так, чтобы Эдвард не обиделся. И чтобы никто из троих — ни Лена, ни он, ни теперь уже я — не таил бы об этом недоброй памяти.

Стежка сейчас была мудрым поводом. С пригорков она норовила нырнуть в сумрак кустарников и на время упрятать нас, каждого со своими мыслями, а из олешиников, наоборот, уводила скорее на открытое, солнцем прогретое место.

Нет-нет да и наталкивался я на вывод, что Серега Никитин, возможно, и знал каким-то образом о проказах бывшего ухажера Лены. Вероятней всего, знал. Знал — и ничего не делал, не предпринимал, чтобы дать созреть и остепениться, а точнее, перебеситься, перекипеть Эдварду. Пожалуй, трогать парня после того, как увели у него девушку, и подавно выглядело бы неразумным. Может, терпение это и ценилось Леной.

Как бы ни было, а возле упрятанной лодки пробыли мы с Эдвардом недолго, куда меньше, чем я вначале предполагал. История наша по существу оказалась комичной и лишь по недомыслию принесшей нечаянное огорчение.

Перед вечером мы уже подплывали к деревне, усердно гребли двумя выломанными в кустах палками. Я — с кормы, Эдвард — как раз с середины лодки. Плыли против течения, налегая на палки, торопясь добраться до деревни, пока солнце не село.

Гребли молча, каждый по-своему переживая то, что случилось немногим раньше, чем сели в лодку. А произошло на редкость потешное.

В устье ручья я один освобождал из-под хвороста лодку. Эдвард наблюдал за моей возней, поигрывая ключом

на тесьме. Вертел, ожидая, когда я раскидаю сооруженный тайник. Лодка же сама как бы и не интересовала его.

Неожиданно ключ сорвался с тесьмы и полетел на днище лодки.

Надо было видеть, как вмиг оживился, беспокойно полез за ним Эдвард прямо по хворосту.

Я поднял ключ, радуясь, что он не в воду угодил. Вначале хотел вернуть его Эдварду, но передумал: мелькнула догадка. Я решил вставить ключ в отверстие замка, вдруг да подойдет.

— Верните, пожалуйста, это от дома!..— запротестовал парень.

Замок без труда открылся. Ничего не сказав, я протянул ключ Эдварду:

— Возьми.

— Надо же. Вот совпадение...— смутился он.— Никогда бы не подумал, что подойдет.

— Случается,— согласился я и не стал ни в чем упрекать его.

Ополоснувшись водой и тем самым согнав с лица румянец, Эдвард взялся выламывать себе палку.

Гребя с двух сторон, мы поплыли к причалу. Еще издали увидели на берегу Лену. Эдвард погреб неистовее.

Я же радостно замахал, давая понять, что лодка — та самая, которую давно ищут. И нет причин для волнений. Хорошо даже, что в лодке нас двое.

Двое — ради двоих.

# Высокие дни<sup>1</sup>

Повесть

Долго рвался он к этому делу, к этому тряскому, будоражному машинному гулу. Руки Родиона попривыкали к колесикам, рычагам, рукояткам, кнопкам еще до работы на станке. Этими руками он всегда в жизни что-то ворочал, крутил, опускал, поднимал — тренировался в армии: станок как танк. Крутишь и правой и левой — подводишь, разводишь, — двигаешь сразу двумя руками. Солдатом любил Родион разные механизмы, научился отличать в работе каждый на слух.

Но сегодня был не его станок, а запасной — староватый, стоявший на всякий случай. Его прежний, который он заботливо доглядал, протирал, ублажал почти что, гудел ровнее, был послушнее и налаженнее. Он-то теперь и был разобран. Разложен по частям, каждая деталь порознь.

По выработанной давно привычке руки ложатся на пусковой рычаг, открывают щиток, мигом достают обточенную деталь. Кладут и тут же вставляют новую. Так целую смену.

Нажитым чутьем угадывается под конец смены по станочному гулу время. По тому, как бьется под резцом тонкая жилка огня, как, коротко шелкая, замирает в станке шпиндель.

Разогретые за много часов работы, человек и станок пребывают в одном напряженном ритме. Опережая друг друга, бьются в каждом из них два заряда, две силы. У станка — мотор, у человека — сердце. Словно бы мощью меряются. У человека есть еще память. У станка же лишь царапины, выбоины, трещины, разного рода отметины — следы, оставленные до тебя чьими-то руками.

Немало пришлось поработать на прежнем станке, пока приноровилась рука, пока свыкся с единственным у незарешенного окна местом. В вечернее и ночное время мигали

---

<sup>1</sup> © Издательство «Современник», 1979 г.

в то окно звезды: дивились людскому неугомонному шуму, размеренной суете и словно бы помогали своим мерцанием забыть усталость.

До мелочей все было ведомо, привычно, знакомо там. И споро шла оттого работа. Здесь то подждать надо, то отпустить что-либо, то подкрутить, а время идет, летит...

\* \* \*

На миг поднял Родион голову и тотчас увидел, как приближается проходом Сипов. Как обычно, шел мастер, чуть косолапя, припадая на левую ногу, как бы подтягивал ее.

— Сколько? — спросил он.

— Пятьсот, Анатолий Иванович.

— Дашь еще шестьдесят?

— Не успею.

— Задержись. Без прогрессивки останемся.

И, будто вспомнив о чем-то или чего-то устыдясь, подался Сипов дальше, расслабив рывком узел галстука. На лице вечная озабоченность. А внутри как бы вставлен невидимый механизм: когда идет Сипов, невидимый механизм словно отсчитывает в нем мысли. Шагнул — щелчок. Еще щелчок — еще мысль. Несмотря на возраст, хромоту и приземистость, Сипов расторопен, быстр. Кому непонятна его озабоченность: последняя смена месяца, до конца ее — чуть больше часа. Такой день зовут обычно «высоким»: в цеху выше требования, выше обязательства, выше производительность, выше... аварийность.

Да, работай на своем станке — развернулся бы Родион.

\* \* \*

Неподалеку на той же линии менял фрезу Агафончик, шустроватый, с реденькой челкой малый, постоянно весь почему-то промасленный. Можно сказать, сосед, в одной смене работают. На минуту задержал он Сипова, перекинулся словом-другим, посеменял к Родиону.

— Пятьсот штук, говоришь?

— Пятьсот.

— Ну ты да-е-ешь! — Агафончик воровато зыркнул вокруг глазами, подсчитал, царапая подоконник стружкой толкнул в бок легонько: — Карман денег!

Родион отмахнулся:

— Какой там карман.

- Карма-а-ан. Чего уж тут! Заработать мастак ты.
- Да пойми: не могу иначе, медленно. Ну не привык!
- Не можешь?
- Не могу!
- Думаешь, я столько не мог бы?
- И делай себе.
- В тупой резец превратишься.
- Наоборот, острым станешь.
- Язвы, язвы...

Разговор и разговор, о котором вскоре и забываешь, тем более в шуме и гуле. И, однако, если бы гула не было, а наступил, скажем, конец смены и станки умолкли, Родион не забыл бы сказанного Агафончиком. В словах его он различил бы ухмылку, нарочито не скрываемую. Но пока пересменки не было. Как ни в чем не бывало станки продолжали работать.

На своем прежнем месте, случалось, давал Родион и поболее. Иной раз прихватывал по настойчивой просьбе Сипова лишний час. Ведь дело, если вдуматься, нешуточное — точить запасные части автомобилям. Судя по ящикам, куда только не попадают они. По всему свету расходятся, хватает на целый мир.

На стене — пучеглазые электрические часы. Смотреть не надо. По гулу ясно: вот-вот время кончится. Меняя резец, Родион на минуту взял у Агафончика ключ. Исправный резец — сменщику радость. Сразу пойдет работа.

Зажав болты, положил ключ на край станка у прохода. И забыл. Агафончик же, подойдя, сердито бросил:

— Больше не получишь. Кладешь где попало. Сопрут — ищи потом. С ключами вечно неразбериха, как сквозь землю проваливаются. Идти искать на старое место — некогда. Да и найдешь ли сразу? До того обложили то место шестеренками, что не подойти, не подступиться...

Меж тем как бы ни шло, ни ладилось дело, а две-три бракованные детали за смену отыщется. Измеришь скобой — толщина вроде нормальная, коснешься микрометром — туго, либо, наоборот, свободно. Вот и думай, гадай себе: вроде не брак, но и не деталь еще. Иди договариваться со шлифовщиками: останется чернота после них — запорол. Нет черноты — снял в аккурат, проскочила твоя деталь.

Хуже всего, если пойдет вдруг конус. Натруженный за день станок, пусть даже самый новый, все равно к концу смены разлаживается, сколько-нибудь да «размагничива-

ется». И уж тогда проверяй, гляди в оба. Никакая шлифовка конуса не поможет. Недоглядел — так и запишут, а потом и вычтут.

В работе Родиона легко определить качество предыдущих операций. Размер, заусеницы, жилка огня, нагрузка на резец — проверенные не раз приметы. Определив их, можно и подсказать, чтоб на других операциях меньше маялись.

Агафончик любит бракованную деталь прятать. Вынесет умело за проходную. И каждый знает об этом. И Сипов знает. Сам маленький, одежда просторная — пронесет что угодно. Попытались ловить. Другие попадались, а Агафончик откуда-то узнавал, посмеивался на незадачливых дружинников. Иные возьмется, исправляют деталь. Уберут осторожно конус (если он невелик), переделают фаску, умело подправят, и деталь, глядишь, как деталь. Агафончик — никогда. Ускользает как рыба...

Конус, конус...

Кто не знал его. И среди новичков, и среди умудренно знающих свое дело. Всем он памятен. Потому-то так каждый внимателен, потому-то сосредоточен и собран не один час кряду.

Мелькают руки. Стучит в висках кровь, и стук ее, кажется, сливается с гулом и шумом цеха. Проходка, подрезка, снятие фаски — три резца, три операции — не простая работа. Два станка выполняют ее. Разобранный да резервный, где стоял сейчас Родион. Не раз доводилось ему выправлять конус даже тогда, когда заступала другая смена и станок барахлил, не раз посылали за ним в общежитие, уводили и с уроков в вечерней школе. Немало конусов им поисправлено. Шутка ли куда повезут сделанное: Кабул, Каир, Гавана! Побывать бы в далеких тех городах, портах, странах... Осуществить мальчишескую мечту.

\* \* \*

На черновой обработке — операции поочередные. У него же — чистовая, совмещенная, с небольшой глубиной резания. Три резца точит он партиями, чтобы не покидать часто место. Меняй их потом, не отходя от станка. Удачно заточишь — на целую смену хватит. Кнопки кнопками, а соотносить за любым станком следует.

Монотонный и плотный гул нарастает наплывно и широко, он содрогает пол, стены, пропахший металлом воздух.

Нет-нет да и подойдет начальник ОТК, сухошавая решительная женщина, украдкой пыхнет сигареткой, скажет наставительно контролерам:

— Девочки, глядите в оба! Как бы он с такими темпами под монастырь не подвел нас.

Контролеры и без того старательно все проверяли, включали индикатор, измеряли деталь блескучими штангелями, водили поверху пальцем, так и подмывало сказать: на зуб попробуйте. Подумаешь, а не скажешь: отвечают люди за свое дело.

Да и стараются контролеры для пущей видимости. Сами говорят: редок у Родиона брак. Руки цепкие, и глаз наметан. Хоть смену, хоть полторы проработает, а все равно темп свой выдержит. И если не так что — подметит, известит девчонок. С чуть заметным изъясном контролеры, бывает, пропустят деталь и сами. Но за границу такую отправить нельзя — тут особая точность требуется.

Натренирован глаз у девчонок получше любого токаря, не одни детали, а и другое кое-что, для них поинтереснее, видят. Где уж токарям с ними равняться. Долгой задержки контролеров возле одного станка начальница не одобряет. Мнится ей, что льнут девчонки к парням, которые после армии. А их пригласил новый директор, когда завод расширять взялись. Разослал вовремя своих уполномоченных, и привезли те вскоре десантников, моряков, танкистов — любой род войск найдешь на заводе. И не надо никому особо говорить, растолковывать. За что ни возьмутся — обязательно одолеют. После лета к ним добавились выпускники школ. Шумливая вольная юность перемешалась с армейской зрелостью, растеклась неперебродившим весельем по станкам и бригадам. Ребят и девчонок на время распределили учениками.

Прикрепили и к Родиону девчонку Лариску. Подружки шептались, посматривали со стороны: пойдет ли дело у молодого учителя.

— Вы кем работаете? — спросила сразу Лариска с детской наивностью, отчего Родион рассмеялся даже.

— Как кем... Да токарем!

Однако это новенькую не удовлетворило, очень уж буднично звучало — токарем. Понять ее можно было, токари действительно назывались по-разному: оператор, универсал, автоматчик, полуавтоматчик, о чем, видать, прежде и рассказали выпускникам.

— Значит, вы рядовым работаете, — рассудила она.

— Ну не совсем рядовым.

— А каким?

— Гвардии рядовым! — пошутил Родион.

— Как это?

— Это когда с флажком,— кивнул Родион на свой вымпел.

Она оценила шутку и не осталась в долгу:

— А льготы есть на флажок?

— И немалые.

— Например?

— Газированная вода. Пей бесплатно, вон там автомат.

Лариска зарделась, глянула в сторону, куда кивнул Родион, и, ничего не сказав, взялась проверять им сделанное. В тот же день она поцарапала себе палец, отошла к окну и по-детски сосала проступившую кровь.

И было столько беспомощности в ней, что Родион, теряя время, начал отбрасывать детали с заусеницами в сторону. Он потом обрабатывал их слегка напильником и только тогда позволял проверять...

Незаметно Лариска освоилась и проверяла не хуже других — быстро, точно, сноровисто. Ей присвоили вскоре разряд и перевели в другой цех. После этого Родион часто провожал Лариску домой.

Но это давнее, прожитое, пройденное, как школьный урок, которого не повторить. Наступят для них другие вечера и полночи, теплые сумерки, зеленый шелест деревьев, разговоры до крыльца дома, но первых тех проводов не воскресить. И воскрешать незачем. Будут новые, где будет своя заветная чуткость, своя неповторная радость.

\* \* \*

Вот уже появилась уборщица. Подкатила тележку, отложила в сторону немудреный свой инструмент — скребок, метлу и лопату, дернула за край стираной-перестираной гимнастерки.

— Выключи!

Нашла время: выключить. Минутка каждая дорога.

— Говорю, выключь!

— Заче-е-е-ем?

— Надо.

Ну что тут поделаешь — всегда отвозит тетка Марта во время стружку. Женщина сплонула, уперла в бедро руку,

показала другой в сторону полыхавшего над станком красного треугольника:

— Тю-ю-ю! И о флажке-то, поди, не вспомнили!..

К чему это она — только и успел подумать Родион. Было время: стояли флажки на тумбочках, но в суматохе и спешке часто падали, и их в конце концов прикрепили к лампам дневного света. Висел флажок и над станком Родиона — флажок ударника.

— В чем дело?

— Приказ сейчас на тебя печатали.

— Какой?

— А бог их знает какой! Зашла за справкой, а там прямо в машинку диктуют.

Тетка Марта хотела, видимо, добавить, но вдруг загремела тележкой, засуетилась, проворно зашаркала общипанной старой метлой: вдоль станков нахрамывал торопливо Сипов. Было видно, что мастер успел побывать в душе, по обыкновению пустующем перед концом смены. Аккуратно зачесанные волосы влажно блестели, лицо розовело. Сипов держал в руке лист бумаги и, не доходя до Родиона, приколол бумагу на доске объявлений.

— Ну сколько? — поинтересовался он, глядя со стороны на лист.

— Пятьсот двадцать пока.

Голова Сипова сокрушенно мотнулась:

— Что-то не очень ты...

— Станок не свой.

— Может, остался бы, а?

— В другой раз. Не сегодня...

— А что у тебя сегодня-то?

— Аттестат получаю. В школе быть надо.

— Все это хорошо. Да только будет «другой раз» не скоро теперь.

— Как понимать?

— Читай вон. Все поймешь.

Родион направился к доске объявлений. Сердце необъяснимо обволакивал холодок. У только что приколотой бумажки уже толпились, обдумывали и удивлялись, мол, чего не бывает. Глянул Родион, и словно кипятком окатили, в глазах на миг помутнело: ошиблись, определенно напутали... Не бывает такого, чтоб сразу, вот так, взяли и понизили. Приказ снимут. Надо только хорошенько объяснить все. Поймут, разберутся кому надо. Снимут приказ.

Наскоро вымылся, перседелся Родион и выскочил за проходную. Солнце по-летнему грело город. Весна давно кончилась. Звенели птицы, буйствовала зелень, а душа от горечи кричала неслышным криком. Впереди, медленно толкая коляску, шла в тени лип молодая женщина. Родион мельком глянул и, боясь разбудить малыша, тихо обошел.

Спешил он туда, куда в свое время заходил в форме солдата, где торжественно вручали направление в цех и просили не забывать, заходить запросто — с любым делом... Время то было суматошное, неустоявшееся: все менялось, перекраивалось, расширялось кругом. Завод принимал новый директор. Появлялись отовсюду с ним новые люди. В поток их попал тогда и демобилизованный Родион. Попал в цех к Сипову, тоже недавно пришедшему.

Приняли Родиона, не откладывая, словно бы ждали.

— Входи, входи, солдат, — директор даже встал, из-за стола вышел. Руку протянул. Помнил приехавших к нему после армии.

Пожал Родион крепко руку:

— Извините, без спросу я к вам.

— Ничего. Присаживайся.

Очевидно, память его была редкостной, если принял с первой минуты, не забыв через столько времени.

— Вот дочитаю. Потерпи. — И пристально взгляделся поверх бумаги в лицо Родиона, кивнувшего в знак согласия. Пока молчали, казалось, до непривычности тихо. Лишь телефоны за дверью напоминали прерывистый стрекот кузнечиков. Стены кабинета пестрели грамотами. В шкафу виднелись подарки, кубки. В углу белел экран телевизора. Кресла, стол, телефоны и даже стулья были одинаково зеленого цвета. Разглядывал кабинет Родион недолго, пока не заговорили.

— По поводу приказа пришел?

— Да.

— Что за бумагу держишь?

— Объяснительную.

— Расскажи-ка мне лучше, как было. — Не читая, он положил объяснительную и, чтоб вентилятором не сдуло, прижал пепельницей. Заходил неслышно по комнате. Шаги маленькие, торопкие шаги тучноватого человека. Под глазами заметны мешочки и мягкие морщины, словно бы вымытые порознь каждая.

— Видишь, какое дело. Я, понятно, могу поспособствовать. Да дело-то гораздо сложнее. Вот смотри, докладная мастера.— Перебрал на столе бумаги, через стол протянул Родиону.— Читай!

Не отрываясь, прочел Родион, вскинул глаза на спокойное директорское лицо:

— Не так это было.

— Как же не так? — Комиссия заключила...— голос директора был мягок, ровен. По комнате директор как бы и не ходил, а перекатывался.— Комиссия заключила: погорели в станке у тебя подшипники. Конечно, заливать масло — обязанность смазчика. однако полагалось проверить, есть ли оно в коробке?

— Полагалось.

— Проверял?

— Проверял. Было масло.

— Интере-е-есно... Но произошло-то в твою смену?

— В мою.

— Как же ты проверял?

— Дело не в масле...

— А в чем?

— В другом...

Родион умолк. И сколько его ни спрашивали — причину не объяснил. Он упрямо молчал и, сморщив лоб, упорно над чем-то думал, что, по-видимому, только сейчас, в эту минуту пришло ему.

— Предположим, ты — руководитель, я — рабочий.— И опять расхаживал взад-вперед и точно бы рассуждал с собой директор.— Посуди, цех делает, в основном, на экспорт. За границу, в другие страны. Я собрал к Сипову самых лучших, молодых, энергичных, толковых. Понимаешь, что это такое?

— Понимаю.

— Можем ли мы после этого оставлять без внимания случившееся, имеем ли право? Не имеем! Думаю я, что под конец месяца возьмут они докладную, попросят перевести обратно тебя. Вообще однажды случалось что-то подобное. И скажу прямо — испортил я дело. Влез, отстоял, а что получилось? После пришлось увольняться парню. Не сработался, так сказать.

Секретарша принесла на подпись бумаги.

— Потом, потом,— отмахнулся директор. Слова его вызвали вначале доверчивость, казались сочувственными и одновременно как бы мешали с трезвостью разобраться...

Побивал он неуясненной логикой, от которой и говорить-то Родиону было не о чем.

— Такие смены иной раз бывают,— произнес наконец он больше для того, чтобы сказать что-то,— случается, и пость некогда.

— Сами там виноваты. Надо заранее о деле думать. Вообще, Ракитин, тебя бы наказать строже, материя-аально!

Не знал Родион, что и сказать, как быть. Такого в жизни не выпадало еще. Появилась опять секретарша. Глянула в его сторону, вздохнула, можно ли столько разговаривать? Звонят телефоны, горит план, прислали срочный заказ, предстоят заседания, до твоих ли дел сейчас?

— Проще бы с мастером выяснить, а потом уж ко мне,— заметил директор.

— Я вспомнил,— сказал Родион,— разговор с вами. Ну тот, после армии, когда принимали нас...

Директор улыбнулся, метнув мимоходом взгляд: лукавишь, парень, однако и я не промах.

— Ты осложнил себе. Следовало на месте выяснить. Сипов все-таки знающий дело человек, мастер уважаемый. А ты небось и объясниться не захотел. Ведь не захотел?

— Я лишь сегодня узнал все...— заметил обескураженно Родион.— Когда приказ прочел.

Надо было уходить. Но директор, видя растерянность, объяснил:

— Вот представь, мастер приносит докладную, где сказано, что станок выведен из строя,— ткнул в грудь себя пальцем,— из-за моего неправильного отношения, ну, скажем прямо, халатного. Как поступил бы ты?

— Разобрался б, конечно.

— Ага, разобрался б! — уцепился директор.— Потому и была создана техкомиссия. А теперь что бы сделал? Наказал! Издал бы приказ: перевести в разнорабочие. Иначе и я не мог. Не мог, понимаешь? — пристукнул он по бумагам ладонью.— Вот так! — заключил директор, оставившаяся против Родиона.

— А поставят меня на прежнее место?

— То есть?

— Ну, после наказания.

— Не могу сказать,— развел директор руками, точно бы дело, о котором столько проговорили, отныне и вовсе его не касалось.— Захотят — поставят. Если, конечно, это впрямь пойдет тебе.

И зачем ты, Родион, шел, зачем спешил сюда? Понесла нелегкая — кабинет, что ли, разглядывать?

Прикрыл Родион плотно обитую, хорошо пригнанную дверь с табличкой «Директор». Получилось не так, как себе представлял он. Убеди теперь кого-либо: приказ вывешен. Уготовила судьба, удружила. Сроду не попадал в переплет, сроду с подобным не сталкивался. Такое ощущение, словно ты с крутой горки несешься; кто в детстве катался, знает. Набрали санки скорость, все быстрее, быстрее несутся, и тебе уже не справиться с ними. Взрослому ничего не стоило бы раз-другой тормознуть сбоку санок ногой. Мальчишке не совладать. И он ложится на санки и с замиранием сердца ждет, что будет. Высокий день сегодня был подобием крутой горки.

И в этот день шел в последний раз Родион в школу. Он снова и снова представлял себе все, как было. Погорели подшипники, почернели не оттого, что не было масла, его было достаточно. Сам проверял. Погорели оттого, что не лилось оно сверху из раструбов-трубочек на шестерни. Не лилось по той причине, что бездействовал насос.

Он не выключил тогда сразу станка, не внял его отчаянному крику. Не поверил своему слуху. Проработал до конца смены, слыша, как внутри станка скрежетало, гудело, стонало... Он сходил за слесарем, когда уже прозвенел звонок. Сипов попросил Дементия подготовить станок для осмотра: вскрыть и показать комиссии — что там случилось?

Дементий пришел, посоветовал вставить резцы. Жар и духота, исходившие от станка, настораживали. Станок напоминал больного с температурой. Гул поначалу казался привычным — пока искал Родион слесаря, станок успел отдохнуть. Но вскоре уменьшились обороты, пала скорость и выкрошились резцы. Вставили новые — повторилось. Оставалось одно — срывать пломбу.

Было ясно, что наладить все быстро не удастся. Было ясно — испортился станок не по вине Родиона. Но выключи он его раньше — шестерни уцелели бы. И ремонт оказался бы несложным.

Конечно, случалось и не такое. Но брало недоумение от того спокойствия, с которым Сипов поставил его на запасной, резервный станок... И вот теперь Родион снова и снова над этим задумывался. Он знал, гул был не тот. Но Сипов просил дотянуть как-нибудь до звонка. Пропустить как можно больше...

Он мог бы сказать об этом директору, сослаться на распоряжение Сипова, но тогда все выглядело бы вроде наговора: делали дело вместе, а свалил все на мастера. И он дотянул до звонка, пропустил еще порядком деталей. О просьбе-приказе он промолчал. Она ничего не дала бы. О ней следовало оговориться Сипову. И то, что Сипов о ней умолчал, говорило о бесполезности ссылаться на мастера. Сипов подгонял, спешил. И Сипов был теперь в стороне. Родион уяснил это сегодня, будучи у директора.

\* \* \*

Место в классе, как и на работе, занимал он у окна. Давняя мальчишеская привычка разглядывать мир за окнами. Он сел здесь последний раз. С пятого этажа виднелись загородные холмы. По ним сновали неторопливо машины. Дальние холмы эти в прощальный час дня навевали любимые строки: «Не пылит дорога, не дрожат листья...»

Теперь уже сядет кто-то другой у окна. Жизнь не обошла Родиона добрыми людьми и друзьями, но столько, как в школе — не встречал он. Сегодня был день выдачи аттестатов. Каждый думал о своей дальнейшей судьбе. Думал и Родион. Не думать об этом нельзя было.

Не доучился он вовремя в сельской школе, не доходил положенное мальчишкам. Догонял теперь жизнь взрослым, за школьной партой. Догонял на работе и после работы. Возвращался к черте, от которой отстал и от которой предстояло ему идти дальше.

Сколько еще счастливого и неизведанно нового обещало впереди время! Он поступит теперь в институт, обзаведется семьей... В школе сняли с доски отличников и вместе с аттестатом вручили ему фотографию: «Токарь Родион Ракитин. Хорошо учится, перевыполняет план...»

Рано или поздно жизнь пойдет размеренно и привычно. Совсем размялся Родион, стоя у классного окна.

Он подумал, что надо готовить теперь в институт документы, надо взять на заводе характеристику. И как просить, как брать ее после случившегося? Он смотрел напряженно за окна, где после жаркого дня доверчиво шелестел листвою тихий ветер, ветер что-то шептал листве, был как чье-то дыхание, как неуловимый голос далекого таинства.

В конце недели вскоре вывесили объявление о поездке за город. Предстоял общий отдых, и желающих приглашали записываться. Лариска встретила Родиона, поздравила с аттестатом и спросила, не хочет ли поехать и он с ней, с Лариской. Родион охотно согласился.

— Вместе так вместе.

— Будут костры жечь,— пояснила она.— Петь песни. Не пожалеешь.

— Еду, еду.

В курилке и раздевалке — разговоры.

— Петь? О чем?

— О своей молодости.

— А о душе?

— Душа — потемки.

— Э-э-э, нет! Она-то и должна петь.

Поездка затевалась с ночевкой. Утром от общежития отходил автобус. Перед дорогой Родион побежал в кафе вблизи общежития.

— Ничего нет,— читали меню вошедшие.

Гардеробщик с прожилыстым отекившим лицом спокойно всем растолковывал:

— И не бывает с утра.

— Но здесь написано?

— Мало ли что пишут,— отвечал он.— Приходите вечером. Все будет.

— Нам не пьянствовать. Нам поесть надо.

Под перепалку Родион помчался назад к месту сбора. Лариска держала в автобусе место, положив на сиденье два старых лотерейных билета. Выехали на загородную дорогу. Забренчали гитарой, затянули о догорающем закате и дымящейся роще. Спели о монтажниках, шоферах, мысленно прошагали тоскующими романтиками по Москве. То ныряя, то выкарабкиваясь из увалов, катил и катил вдаль автобус. Сигналил детворе — маленьким рыболовам, спешащим в заветные места с удочкой, встречному стаду, машинам.

— Успел поесть?— спросила Лариска.

— Поешь! Ничего с утра не бывает.

— А я бутерброды припасла,— сказала она обрадованно.— Возьми.

С аппетитом уминая Ларискины бутерброды, Родион на какое-то мгновение почувствовал себя человеком семейным.

На душе стало хорошо и спокойно. Были бы такие поездки чаще, а кафе подле общежития оставалось бы и дальше таким же...

Пообочь дороги гребли колхозницы сено, смахивали пот концами косынок. Там и сям виднелись на лугах копны. В автобусе приветно замахали колхозницам, но те не ответили, проворно вороша сено.

— Вот остановиться бы и помочь?!— высказался кто-то к удивлению всех. Сразу даже и не поняли: человек всерьез сказал или пошутил. Предложение казалось заманчивым, и многие начали соглашаться. Однако крикнуть водителю не решались. И автобус проехал. Гитаристы подали голос:

— А кто его греб, сено-то? Кто умеет?

— Действительно, грабель-то нет у нас?

— Ну и что?

— Как что, руки тебе не грабли!

— Если у лодыря, то конечно.

Ударили опять по струнам гитар, заглушив перебранку. Но как-то не получалось, не выходило прежней гитарной веселости. Не вязалась она с синими далями, с торжественностью летних дней.

Лариска молчаливо вздохнула и прислонилась плечом к Родиону. Говорить не удавалось. Одно из двух приходилось в автобусе: либо во весь голос надрывно петь, либо молчать.

Тот день, когда в глаженем синем халатике подошла Лариска к его станку,— тот день назвал Родион для себя высоким. Старательно и неумело обмеряла и складывала она детали. Он не знал тогда еще ее имени. Он слышал только, как произнесли ее имя другие, и, придя назавтра, сказал без тени смущения:

— Нас забыли вчера познакомить. Меня зовут Родион, а фамилия моя — Ракитин.

— Мне говорила начальница.— И протянула как давнему знакомому руку: — Лариса...

— Болит?— кивнул он на забинтованный накануне палец.

— Заживает.

В белом воротничке, в косынке, заправленной на груди в темно-синий халат, Лариска напоминала ему случайно впорхнувшую ласточку, оказавшуюся среди непривычного грохота и гудения. На халате ни пятнышка. Когда-то любил Родион наблюдать, с какой заботливой аккуратностью лепят ласточки свои гнезда. Где они поселяются, там, гово-

рят, бывает и счастье. Так вот, подобно ласточкам, создают свой семейный уют и женщины. На Лариске было сейчас простое легкое платье, сшитое самой в начале лета. Лицо и руки тронуты легким загаром.

\* \* \*

Над краем речной разгулистой шири, с высоким глинистым берегом и соснами наверху, остановился автобус. Сливался в зеленую крепость неподалеку лес. Подступал к песчаному берегу.

Место облюбовал Родион под соснами, над самым желтым обрывом.

Жизнь по-своему не раз манила его к горам, влекла к морю, в степь, на уборку хлебов, и все же в любых краях не оставляла его прочная память о лесе, о местах, где вырос. То бочажок, то лесная опушка иногда припоминались совсем некстати.

Сторона, где мальчишкой когда-то рос он, была лесная. И потому, когда становилось от цеха и городского уличного шума неведомо, он выбирался, случалось, электричкой или автобусом за город. И сами собой забывались, пропадали заботы. Или, наоборот, осмысливались — спокойно, умудренно и обстоятельно.

Склонами обрыва отдыхающие спускались к воде. Окунались, ложились на теплый песок. Сбоку от Родиона покоилась чья-то раскрытая книга. «Счастья нет и не может быть, — прочел он чеховские слова, — а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном...»

Подошел парень, извинился и унес книгу. Слова эти перечитывал Родион перед выпускным сочинением. О счастье и смысле жизни случались на уроках литературы споры. Последний раз были в конце весны, когда выступал одноклассник с текстильного комбината: «Счастье, радость — дым, туман. Подует ветер и унесет. Вот мой батька. Сколько земли обработал, перепахал! Шестьдесят лет хлеб сеял. Семерых нас вырастил. Был ли он счастлив — не знаю. Но до конца дней кормил мир хлебом. Чистая честная жизнь. Жаль, что я теперь только начал понимать его. Я так думаю, если человек честен в труде, он честен и в остальном. Он благороден. Жив своим святым делом. Хочешь узнать человека — взгляни на его работу. Узнай, какой смысл людям дает она».

Незадолго перед тем умер у парня старик. Ждал, когда придет проститься сын. И не дождался. Парень мучился. И говорил, что не простит себе, что поздно понял жизнь отца. В детстве ему говорили больше о жизни героев, об их мужестве, а вот сам он, без всякой подсказки вдруг понял, что его отец, простой сельский старик, пахавший всю жизнь забытую многими землю, был в сущности мужественный человек. В его труде был огромный смысл. И этому труду до последнего дня оставался он верен.

Странно, но от слов того парня многие задумались тогда и о своем труде. Какую пользу кто приносил, чем жил? И неловко на диспуте стало говорить вдруг о счастье, радости. Захотелось открыть в себе тот единственный смысл, для которого ты рожден. Но как это часто бывает, когда приходится в один день спешить и в школу и на работу, ломать долго голову оказалось некогда.

— Ты о чем задумался?— спросила Лариска.

— Знаешь, а ведь сено-то можно было сносить в копны просто руками,— высказался Родион, глядя на заречные пойменные луга.— Когда не хватало в колхозе грабель, у нас так и делали.

— Подскажи, устроят подшефник.

— Зря смеешься. Я здесь думал о товарище из нашего класса, а точнее, об отце его, простом старом колхознике. Мне сделалось почему-то не по себе. Мне кажется, никто не понял души того человека. Не постиг ее. Не пытался постигнуть. Только сын впервые задумался. И стал, наверное, сам человечнее. А если бы в суете да занятости не постиг бы сын отцовскую душу, мы и не узнали бы, какой это был старик. А теперь и я думаю о нем. И свою жизнь выверяю. Хорошо, что его родители прожили жизнь так, что могли теперь быть для него примером.

Теплый ветер из-за реки обвевал их лица, кудлатил Ларискины волосы. Они были светлые, как выгоревшая на солнце рожь. Далеко вокруг тянулось зеленое торжество жизни. На реке шумели, пели, всюю веселились. Временами Родиону казалось, что с ним ничего и не было, не случилось.

— Спеть бы что-нибудь,— сказала Лариска.— Маленькой мне говорили не раз, что я хорошо пою. Записали в кружок. И я выступала в детском хоре солисткой. А отец уверил, как только я подрасту — пришлют самолет, на котором я полечу петь свои песни всем.

— И что же, был самолет твой?

— Я росла и ждала все, видела, как пролетал он над нашим домом.

— Жалко, не опустился,— улыбался Родион.

— Не опустился вот.

Они говорили и просеивали сквозь пальцы песок, сыпали с ладони на ладонь. Теплые песчинки попадали на тело и щекотно скатывались. Совсем не к месту Лариска заговорила:

— Выслушай-ка меня, Родиоша. Станок Дементий налаживает, так?

— Знаю. И что?

— Не спрашивай старого, спрашивай бывалого. Дементий — станочный доктор, не первый год в комиссиях. Поговори. Он мудрец.

Родион пообещал, желая сменить скорее разговор.

— А хочешь я?

— Что?

— Поговорю с ним. Он нас с тобой уважает. С квартирой обещал помочь. Через завком.

— На днях там заседают,— сказал Родион.— Мое заявление тоже разбирать будут.

— Вот здорово, если тебе дадут квартиру!— радовалась Лариска.

— Почему мне? Нам обоим.

— Пойдем купаться,— прервала она, дождавшись именно тех слов, которые ей хотелось от Родиона услышать.

\* \* \*

Сновали по реке прогулочные пароходы и катера, увозили в дальние места отдыхающих. К полудню судов стало больше. Родион с Лариской выплыли на середину реки, где зыбкие волны от проходивших судов с упругой силой качали купающихся. Они плыли рядом и не переставали смеяться, говорить.

Басовито рокочущий гудок теплохода затрубил над самими их головами. Родион не успел оглядеться, как раздался растерянно-испуганный девичий крик, звавший на помощь. Лариса обхватила Родиона за шею. Валом перекатываясь, понеслись одна за другой к берегу волны. Задыхаясь, Родион попытался разнять ее руки — напрасно. Глубже и глубже он уходил с ней под воду. Покидали силы. Разрывало грудь. Ее руки как будто оцепенели. Правая нога ощутила неожиданно ил. Уйдут, уйдут ноги в ил, и тогда уже...

Другой ногой он нащупал случайно попавшийся камень. Выдыхаясь, сделал этой ногой толчок, заработал изо всех сил руками. Он не помнил, как всплыл, как нес Лариску по воде к берегу. Девчонки увели ее тотчас в сторону. Обесиленный, он побрел один в поле, где над клеверищами журчал на ветру жаворонок. Кажется, пела в вышине чья-то душа, играл на невидимой свирели кто-то.

Мало же, оказывается, надо для счастья — просто жить. И ничего больше. Родион лег на спину. То шумя, то шушукаясь, качаются верхушки сосен. Ими кто-то размахивает, водит из стороны в сторону, и сосны то наклонятся, то взметнутся. И тогда можно заметить, что сосны смуглые и такие же стройные, как тела загорающих, как светлоросая его Лариска...

\* \* \*

Когда назавтра вернулся он из поездки, перед глазами все еще стояли деревья, качались над обрывом, не переставая шумели. И словно бы шумом повгортывали одно и то же: жить, жить...

День продолжался от их неустанного, неусыпного шума. И в солнечном дне откуда-то возникал, виделся Родиону малыш, бегающий от сосны к сосне, смеющийся, хлопающий в свои маленькие ладоши. За ним гналась Лариска, и голос ее то усиливался лесным эхом, то пропадал в горячем полуденном ветре. И шел к малышу и к ней Родион. И казалось ему, что он тоже ребенок, обласканный теплым ветром.

В поездках и дорогах с тайной надеждой часто мнилось ему встретить одиноко глядящую в окна вагона на равнинную снежность девушку, да такую, какую еще нигде не встречал он.

А когда подойдет дорога к концу, навсегда остаться друзьями и ждать затем писем, думать, гадать, надеяться. Родион уверился, что судьба однажды подарит ему эту девушку, сведет с ней. Думалось, что только в пути, в дороге и можно увидеть необыкновенное, встретить желанное. Так бывает, когда начинаешь думать о предстоящем, наверстывая одновременно упущенное, догоняя жизнь, заново приобретая утраченное.

И еще не забывалось им: девушка, которую встретит он у окна вагона, окажется обязательно выпускницей, кончившей только что школу. И он, немало исколесивший, пора-

ботавший и вроде бы даже кое-что видевший — будет для нее старшим, будет самую малость, самую чуточку умудренней. У него есть право на это, как у старшего и повидавшего оно и должно быть.

В Лариске он видел мечту своей юности. В этой мечте недоставало лишь поезда. Вместо вагона он встретил Лариску у своего станка. Быть может, оттого и вспомнился ей этот станок в воскресный день на берегу обрывистой речки. Он свел их, прежний станок, теперь разобранный.

Иногда Родиону хотелось сесть вместе с Лариской в поезд и ехать сутки-двое, где открывалось бы рядом то, о чем оба мечтали. И уже видел он, как едут вдвоем они к морю, и оно вот-вот заблещет, как пересекают степи, приближаясь к горам, различая их диковинно поросшие склоны.

Верилось, что будет рано или поздно такая поездка.

\* \* \*

Вторая неделя шла, как стал он разнорабочим. Был в другом цехе, что в конце заводского двора, на отшибе, а дальше — ограда и молодой сад. Здание цеха приземистое, с длинным сквозным проходом. Станков немного, и воздух не наполняется гулом, не нагревается от их работы. Эти станки и предстояло Родиону обслуживать. Ходить, сравнивать работу ремонтников со своей — на токарном полуавтомате. В наладке и чертежах ничего особенного — понятно, доступно, если взглядишься да вникнешь. Случалось, ремонтник поднимал голову, звал на весь цех, в полный голос:

— Подсо-о-обник!

На зов надо спешить: складывай, отвози, подвози кому-то детали и заготовки. А кончив, стой и смотри опять на склоненные у станков береты и кепки. Стой, жди, пока вновь тебя не покличут.

От такого ожидания становилось невмоготу. Не было тех быстрых, точных движений, к которым привык Родион, работая у себя в цехе. Разное приходит в такие минуты. Дело доброе — и думы легкие. А тут не понять, кто ты, каким делом занят... Невелик был смысл этого дела. Подносить и оттащить мог бы каждый.

Одна утеха — нагрузить стружкой тележку и, с ходу толкнув, вывалить ее в яму. Удивляясь, всплеснет руками уборщица. Дело минутное, не частое, остальное время ли-

бо слоняйся, либо размышляй где-нибудь стоя. Засмеют, если сказать кому, где ты работаешь.

Старик Горликов — мастер ремонтников, был с Родионом заметно предупредителен. Отношения его были не как к провинившемуся, а скорее как к новичку, только-только переступившему проходную. Возможно, мастер догадывался о его состоянии, а возможно, вид делал. Родион ждал в новом цехе другого отношения. В сущности, его могли бы оставить и в прежнем, не все ли равно, где отбывать наказание, но почему-то перевели сюда — мест, что ли, в своем не хватало... А может, хотели, чтоб глаза не мозолил? Никто не знал его здесь, кроме одного-единственного давнего знакомого — Дементия Штарева, который тоже теперь бывал здесь редко.

В отношениях Горликова и Дементия была приметной одна особенность. Родион не придавал ей вначале значения. Удивительны были их отношения: один почти не бывал в цехе, а другой и не требовал этого, словно так и надо. Если появлялся где-нибудь Горликов, Дементий тотчас уходил.

Они, пожалуй, и не стремились встречаться. Дементия видели редко, работал больше в других местах. На таких людей начальство смотрело по-своему. Оно не выпускало из виду их, но и не нажимало, вынужденное негласно считаться: ушел человек — надо, по общественным делам отсутствует. И это превратилось незаметно в привычку. И только свежий глаз мог заметить, что отношения Горликова и Дементия заключали и нечто большее, чем привычка, узреть которое легче других было разнорабочему, за день бывавшему в различных местах цеха и невольно знавшему и примечавшему, что творилось не только в его смене, но и в других.

На его взгляд Дементий и Горликов людьми были стоящими, странность их отношений вызывала у Родиона внутреннюю досаду. Хотелось, чтобы люди эти были друг к другу добрее и чтобы их дружбу и взаимопонимание видели бы многие.

С ожесточенным рвением катал Родион тачку, перебирая в уме прошлые дни свои, и они как бы виделись ему прочитанной перед этим книгой. С работы забегал в библиотеку и допоздна читал потом в своей комнате. И не мог уснуть. Сон не приходил. Одно забытье вместо сна было. Он гнал от себя прожитое. Гнал день за днем, чтобы наступил день новый.

Станок его действительно ремонтировал Дементий Штарев. Состоял он членом завкома, входил в две комиссии: по жилью и разным трудовым спорам. А споров никаких Родион не знал. И никакого опыта не имел; что там опыта — представления не было. Спорил он в жизни только на диспутах: о любви, долге, честности.

\* \* \*

Выбрав время, когда пустовала тачка, заглянул Родион в прежний свой цех. Дементия не оказалось: позвали наладить срочно в термитном конвейер. В майке, брезентовых штанах и рукавицах, снимал он с конвейера, ползшего из подземелья неторопливо, длинными клещами не остывшие после закалки детали. Проверял. Опробовал. Утирая пот, кивнул Родиону. Посмотрел шкалу на щитке — выключил конвейер, включил второй. Показались детали побольше — длиннее, увесистее. Время явно не для разговоров. На минуту оторвался, пообещал скоро сам прийти. Куда? В сад за оградой. Там и поговорят. И почему в сад, а не куда-либо еще. Родион не спросил. Ему было все равно.

Наступил перерыв. Он подошел к скамье, где сидел уже Дементий. Обедал Родион обычно в столовой. Сегодня он намеревался позвать и Дементия, но опоздал: тот уже раскладывал принесенную с собой снедь.

— Ну, можно начинать, — сказал Дементий, когда Родион подошел. В руках Дементий держал откупоренную бутылку.

— Давай по-быстрому. Стаканы надо вернуть. Из газированных аппаратов взял. Держи.

— Да с чего это ты?

— Ты бери. Рассуждать потом будешь. Весть для тебя припас. Таковую, что ахнешь! Уж теперь тебя вернут в цех. Совершенно уверен. А пока в честь концерта... выпьем.— И он протянул Родиону огурец и стакан с водкой.— Сегодня ж концерт для нас. По заявкам. Ты что, не знаешь? Там и моя есть заявка.

В репродукторе в самом деле объявили концерт. Зазвучала обычная повседневная передача «В рабочий полдень». О ней сообщил прежде радиоузел. Кто мог, выходили слушать во двор: сами ведь концерт составляли. Дементий же затесался в сад.

— Люблю вылить вот так, — рассуждал он.— Втайне куда интереснее. Есть тут изюминка.

Родион подумал, что вот-вот спохватятся и наверняка будут стаканы отыскивать. Об этих исчезающих в перерыв стаканах давно уже поговаривали. И проучить кое-кого собирались многие.

Из репродуктора же разносилось: «Вижу чудное при-волье, вижу нивы и поля...» Под песню словно бы шел где-то поезд и нескончаемо проплывала под небесами даль.

— За тебя, Дементий, за твою заявку.

— Вот те и рабочий концерт. Неплохо, а? Очень неплохо!

Песня ли разбередила, нашла ли душевная смута, а только чокнулся Родион. Была не была! Пришло шальное на ум. Подумаешь, катать тачку, это не на станке точить. Тачка, она и есть тачка: ломать голову не приходится. Не все ли равно, каким будешь катать ее, трезвым или навесе.

— Постой, а ведь кого-то несет?— сказал испуганно Дементий, успев, однако же, выпить.

— Правда, кто-то идет...

— Никак, Сипов.

Дементий тут же скомандовал — убирать. Мигом смахнули со скамьи бутылку, спрятали под газету стаканы. Второпях бутылка упала под ноги, полилась и выкатилась на дорожку. В четыре руки метнулись к ней. И не успели.

Дорожкой сада к скамье, где сидели, ковылял Сипов. Он был уже рядом. И не мог не видеть.

Позже Дементий рассказывал, что в жизни не переживал так, как в ту минуту. И вот странно, Сипов лишь поздоровался. И прошел как ни в чем не бывало. Правда, на часы почему-то глянул. А заметил, не подал ли вида — понимай как хочешь. Лучше бы сказал что. По крайней мере, было бы тогда ясно.

— У-у-у, проклятая!— пнул Дементий ногой бутылку.— Чтоб тебя... Лишат тринадцатой зарплаты.— Он длинно выругался, плюнул зло на ядовито-зеленую этикетку. На ней были в один ряд буквы.— Несдобровать нам от этой встречи. Чует мое сердце.

— Брось. Не видел он.

— Не ви-и-идел? Все видел!

— А почему смолчал?

-- Спроси, поди.

— Сам спроси.

Дементий тут же заторопился, сказал, что в цех не пой-

дет сейчас, есть у него дела в завкоме. И чтоб о встрече с Сиповым никому не болтал. Он спросил Родиона:

- Аттестат, говорят, получил?
- Получил.
- И что дальше?
- Думаю в институт подаваться.
- Вроде жениться намеревался.
- Я на вечернее собираюсь.

Дементий не ответил. Он думал о чем-то своем и об аттестате спросил, наверное, просто так. Что-то сейчас не давало ему покоя, заметно тревожило, настраивало на невеселый лад:

- Плохо, Родион, дело.
- В каком смысле?
- Откуда бы Сипову догадаться...
- Он случайно набрел.
- Как бы не так! Кто-то сказал ему...

Понуро и тихо уходил Дементий из сада. И Родион так и не узнал, о чем хотел Дементий сказать ему.

\* \* \*

Под окнами общежития темнели деревья. А над городом разливался уже короткий летний рассвет. Последняя звезда одиноко и запоздало светилась над горизонтом. Родион проснулся. И лежа вслушивался в ранние рассветные звуки. Ночью ему приснился давно умерший брат. Во сне они с кем-то дрались, потом рыбачили. Потом виделось, как мать поливала грядки, таскала большие ведра. Родион хотел и не мог помочь ей. Когда он потянулся к ведру, послышался скрежет станка. И мать с ведрами куда-то исчезла.

То были уже не пережитые ребячьи сны, перед которыми сладко мечталось, то были сны, перед которыми и после — непременно думалось. И снилось, не исчезало долго тревожное. Иногда и взрослого тянет на время побыть ребенком. И он засыпает иной раз с тихой улыбкой, радостно возвращенный к детским печалям, либо недолго нежится, глядя на комнату в лучах солнца, напоминающего мальчишку, который навел со двора зеркало, дразнясь, давая о себе знать зайчиком. Солнце велело идти работать. И нельзя было не повиноваться этому радостно высокому свету, никогда не меняющемуся от любых твоих неурядиц.

Солнце ударило разом сквозь занавески, оживило стены, словно бы вселило веселого к тебе человека. Была рань.

И такая рань, что ни одна дверь пока не скрипела. Просыпаться по солнцу Родион научился от отца с матерью. Они всегда были на ногах, когда, веселя душу, бодро всходило отдохнувшее за ночь светило. Оно предвещало чистое небо, счастливый день, разом с солнцем и ты становился как будто чище.

Он прошагал к заводу. Вошел первым в пустующую раздевалку. В ней захлопали вскоре дверцы, повисли зыбкие пласты сигаретного дыма.

— Футбол кто смотрел вчера?

— Я смотрел.

— Какой счет?

— Да какой — два ноль.

— В чью пользу?

— В нашу.

— А я вчера был в парке после работы.

— И что видел?

— Комнату смеха смотрел.

— Нагляделся?

— Небось впервые толком себя увидел.

Из-за соседнего шкафа легким жужжанием доносился разговор:

— Жмет он обычно тупым резцом. Угробит новый станочек. Как пить дать угробит!

И другой голос, с натуженной хрипотцой, — должно быть, снимал сапоги:

— Что ему... — грохнул обувью. — Ему славу дай. А с ней он потом на любой станок сбежит. Со славой жить проще.

Слышал голоса Родион, и не терпелось швырнуть к ним рваные штаны или ботинок, как иногда это дурашливо делали. А уж когда в раздевалке на тебя сверху что падало, значит — говорилось не то.

Рядом был запертый шкаф Агафончика, являлся он в раздевалку первым или последним. Любил переодеваться без толкотни, без суеты.

— Здорово! — Агафончик незаметно пробирался проходом к своему шкафу. Родион ответно кивнул.

— В ремонтном смена вроде бы позже.

— Встал так.

Почему — Родион не сказал. Кому интересно, что по утрам тебя будит солнце, да и смешно говорить об этом.

— Не до сна сейчас тебе... — Агафончик ждал, когда Родион отзовется, но тот не спешил, копался в своем шкафу,

точно бы и не слышал. Не в том главное, спал он или не спал, а в том, что приберег Агафончик некую новость.

И не ошибся Родион.

— Станок твой сегодня пускают,— произнес Агафончик так, будто он, а не Дементий делал этот ремонт.— Знаешь, уговорили меня поработать.

Агафончик словно бы извинялся. Дверцы открытых шкафов заслоняли их лица, и Агафончик не видел, как, надевая берет, задержалась рука Родиона. Перевести с фрезерного на токарный, зная заведомо, что с новой операцией человек не знаком — не то что рискованно, а и безрассудно было. Чем же расположил к себе Агафончик начальство? Чем заслужил такое перемещение? Были же и другие, кто знал эту работу исправней и лучше. А вот не поставили, не перевели тех, других, лучших. Помогала чья-то рука Агафончику. И ради чего? С какой стати?

Ни малейшего удивления Родион не показал. А чтобы не выглядело затянувшееся молчание долгим, сказал, что об этом он знал уже.

— Будешь отбывать срок?— спросил Агафончик, как показалось, сочувственно.

— Увидим.

— Я бы уволился.

— От себя не уволишься.

Кто-то прокричал Агафончику:

— Как жизнь в новой должности, Агафон?

— Нормально.

— А все-таки?

— Да как у желудя. Не знаешь, каким ветром сдует, где упадешь, кто съест.

— Жалуйся.

— Кому? Как в анекдоте том старом: дубы вокруг.

— Так уж и дубы?

— Представь.

— Агафон, Агафон, если бы только ты походил на желудь.

— На кого же по-твоему?— вмиг насторожился Агафончик.

— На ту, которая ест.

Грянул такой хохот, что дым от курицы вколыхнулся. Агафончик поспешил в цех, на ходу закатывая до локтей клетчатую рубашку.

Пришел Сипов. Растворил окна настежь. Сквозняк гульнул меж шкафов.

— Да ведь холодно, Анатолий Иванович?

Сипов достал из шкафа халат.

— Гм, холодно!.. Я всю войну в трусах проходил. И ничего — жив! — перекинул халат через руку, вышел, не вступая, не втягивая себя в споры.

— Именно проходил, а не провоевал, — бросили тут же вослед. Окно закрыли, рассудили:

— Что ж, воевать в трусах — это тоже не всякий может!

Да, не заскучаешь в раздевалке: любую сонливость прогонят. Родион направился к раздевалке. По заведенной привычке приходил утром к смене в своем цеху. И оттуда уже шел к ремонтникам.

Проходя в этот раз мимо доски приказов, он увидел рядом с приказом о себе другой, о переводе Агафончика. И, читая его, слушал звук своего отремонтированного полуавтомата. Грудной, стелющийся, с интервалами в полторы минуты, — привычный голос станка. Этот голос надолго запоминается. Его отличишь от множества других голосов, подобно тому как узнает наездник по голосу своего коня.

Агафончик гонял отремонтированный станок вхолостую. Припадал ухом к коробке, вслушивался, потирал, заметно волнуясь, ладони. Видно было, робел, чувствуя неисправность, а угадать ее, определить точно — не мог. Родион, собственно, и не намеревался останавливаться: зачем задерживаться, мозолить глаза. Но ноги как-то сами собой ближе к порогу замедлились. Бред он, конечно, все так же к выходу, но уже укороченным, сбивчивым шагом. Вразнобой с мыслями.

Гудел станок заметно расслабленно, с перебоями. Будь неисправной коробка, он непременно стучал, гудел бы иначе, но стука не было. При таком гуле обычно крошились резцы, шла выюном стружка.

Не утерпел Родион, у самого порога не выдержал. Вернулся.

— Проверь приводные ремни, — сказал он Агафончику, удивленно уставившемуся на непрошеного советчика. И пока мял в руках ветошь, Родион сдернул кожух взглянул на пазы электромотора:

— Смени от края второй ремень. И натяни правый потуже.

Прежним шагом, не раздумывая больше, не останавливаясь, направился через двор к ремонтному цеху. С деловитым спокойствием, как после встречи со старым и добрым другом, проработал он до обеда. Усердствовал даже от

утреннего в душе настроя. Дементия он уже и не искал и в сад в перерыв не заглядывал. Удивительное дело — оказывается, и на новом месте можно приработаться, привыкнуть, если занять себя. Привыкнуть-то можно, да зачем? Сняли с Доски почета, убрали флажок над тумбочкой, перевели в подсобники, а он вроде доволен, успокоился.

Не работа в роли подсобника пугала, а запятнанная на весь завод честь. Имел взыскание, снят со станка — пусть, но ведь и на Доске же почета был? Цех, конечно, упомянут после него на собраниях...

Обедал Родион, когда уже очереди в столовой не было. Только мастер ремонтников Алексей Алексеевич Горликов и был там. Пожилой, изрядно лысоватый и коренастый, загородив в кассу окошко, читал меню. Мастер иногда садился за его стол. Ел и не переставал расспрашивать: где рос, учился, служил, что вообще видел. Спрашивал как-то не сразу, а исподволь, постепенно, и чего добивался — ни Родион, ни другие — толком не знали. По-видимому, был у Горликова свой, доступный не каждому метод определять человека.

О работе же мастер не говорил, и казалось, что интересовало его это меньше всего. Вступать в разговоры сегодня Родион не хотел и подождал, пока Горликов прошел с талонами к кухне. Получив обед, мастер сказал:

— Зайдешь после перерыва, ладно?

— Хорошо.

Что-то, наверно, сделать надо. Вот и зовет. Оставалось время побыть на воздухе. Посидеть в курилке, послушать о житье-бытье.

Под окнами корпусов — квадрат густой разросшейся смородины. Внутри квадрата — курилка — ящик с песком. Прежде это место постоянно из окна виделось. Понадобится дежурный электромонтер или слесарь, просят глянуть в курилку. В знойный день не найти места лучше этого. Белое светлое небо, ветер, мотающий кусты смородины да обрывки несущихся по радио песен...

Почему-то когда присаживался здесь Родион, он сразу видел себя в дороге. В такую минуту его тянуло бродить по мягкой траве, по тенисто-солнечным скверам города, глядеть с речного моста на пароходы и речные излуки, уводящие в загородный простор.

Вечером кусты в курилке окутываются сумеречной тьмой, и от них тянет в открытые окна влажным песком

и туманом. Как только кусты сольются в неразличимую темень, над ними замигает звездами летнее небо.

В цехе наступит деловитый вечерний ритм. Исчезнет полдневная суета, лишние люди и с ними дневная неразбериха. Командует цехом один лишь мастер. Кажется, что от этих ушедших в себя людей будет раньше времени и конец ночной смены.

Днем курилка пустует редко, разве что в дождь. Здесь полно курящих и некурящих. В курилке делятся новостями, жуют бутерброды, раздвигая кусты, выскивают созревшие к концу лета ягоды.

Как пчелы на мед, тянутся после столовой на смородинный запах курилки люди. Потянуло и Агафончика. Шел в новом, обрызганном эмульсией комбинезоне, длинноватом и потому старательно у щиколоток завязанном. Разгульный ветер надувал штанины, делал их похожими то на перекапти-поле, то на цыганские шаровары. Надутые штаны придавали Агафончику важность. Он то и дело гасил их руками, видя улыбчивые в курилке лица.

— Посижу, пока черед подойдет

— Давно никого нет.

— Все равно покурю.

— Покури.

Агафончик пристроился рядом с Родионом. Достал портсигар, предложил сигарету, хотя и знал, что тот не курит. Из одной половинки извлек мундштук, из другой — сигарету. Размял, вздохнул. Поглядел вокруг:

— Скоро кончат?

— Не знаю.

Подле приземистых старых цехов — давно возводились новые, где в скором времени предполагали выпуск деталей более крупных, еще не освоенных. Делать их надеялись многие, и каждый перерыв говорили об этом.

— Получается петрушка-то какая... — продолжал рассудительно Агафончик. — Ну проработал ты, скажем, год, ну два на одном месте, да и сбежал потом в новый цех. И после тебя хоть трава не расти?

Родион мимоходом вставил:

— Всех не пошлют в новые цеха.

— Лучших, наверно. Не слышал кого?

— Кто грамотнее да дело любит, того и пошлют.

— Не-е-е, брат. Скорее всего холостяков. Вообще, побывать там неплохо, — быстро закончил он.

Солнце — над самыми головами. И меньше тень от кус-

тов смородины. Но в цех никого не тянет. Когда смена кончится, солнце будет уже за городом, только и можно его видеть — утром да в перерыв. Пусть светит. Пусть греет лохматые да седые головы, пусть обливает теплом поцарапанные о металл руки.

Странный все-таки человек Агафончик. Живет в нем дружелюбие, живет и скрытность, и только настроишься, отзовешься душой на его участливость, как тут же тебя охладит, прорвется в нем нечто скрываемое до поры до времени... Заводские новости он узнает от кого-то первым: когда и где сдадут новый дом, кому выделят в доме квартиру, накануне праздника премируют и бог весть что еще.

Заработок — одна и та же излюбленная у Агафончика тема. Возражай, доказывай — на своем стоять будет: «Я лошадь хоть и старая, да борозды не испорчу».

Тут ничего не скажешь. Самый дотошный мужик в механическом — Агафончик. Станок вычищен, инструмент в полном комплекте — под замком в тумбочке.

— Разобраться, так кому хочется застревать в старом цехе.— Вытер рукавом пот с пролысин, продолжил с весо-мой неторопливостью, выжидательно обводя бойким взглядом:— Новые операции пока освоят, да ежели еще работать с умом — будешь иметь неплохо.

Сидели, слушали Агафончика. Явно прикидывал, выводил человек — не дать бы маху, оставаясь в старом цехе на станке Родиона.

— Ты, Родион, здесь после армии. Так сказать, человек свежий. Помнишь, говорил я тебе — не жми. Убеждал. Нет. Не послушался. Теперь будешь маяться, заготовки кому-то подтаскивать. Брал бы расчет, коли так. Страна теперь наша в заводах. Везде нужны люди.

— Мне и тут хорошо.

— Хорошо, да не очень. С Доски почета быстренько сняли.

— Снимали и не таких. Не чета мне.

Не обращая внимания на слова, Агафончик принялся вышибать окурки. Вышиб. Встал:

— Побегу. Хорошо рассуждать тому, у кого тыщонка на книжке.

Курилка растревоженно загалдела. Загудела разом.

— С тыщонкой всяк проживет. Ты без нее попробуй.

— Да что там, мужики,— золото. Светило бы солнышко!

— Смотрите, солнышко ваше никуда не денется. А без

денег...— Подчеркнуто важный и независимый медленно скрылся Агафончик в дверях столовой.

— Большой говорун — плохой работун.

— А мне его, признаться, и жаль,— рассуждали в курилке.— Спроси, для чего живет, он и сам не знает.

— А ты знаешь?

— Я-то?

— Да. Ты-то.

— Живу, чтоб жить. Старики говаривали: помирать собираться. а поле засевай.

— Твой Агафончик умрет, а сберкнижка останется. А для чего копил? Для кого?!

— Оставьте, братцы. Никакой у него сберкнижки. Не одно место сменил, пока где-то с Сиповым не сдружился. От добра добра не ищут. Он и Родиона толкает: увольняйся, мол. В другом месте примут.

— И не думай, Родион. Где хорошо, туда не зовут.

— Откуда Сипов выкопал его?

— Не говори. Спросить бы.

— Спрашивали.

— И что?

— Я не отдел кадров, отвечает.

— Говорите, богатство. Какое там богатство у Агафончика! Был у него как-то. Две комнаты в общей квартире, жена, дочка-школьница, мать старуха — от чего богатеть-то? Это бедности он своей стыдится. Вот и твердит и несет: без рубля жизнь не жизнь. Оно так, конечно. Одному солнышко, а другому — машину под окна. Сидим вот, солнцу радуемся, зелени. А уберика ты все частные гаражи в городе да посади на том месте смородинные кусты — разве так дышалось бы? Прежде говаривали: не вырастил дерева — зря жизнь прожил, теперь некоторые только и думают, как сломать дерево да гараж построить. Тебе подземный переход соорудят, вниз загонят, а ему, вишь ли, по воздуху ездить надо, по верху, по земле.

Густой запах смородины перемешивался с табачным дымом. Солнце светило яростнее, становилось жарче в курилке. Тени от кустов начисто растворились. Потом разом все встали, побросали окурки в песочницу, начали расходиться.

— Не тужи, Родион. Образуется. У кого не бывало, с кем не случалось. У меня одно, у тебя другое, а у него — третье. У каждого что-то случается.

— За битого, говорят, двух небитых дают.

— Ладно вам.

— Он сам кого хочешь утешит. Не тот парень, чтоб раскисать.

И вроде бы ничего особенного Родиону и не говорилось, а все равно оттаивал он от мимолетно сказанного, от дружеского участия. И думалось уже не как раньше, что ты один на один со случившимся, а с надеждой постоянного ожидания лучшего.

\* \* \*

Запоздало появился в последний момент Дементий:

— Присядь.

Родион одернул побелевшую от стирки гимнастерку. В ней было куда удобней, чем в похожей на детскую распахонку спецовке. Присели. На лице Дементия — вьезшиеся крапины. Это окалина, похожая на синеватые пятна пороха, что встречаются на лицах у взрывников.

— Надо, Родион, потолковать с тобой.

— Давай.

— Больно ты прытким становишься.

Родион улыбнулся:

— Уж какой есть.

— Я серьезно, — осуждающе продолжал Дементий. — Помни, дурак в воду камень бросит — десятерым умным не вынуть.

— Камней давно не бросаю. Детство ушло.

— Зачем тебя понесло к директору?

— Ну, потолковать, выяснить хотел.

— Что?

— Перевод свой.

— Ну и как? — Дементий иронически глянул на Родиона.

— Говорит, не мог поступить иначе.

— Правильно говорит.

Родион удивился боязни Дементия встречаться с директором. Неужели Лариска просила о чем Дементия? Или рассказала ему о разговоре с директором. Этого он не простит. Он и сам отстоит себя, он не простит заступничества и просить не будет. Не ему бояться работы, выросшему в семье, где встают разом с солнцем.

— Скрываешь ты что-то... — сказал он Дементию. — Считаешь, не созрел Родион.

— По совести говоря, да.

— Скажу откровенно, чего-то недоглядел. Гнал, торо-

пился. Сипов над душой стоял, так что вина, может, и есть моя. Неприятно, конечно, да что поделаешь. Я где-то читал и запомнил, надолго запомнил, как однажды Гагарину предлагали валерьянку. А он взял и вылил, сказав: «Чепуха какая!» Пусть я останусь наивным, но валерьянку глотать не стану.

Так разговаривали они впервые. На заводе Дементия знали давно. И про то, что долго служил он в армии, попал когда-то под сокращение и что город был последним его местом службы, где с семьей и остался он. Наладить станок, рассудить дело какое — считали многие в этом случае Дементия человеком самым что ни на есть подходящим.

Станки действительно знал он, в чем Родион не раз убеждался во время малых ремонтов — и «станочным доктором» считали его не напрасно. Про иные дела Дементия он имел представление смутное, он лишь слышал, как хвалили его к концу года, когда выбирали в завком, и даже подшучивали, говоря, что он зачислен туда навечно. К нему охотно шли с заявлениями, и он принимал каждого. И было видно, что работать в завкоме ему нравилось. Когда Родион решил жениться на Лариске и об этом узнал Дементий, он позвал их в завком и сказал, чтобы теперь уже писали заявление на квартиру: такой порядок. А ему, Родиону Ракитину, чья фотография висит на Доске почета, и сам бог велит. Как было не послушаться. И дом очередной сдавался вроде бы в скором времени.

В глубине души ему сейчас было неловко за разговор с Дементием. Но разве обязательно таить то, что хочется высказать. Он привык к искренности с кем работал, привык к откровенности. И пусть Дементий простит ему, если считает слова его дерзостью.

— Чудак ты, парень,— сказал Дементий.— Ты видишь деревья. Те вон, старые липы?

— Вижу.

Вдали стояли большие липы, возвышаясь величавыми кронами, под которыми встретил Родион в знойный день молодую женщину-мать с коляской и почему-то невольно представил, вообразил на ее месте Лариску. Целая улица была перед ним из этих деревьев.

— Так вот, Родион. Ни одна липа там не растет как вздумается. Их непременно обрежут, завяжут или там отпилят верхушку, залепят, словом, заставят расти, как это необходимо.

Дементий был в майке, вернее, в голубой тенниске. Он

убеждал Родиона в том, чего, по-видимому, толком не понимал и сам, что-то он сегодня не договаривал, скрывал, чего боялся сам... Он явно не хотел, чтобы Родион себя отстаивал. А возможно, и затевал он нечто, о чем не хотел прежде времени говорить. Такое водилось в характере Дементия.

Кто хоть однажды работал в цехе, тому хорошо ведомо, как от нечаянно кинутого взгляда на замершее за окном дальнее облако, от взгляда на почерневшую от непогоды тучу, на веселую во дворе возню воробьев появляется желание оказаться тотчас где-нибудь на лугу, обновить душу... Желание это приходит, когда долго-долго не видишь простора неба, зеленых далей, озерной волны либо дымно-белого облака...

Камень, железо, асфальт, гул да грохот делают душу усталой. Как необходим отдых усталым рукам, телу, голове, глазу, так необходим и душе он. В луговой отстоявшейся тишине стройнее выглядят тогда и разрозненно бродящие мысли.

Родион молчал, а Дементий был занят куревом. От столовой направился к ним Горликов. Дементий сразу заторопился, начал прощаться.

Мастер шел к Родиону, желая что-то сказать. А что? Стружек и невывезенного мусора Родион не оставил. Приходил и уходил каждый раз вовремя. Поводов для нареканий не давал, да и не стремился к ним мастер.

— Убегать, поди, собираешься?— спросил Горликов, вероятно полагая, что у Родиона с Дементием как раз и шла речь об этом.

— С чего бы, Алексей Алексеевич,— спокойно ответил ему Родион.

— Мало ли с чего. Посмотрел я на тебя не так либо работу не по душе дал.— Мастер говорил и медленно двигался меж рядами станков. Шел к своему столику. Родион — следом, не зная: идти, остаться ли. Горликов махнул: иди, мол.

— Нужен мне позарез человек,— сказал он. Родион подумал, что надо где-то что-то срочно убрать, передвинуть, переставить, вывезти, и заявил, что он готов пойти сделать что надо.

Мастер же почему-то не торопился, тянул, снимая с крючка халат. Надел халат, посмотрел некоторое время в глаза Родиону, словно соображал, прикидывал, что за парень появился в его цеху, способен ли он на более важное дело, чем катать тачку.

— Тут нам привезли станок один. Надо расконсервировать. А потом... поставить кого-то работать к нему. Во-он,— показал он рукой на токарный универсал.— Пойдешь?

— Незнаком с таким.

— Дело — лучший учитель,— сказал Горликов.— Была бы охота. Так как, согласен?

— Здесь, Алексей Алексеевич, надо доучиваться.

— Научим!— Горликов подошел к такого же типа станку, попросил Родиона подать заготовку.— Смотри, как надо ее крепить. Теперь подводишь. Ставишь скорость. У вас там скорости постоянные?

— Да.

— Здесь же на каждую операцию своя. Включаешь.

Особой сложности Родион не заметил. В общем-то все понятно, если вникнуть. И в наладке и в чертежах — ничего особенного. На полуавтомате еще не токарь, полуавтомат многое за тебя делает. Родион не без зависти смотрел на тех, кто работал здесь. Что он мог? Быть старшим, куда пошлют?

Подивилась бы Лариска, увидев его за таким станком,— еще как подивилась бы. Хотя и уверял Горликов, что дело несложное, но Родион-то знал: несложно потому, что прежде работал на схожем станке. А поставь-ка на такой станок новичка — долго потеть придется.

— Так как?— спросил Горликов, видя его замешательство.

— Спасибо. Только кто же отменит приказ директорский?

— А его и отменять не надо.

— То есть как не надо?

— А так. Буду закрывать тебе наряды как токарю. Посдельно, пока срок твой не кончится.

— Дайте подумать.

— Подумай. Скажешь погодя.

— Ладно, Алексей Алексеевич.

Сердце Родиона радостно забилося. Стать за настоящий, новый, универсальный токарный — лучше не придумаешь. Вот нос утер бы!.. Сердце ровнее забилося: надо еще, чтобы никто не знал, что стоит он за этим универсальным токарным, иначе... попадет и ему, и старику Горликову. А узнают. Все равно узнают. Не Сипов, так кто другой пронюхает — хуже наделаешь. Найти бы мудрую голову для совета. Рассказать про разговор с мастером...

Тем временем Горликов сел за конторский свой стол,

подписал несколько нарядов — день к концу близился, отложил ручку, позвал опять Родиона:

— Забыл сказать, — мастер улыбался, видя впавшего в раздумье Родиона. — Задание тебе на завтра. Рядом с прежним цехом твоим есть куб, то бишь бак масляный. Надо его перевезти подъемником сюда. Будем из него заливать в станки масло. Ясно?

— Ясно-то ясно, да куб тот механического цеха.

— Теперь наш, а им — новый. Мы ведь ремонтники, нам и старенькое сгодится. Понял?

— Как не понять.

— Только сделайте это с утра. Меня не ищите — буду на дирекции

\* \* \*

Поспорил с Сиповым — и уже неуверенность, боязнь дать повод придраться, и вот удивительно — как ни остерегайся, а рано или поздно — оступишься, придерется Сипов.

Знает об этом и он, помнит, кто и когда был с ним резок, знает, будешь ходить оглядываясь. Дело само по себе прошлое, пустяковое, а до сих пор покоя не давало.

...Стояла в разгаре весна. Вылущивались тополиные почки, и асфальт в городе был усеян их прилипчивой чешуей. Устоялись надолго яркое солнце и ситец неба. Метался ветер, подхватывал тополиную чешую, кружил стрекозьими крыльями, заносил в окна цеха.

В полночь в такое время особенно почему-то душно. К рассвету заметно свежеет, и тогда ни о чем другом, кроме кровати, не хочется думать. Плетешься к общежитию едва-едва. Так бывает после работы в ночную. Не легка она в цехе, где не остывает голова от станочного гула. В полночь, под утро не кончается день здесь. И даже этого длинного дня в конце месяца не хватает, с каждым разом ощущимей и ощущимей накапливается в теле усталость.

Из-под резца тянется, падает горячая стружка на дно станины. Выгрести некогда, станина доверху набита дымящимися витками.

Еще несколько штук, еще десяток деталей... От чрезмерно нагретого резца стружка порой крошится, мелкой крупой хлещет из-под щитка и, дымя, попадает в одежду или ботинок, вливаясь горячим крошевом в кожу.

Беда, коль встрепенешься и сразу начнешь стружку вытаскивать. Раскаленное крошево пристанет, прилипнет плот-

нее, усилит ожог. Вытерпи, не шевелись, и кусочек горячей стружки быстро остынет в складках одежды. Потом, в раздевалке, вытряхнешь его. К этим ожогам, напоминающим мгновенный укол, со временем привыкаешь. И только однажды, позже, заметишь, что руки покрыты шрамами-завитушками. Отметины на всю жизнь.

В одну из весенних ночей завершали работу. Уже вымыли руки, переоделись. Миновали конторку Сипова. Мастер дремал, положив подбородок на кулаки, но, услышав голоса и шаги, мигом встряхнулся:

— Куда это?!

— Как куда? Домой.

— Спа-а-ать?

— А почему бы и нет? Смена-то кончилась.

— Оставайтесь. Ну на два часа.

— Все равно много не сделаем. Выдохлись.

Видя, что уговорить не удастся, Сипов сказал:

— Смотрите не подведите!

— Не подведем.

И действительно, назавтра достигнут предел, после которого корить себя вроде бы не за что.

Цех сразу оказался первым. Получили все вскоре премию. Носился на радостях Агафончик. Скрывая хромоту, важно шествовал Сипов. Родиону вручили флажок ударника.

И это было хорошо, потому что наступал новый месяц, цвела вовсю весна, и все так же манило во двор вечернее небо. Там, во дворе, зовущ и крепок был в курилке запах смородины.

И опять просил Сипов:

— Остаться надо, ребята.

— В начале месяца-то?

— Надо, ребятки, надо. Пусть у нас лучше задел будет,— убеждающе и просительно обращался Сипов к работающим во второй смене.

— Да на кой он черт, задел этот? Месяц в кино не были.

— И я не был. Что же делать...— И совсем тихо Сипов добавил:— Учту, не обижу...— намекал то ли на прогрессивку, то ли на премиальные.

Как странно — оставаться после работы в начале месяца. Остаться в полночь. Можно, разумеется, остаться и поработать. Одно непонятно — задание сделали, а суета осталась, издергала в два счета.

Спросили Сипова. Спросили, долго ли будет продол-

жаться так. Хотел отмахнуться: дело, мол, важное — не каждый поймет. Но, подумав, пояснил:

— Один станок на ремонте, в другом подшипники отчего-то греются...

— Дополнительно смену вводите.

— А кого ставить? Кому в ней работать? Да некому, кроме вас!

— Не вечные мы.

— Ну вот. Не вечные! Понимать производство надо. Этих же не пошлешь, — показал на двух подростков, приятых после школы. — Такое натворят — за месяц не расхлебашь. Весь запас резцов пустят в расход.

— В караул бы ваших подростков зимней ночью — мигом бы дурь соскочила.

— Бог с ними, — рассуждал Сипов, — с этими подростками. Скоро их призовут. А нам с вами работать надо. Работать еще лучше. Ведь мы теперь первые, ударники. И должны сделать потому больше прежнего.

Что ни говори, а рассуждает Сипов правильно. Подростков в самом деле поставить нельзя. Парни такие волосы отрастили, что когда наклоняются к станку, кажется, вот-вот волосы наматает. В перерыв они краской вымажут кнопки, подсунут под руку ветошь с деталью, заклинят дверцу шкафа либо принесут в цех лягушку. Привяжут ее за лапку к деталям так, чтобы контролеры боялись и лишний раз не подходили бы к детали.

Есть, видать, люди, к кому поздно приходит зрелость, кто по выдумкам и проказам остается долго мальчишкой.

Бес надоумил Родиона в тот момент, когда Сипов и без того был на взводе, сказать тому, что станок на долгий ремонт могли не ставить, обошлись бы текущим ремонтом. Сипов понаслушал, кивал, поддакивал, а потом коротко бросил враз:

— Подошло время — поставили. Порядок есть порядок. Не нами установлено, не нам и менять.

Разговор, наверное, и забылся бы вскоре, как только приступили к делу, но откуда-то взялся Агафончик, качнул черным беретом и подлил масла в огонь:

— Приучили ребятшек оставаться. Приучи-и-или. Так вам и надо!

Выходило, если бы не Родион да еще двое-трое таких же демобилизованных и до работы притких парней не оставались бы, и все шло бы ладом.

Агафончик подзудил и быстренько отошел к себе — мол,

думайте без меня. Мое дело подсказать, а там сами глядите. Некоторые тут же задумались: не приучили ли Сипова в самом деле?

После обеда мастер обычно ходил по цеху, задерживаясь время от времени у станков, пока шальной виток дымящейся стружки не вырывался и не летел в его сторону. Тогда шарахался от стружки в сторону и почему-то сразу же уходил в свою конторку, где с невозмутимым спокойствием стругал ножичком яблоко. Не любил Сипов горячей стружки, не терпел ее, и стружка вроде бы тоже Сипова не терпела. То ли когда-то она обожгла его, то ли Сипов вообще был непривычен к ней.

Совершая после перерыва обход, Сипов протянул Родиону резцы:

— Возьми. Дополнительные.

— Нехорошо выходит,— начал было Родион. Но Сипов мигом насторожился:

— Что нехорошего-то?

— Ударник вроде я,— Родион кивнул на флажок,— а приходится перерабатывать, прихватывать. Люди что скажут?

За гулом станков приходилось кричать, и Сипов отозвал Родиона к окну, где гул был слабее:

— А сознательность? Где ваша сознательность? Неурядицы свойственны в любом деле, на каждом предприятии.

К окну потянулись другие. Шумели одни вентиляторы, оставленные на миг станки ждали своих хозяев. Появился и Агафончик, с ходу забалагурил:

— Что за шум, а драки нет?

— Вот,— кивнул Сипов на Родиона.— Опять выкинул коника.

— Для тебя же мастер старается, чтоб заработал,— проворчал укоризненно Агафончик,— а ты?

— Помолчи-ка,— осадил быстренько Агафончика.

— Мог бы отгул попросить,— бросил Агафончик уже примирительно.

— Да разве дело в отгулах?— не остывал, не успокаивался Родион.— Пойми ты!

— А в чем, по-твоему, дело?— Агафончик откинул прилипшую на лбу прядь и ждал, уставясь на Родиона. Вынуждал сказать то, что скажет в их смене не каждый, но о чем наверняка многие думали.

— А дело, откровенно говоря, в извилинах. Кое у кого

они не так выгнуты: Надо уметь работать, а не за стул держаться.

— Это уж слишком,— проворчал Агафончик.

Рядом заметили:

— Известно, не каждый может остаться. Особенно те, кто учится. Хлопот полон рот.

— Ну, друзья мои,— развел Сипов руками,— учиться следовало вовремя!

И тут Родион не выдержал, сказало, наверное, напряжение от бессонных ночей:

— Учиться, Анатолий Иванович, никому нелишне. Даже вам. А относительно комбинаций одно сказать надо, делайте их, укладываясь в рабочее время. На чужой спине да в рай...

Пыл Родиона перекинулся на других:

— Ведь правильно говорит!

— Да что правильного?

— Трудовой кодекс читали?

— Читал,— кивнул Сипов.— Знаю не хуже вас.

— Вот там и сказано.

— Что там сказано?

— Сверхурочные разрешены только в исключительных случаях.

— Наш случай и есть исключительный.

— Да в чем же он исключительный?

— Мы делаем детали на экспорт? И не имеем права не отправить их в срок. Понимаете вы или нет?

— Понимаем.

— С нас семь шкур снимут,— вразумлял Сипов.

— Почему с нас? С кого надо, с того и снимут.

— Вы лучше посмотрите, что делается за нами. Хватали, старались, ночей не спали, а для чего?

— Кто это сказал «для чего»?

— Я сказал.— Родион ждал — вот Сипов обрушится на него, но, видя, что тот молчит, продолжал:— Я сказал. Сделанное нами сверх плана часто не идет на выход. Оно остается в цехе, на других операциях. От нас оно уходит, а потом застревает. Мы создаем завал. Посмотрите, сколько скопилось сверхплановой нашей продукции на шлифовке.

— А давайте посмотрим!— оживились собравшиеся, чувствуя, что он говорит не зря.— Давайте пойдем — посмотрим!

Не сговариваясь, подались в конец цеха, где сквозь проем в стене поступали детали после термитной обработки на

шлифование. В термитном с ними еще справлялись, но как только попадали детали к шлифовальным станкам, образовывался завал. Их было слишком много — сверхплановых, лежащих штабелями, неделями ждущих своей очереди.

Станки здесь пропускали ровно столько, сколько могли пропустить. И детали скапливались, напирали, как лед у речного моста.

— От себя, только бы от себя! А там — трава не расти. Надо писать, говорить на собрании — показуха, черт знает что! — Галдели, шумели и порешили на первом же собрании рассказать все. Термитчики тоже хороши: перевыполняли, помалкивали.

Сипов молча глянул и тут же ушел. Разошлись и остальные. Вгрызались резцы. Падала, на лету остывая, стружка.

В машинном гуле живо стоял в ушах каждого разговор. Было над чем подумать. Сделал бы кто прибор такой, чтобы могли вымерять им люди плохое и хорошее, браковать ненужное. И вручить, раздать прибор такой каждому, наподобие тех, что выдают солдатам измерять радиацию.

Собрания весной Родион не дождался. Оказался вскоре в цеху ремонтников.

\* \* \*

Комната у Родиона на двоих. Но сегодня был он один.

Спал город, спало общежитие. А мысли цеплялись, как ключья тумана за оголенные сучья. Да, наивно, оказывается, было писать заявление, вынуждать до хрипоты спорить в душном кабинете людей, за смену и без того намотавшихся...

Гудели далеко за пустырями в ночной тиши тепловозы, стучали колеса вагонов.

Водители запоздало тормозили у перекрестка, и визг тормозов будил спящих. Все улавливает, вбирает в такие минуты сердце.

Поезда... По ночам их шум доносится к Родиону в комнату. Несутся из далей, зовут к перемене мест, подобно журавлиному кличу.

Так вот залетали гудки поездов к мальчишкам в деревню, заставляли прислушиваться к звукам, несхожим с другими, привычно окружавшими детвору звуками.

И оттуда, из минувших тех дней, явилась некая странная, поездами зароненная необузданность.

Ребенком однажды впервые счал Родион с матерью в город. От станции до деревни, где жили — было километ-

ра четыре. Кустарниками и редколесьем уводила от деревни к поездам стежка. Беспредельным представлял детворе этот путь и окружающее его по сторонам.

Стежка в сторону станции — единственная, и помнилась потому лучше других деревенских стежек. Она уводила туда, где пахли густо прогретые солнцем шпалы, струясь, убегали вдаль рельсы...

По дороге в город радостно распахивалось из окна вагона неизведанное, неразгаданное мальчишками. Здесь ничего нельзя было пропустить. На речке, в лесу, в поле у стада мальчишки долго будут друг другу рассказывать об увиденном.

Вот мимолетно показался у пригорка аэродром. На земле самолеты напоминают опустившиеся угловатые облака. Завидя их, Родион прикинул всякий раз вплотную к окну, будто надеялся постигнуть тайну тайн — на кружение над землей, кружение в небе...

Сколько потом ни приходилось ездить этой дорогой, с нетерпением всегда ждал он того момента, когда мелькнут за пригорком в ряд стоящие самолеты. Надо успеть их увидеть, надо схватить самое важное по пути в город. «Ус-петь! У-видеть!» — поторапливали обычно колеса.

И приезжая в край детства, ждет и теперь он на станции проходящего поезда, от которого мигом тают накопившиеся усталость и горечь.

Родион узнал к поездам дорогу. И в знойные дни лета, когда рассеянно сновали в синеве облака, убегал на станцию в одиночку.

«Та-та, та-та, — наперебой стучали, неслись здесь, пели колеса. Дальше быстрее: — Без тебя, без тебя, без тебя! — И наконец протяжно: — Обла-ка, обла-ка... об-ла-ка...» Беспокойное, взбудораживающее и манящее нес в себе их стремительный бег и грохот. Какая-то запрятанная сила в тебе начинала ему отзываться. Метаться, биться, рваться наружу.

Поезда уносились. Быстро затихали колеса. А Родион стоял под откосом, слушал, как не унимается в душе рвущаяся к ним сила. И вместо деревенских стежек, над полями рассеянных облаков — замелькали в жизни степные стройки, общежития, города, палатки, армия...

С поездами оживала в дороге юность. И как журавля, отбившегося от стада, звали и звали они теперь по ночам в дорогу. А однажды летом, когда Родион до усталости нагулялся по загородным полям, глядя, как взвизывает и жур-

чит над своим гнездом жаворонок — ему привиделся во сне шедший с небывалой скоростью поезд. И так же скоро над ним неслись громадные облака. Они увлекали все, что попадалось на их пути. Жаворонок запутался и, сляясь скорее выбраться, пронзительно закричал. От его крика Родион вмиг проснулся. Крик напомнил ему вой станка... Полежал, вслушиваясь в дальний тепловозный гудок, и сам себе показался вдруг остановленным поездом...

\* \* \*

да, наивно было сегодня спорить, вынуждать сидеть в душном кабинете людей, за день и без того намотавшихся. Сдвинулось в жизни привычное, и подкрались незаметно раздумья об уходе, об отъезде...

После работы Дементий посоветовал Родиону не уходить, а ждать вместе с другими заседания завкома. В пустом коридоре среди поблекших плакатов, графиков, стендов собралось несколько человек, чьи заявления по различным причинам должны были разбираться. По очереди вызывали каждого. Подождать было просто необходимо — обсуждались сразу два дела: жилье и характеристика в институт.

— Будь поблизости, — предупредил Дементий и скрылся за дверью. За окном тревожно вспыхивали дальние зарницы, перемигивались с искрами проводов над троллейбусами.

Из-за духоты дверь не прикрыли, и разговор завкома проникал отчетливо к ожидавшим. Обсуждалась первой тихо и мирно воскресная поездка в колхоз. За ней — квартирный вопрос. Говор тут пошел громче. И немудрено: из каждого цеха отстаивали своих.

Кроме Дементия, были Сипов и Горликов, голоса которых пока не слышались. Вскоре зачитали заявление Родиона, написанное так, как подсказал ему в свое время Дементий. Он же и подкрепил заявление своей резолюцией, поэтому на замечание директора, что доводов несколько маловато, Дементию пришлось выступить.

— Ну что парню писать? Жениться намерен. В институте учиться хочет. Надо квартиру дать.

Позвали Родиона.

— Живешь в общежитии?

— В нем.

— Сколько работаешь?

- Два года.
- Жениться твердо намерен?
- Твердо.

Дементия и Родиона выслушали. Многие согласно закивали: дело, мол, ясное, тянуть нечего — утвердить. Пусть себе женится, потомством поскорее обзаводится.

Спрашивал больше директор, лишних вопросов не задавал. И сердце Родиона колотилось, готовое вот-вот вырваться. Ему доверяли, на его стороне были. Понимали! Посовещались завкомовцы, побалагурили.

— Проголосуем тогда?

— Надо, надо.

И когда уже потянулись вверх руки, словно бы нехотя, взял слово Сипов. Заговорил неторопливо, одновременно вытирая платком лицо:

— Конечно, жилье дается нуждающемуся...

— Это известно, Анатолий Иванович.

— Минутку! Я никого не перебивал.

— Не мешайте, товарищи,— заметил директор.

— Однако из нуждающихся,— продолжал Сипов,— предпочтение отдается лучшим, кто проявил себя в быту, на общественной работе, производстве. Если рассматривать Ракитина с производственной точки зрения, то многим известно, что переведен он в разнорабочие. Решайте. Мое дело проинформировать.

Заговорил Горликов. Он вскинул руку, но прежде помолчал, настраивая внимание:

— Он что, этот станок, прямо так взял и поломал?

— Сжег подшипники.

— Как же он жег их?

— Станок не выключил.

— Не скрою,— взял опять слово Горликов,— рассуждает Анатолий Иванович вроде верно. Разнорабочим Ракитин — месяц. Но до этого-то он работал у вас! И как работал! Вымпел, Доска почета. Было или не было, Анатолий Иванович? — спросил Горликов.

— Было.

— То-то же. Я предлагаю квартиру будущим молодоженам дать в одном из очередных наших домов. Далеко отодвигать, на мой взгляд, не следовало бы.

— Как, товарищи? — спросил Дементий, ведший собрание.

— На очередь, чего уж тут.

Проголосовали. Разом со всеми потянулась вверх и рука

Сипова. Следующим разбирали заявление Агафончика, просившего квартиру на улучшение. Агафончиком называли его только в цехе да в курилке. Здесь был Агафонов Сергей Александрович. Кое-кто колебался — давать или не давать, и Сипову пришлось выступить. С Агафоновым он проработал столько, что «дай бог каждому». Но сколько — Сипов не сказал. И везде с жильем не везло Агафонову, в последний момент что-нибудь да срывалось, мешало получению.

— Неужели такое вот и сейчас, а, товарищи? — вопрошал Сипов.

— Трехкомнатную многовато... — возражали ему.

— У него мать живет.

Агафончик молчаливо сидел, зажав меж колен руки, полагаясь не столько на авторитет завкома, сколько на доводы Сипова. От этих доводов зависело теперь его дело.

— Товарищ Агафонов, — обратился директор, — мать где живет?

— Со мной она.

— Да-а... Трудный случай. Нет сейчас трехкомнатных.

— Вы мне лучше дайте однокомнатную. Я в нее мать поселю, — подал идею Агафончик. — Ее потом обменять можно будет.

— Однокомнатную, а где она? — встрял Деменгий.

— Их и так мало, однокомнатных-то.

— То-то и оно. Придется потерпеть немного.

— Как же быть... Вы что-то хотите сказать, Ракитин? — спросил директор. Родион встал, и все обернулись в его сторону. — Отдайте мою квартиру матери Агафопова.

— А вы?

Стало тихо. Так тихо, что машинистка даже притаилась вроде цикады.

— Подожду нового дома...

Кругом загомонили, закашляли:

— Что, товарищи, дадим Агафонову квартиру, наменную Ракитину?

— Дать, конечно, раз уступил.

А как было не уступить. Задержала память Родиона разговор в курилке о житье-бытье Агафончика. Помнилось, как кто-то сказал, что живет Агафончик в общей квартире. И никакой такой роскоши, никакого богатства — живут, как могут. Маленькая уступка проявилась внезапно, выплеснулась сама собой. Он был разнорабочим. Он был наказан. И вряд ли имел теперь право получать эту квартиру.

Последним вопросом разбирали характеристики поступающих в институты. Отзывы давались представителями цехов. Начали выяснять, кому характеризовать Родиона. Решили выслушать и прежнего и нового мастера.

— Как вы, Анатолий Иванович? — обратился директор к Сипову.

— Дело коллектива. Сейчас у Ракитина другой мастер...

— Не возражаю, — ответил Горликов, — пусть поступает.

— Не возражаете-то не возражаете, но ведь человек-то наказан, понижен, — поступок-то налицо! — высказался Сипов.

— Какое уж там! — бросил Дементий.

— То-то и оно, совместная выпивка сделает что угодно. — Сказав это, Сипов, как говорится, подрезал Дементия начисто. Многие заинтересовались, о какой такой выпивке речь?

— Да, было дело, в саду в перерыв как-то... — пояснил Сипов, не вдаваясь в подробности. Видеть Сипову довелось одному, и теперь он даже досадовал, что проговорился об этом и приходится давать разъяснения. Начали спрашивать, как так Сипов узнал про это... Затевався непредвиденный разговор. Чувствовалось, что знает о выпивке и директор, постаравшийся потушить ненужное любопытство.

— Характеристику выдать следует, — попытожил он. — И выдать обязательно. Но после того, когда кончится срок наказания. Вы не обижайтесь, товарищ Ракитин, такой уж порядок. Мы ценим вас, но, сами понимаете...

— А не поздно ли будет? — заметил Горликов.

И вновь заговорил Сипов:

— На другой год поступит. Пока характеризовать нечего: человек наказан, а мы его в институт, так выходит? В конце концов не перевод в разнорабочие помеха. Пьянка, вот что! Никакого права не дает она характеризовать положительно.

— Вы повторяетесь, Анатолий Иванович, — прервал директор. — Вопрос и так ясен. Я думаю, Ракитин правильно нас поймет.

Дементий заметно сник, как-то сжался, ушел в себя. Не легче сделалось и Родиону. Сидел как в воду опущенный. Одна пустота в душе.

Он не пошел сразу домой, в общежитие. Повернул к станции, к вокзалу. Сновал и толкался там, глядел, как садились в очередной поезд люди, как ждали они в вокзале своей дальней дороги, и ощущал с ними беспокойство отъезда.

Влекла его сегодня дорога. Тянуло к забытому перестуку колес, запаху шпал, угля, мазута, к густому напористому ветру ночных просторов. И если бы еще легонько подтолкнул кто, уехал бы Родион тотчас же. Но с ним рядом никого не было. Скошенным лугом тянуло с подстриженных днем газонов. Редкие окна светились огнями. Над городом плыла луна, от ее света зелень улиц становилась темнее.

За полночь он вернулся в общежитие. Коридоры, лестницы, переходы — отдавали здесь долго не убранными вагонами дальнего поезда. И только сильнее бередили.

\* \* \*

Куб-цистерну взялись перевозить с утра. На заводе уже и позабыли, когда и кто ставил этот огромный бак. Он был высок, и когда заполнялся маслом, заправщики взбирались по лесенке. Отодвигали крышку и опускали от стоящей рядом машины шланг — сливали масло. Повернув внизу кран, брали и несли смазку к станкам.

До конца масло никогда не сливали, предпочитая добавлять его, как только уровень приближался ко дну. Эту цистерну-бак ни разу не трогали, не смотрели с тех пор, как установили.

Теперь надо было ее переместить, передвинуть к ремонтному цеху. Горликов попросил Родиона помочь, именно попросил, а не приказал, ибо обязанности Родиона сводились к заботам внутри цеха. Работа была несложная. С утра ждал наготове подъемник и двое рабочих. Бак-цистерну подковырнули ломиками, подложили слегу, пропустили под днищем трос. И когда оторвали ее от земли и она накренилась, словно бы пошатнувшись, внутри ее каменисто громыхнуло раз-другой, перекаатилось, ударилось о стенки и стихло...

— Странно...

— Что странного? — спросил Родион в свою очередь.

— Камни какие-то... Откуда?

На весу начали выравнивать куб-цистерну, и опять громыхнуло в кубе, опять отчетливо плюхнулось в остатки жидкости, взболтнуло ее — и успокоилось.

— А может, кирпичи?..

— Что бы ни было,— сказал Родион,— а придется достать. Смазка грязниться будет.

Проверить следовало во что бы то ни стало. Будут брать масло и не догадаются, что лежат на дне кирпичи.

В глухом месте задворка цистерну перевернули. Потекла смазка, за ней выпали на землю, а потом и посыпались — одна за другой... детали.

Родион взял одну, повертел в руках, торопливо протер и глазам не поверил: детали были из его прежнего цеха. С его линии даже!

— Не твои ли, Родион?

— Не мои.

— Ловок же кто-то. Ловок! — восторгались рабочие и водитель подъемника. — Ну век не догадаться.

Родион повертывал детали: углубления на них, а точнее, пазы-канавки, были почему-то в песке. Значит, песок оставался и на дне цистерны... Он видел брак, кем-то вынесенный из цеха и спрятанный в бак-цистерну. Брак, сделанный в его старом цехе от неправильно закрепленной фрезы.

Фрезерные канавки тянулись не прямо, а вкривь. Дело оказалось серьезным: детали составляли сумму немалую. Утаить их нельзя было. И Родион решил известить Горликова, поговорить с Дементием. Не идти же ему было к Сипову.

\* \* \*

Как-то накануне праздника в составе контрольной дружины довелось обходить свой цех. Смотреть, вычищены ли станки, убрано ли вокруг них как следует. Подле тумбочки Агафончика лежала опилками присыпанная стопка деталей, оставленная словно бы невзначай, но явно наспех. Из нее торчали концы деталей. Родион не остановился, и группа не задержалась — прошли мимо. Решил потолковать с Агафончиком с глазу на глаз. Как-никак соседи же. Он так и сделал, когда обход завершился.

Агафончик, однако, успел исчезнуть. Исчезла и стружка, и с ней стопка деталей. Агафончик вскоре вернулся и растерянно смотрел на стоящего у станка Родиона. В мол-

чаливом замешательстве Агафончик взялся протирать тумбочку, не решаясь заговорить первым.

— Вынес?

— Что вынес...

— Давай начистоту! У тебя лежал брак. Только что.

— Какой брак? Сделанное лежало.

— Сделанное ты сдал. А брак присыпал опилками.

— Бра-а-ак?

— Да. Брак.

— А что же не говорил, когда лежал он? Что молчал?

— Жалел. Тебя, всю смену жалел. Позора не образовалось бы.

— На мушку берешь, Родион. Не было здесь брака! Не было!

— Ладно, черт с тобой,— произнес Родион в сердцах.— Пспадешься, пеняй на себя. Тебе же хуже будет.

На такой поворот Агафончик не рассчитывал. Он надеялся, что Родион пойдет к мастеру, к учетнице, будет наводить справки, и внутренне приготовился отнекиваться и спорить. То, что Родион не стал ни того, ни другого делать, Агафончика смутило. И он не знал, понимать ли действие Родиона как доброту или ждать какой-нибудь поздней каверзы.

Родион угадывал его состояние, хотел сказать даже, что ничего он не замышляет, а хочет лишь одного: чтобы в смене их обстояло все хорошо. Но объяснить это не смог, не та была минута, не то состояние.

Родион чувствовал, разговора не получилось. И не получится. Кто-то предупредил в последний момент Агафончика об их обходе... И Агафончик успел брак присыпать опилками.

Но куда так быстро мог он детали спрятать? Как проглотил. Неужели спрятал, не выходя из цеха? Что-то было в этом даже занятного. В детстве, поди, Агафончик лучше других играл в прятки. Любопытства ради узнать бы, что за тайник существует в цехе, о котором и в голову другим не приходит. И которым ловко пользуется Агафончик. На душе очень скверно, будто именно он сподличал. Надо было все-таки что-то предпринимать. Высказать свои подозрения? А если окажется, что Агафончик все-таки не виноват, хотя это маловероятно. Но попробуй докажи. Надо просто присмотреться. Выходит, он должен шпионить? Но при чем здесь шпионство? Подлость есть подлость, и если терпеть, ничего не замечать — значит, быть самому мер-

завцем. Однако действительно мог спрятать в бак детали и кто-то из сменщиков. Опустить днем детали в бак не каждый решится. Только ночью можно такое сделать. С Агафончиком же дело происходило днем.

\* \* \*

Он не намерен был сразу винить Агафончика. Мог спрятать детали и кто-то из сменщиков. Просто случай припомнил давний. Опустить днем детали в бак не каждый решится.

Как поступить с деталями, Родион не знал. И никто не знал. И никого это особо не тревожило. Только Родиону находка не давала покоя. Кто-то и впредь будет прятать свой брак, грязнить смазку. Не в его положении сейчас кого-то отыскивать, одного хотелось ему, чтобы крышку цистерны закрывали бы так, чтобы открыть ее мог только шофер-заправщик. Об этом и хотел Родион с кем надо поговорить. Но с кем? Ему казалось, что тут же начнутся выяснения, пойдет шум...

Сказать хотелось тому, кто понял бы это правильно. Можно Дементию, можно Горликову, можно тому и другому. Горликов пришел, посмотрел детали и сказал, что он известит о них Сипова. Одну из деталей он взял с собой, а остальные распорядился свалить в отходы. Переплавят вместе с металлической стружкой.

Сохранил и Родион деталь, чтобы показать Дементию. С ним он давно собирался встретиться. После заседания завкома они ни разу не виделись, а Родиону к тому же надо было переговорить о предложении Горликова — стать за токарный... Он разыскал Дементия в тот же день после работы.

— Агафончику, прохвосту — квартиру уступил. Увижу Лариску, так и скажу: балда ты, и только! Молчи, ради бога, молчи! — наседали на Родиона.

И Родион молчал, ждал, когда Дементий остынет. А потом протянул деталь и рассказал все. Но особого впечатления находка не вызвала. Дементий подержал деталь, покрутил, повертел и посоветовал:

— Выбрось. И не возись. Дались тебе эти детали. Ну найдут, разыщут, а дальше? На тебя же Сипов и свалит. Найдет что!.. Расскажи лучше, как работается?

— Нормально. Горликов настоящий станок предлага-

ет. Говорит, никто и знать не будет, что на токарном работаю.

— Ну и что ты сказал ему?

— Я ничего пока не сказал.

— Постой. Горликов твой рискует. Давно ли пришел директор, а в трех цехах уже мастера новые, те, с кем он где-то работал. Ты этого, конечно, не знал.

— Не занимало. Была работа, место свое...

— Смотри, втянет он тебя. Ему-то ничего — уйдет на пенсию скоро, а у тебя все начинается только. Да что говорить. Сам знаешь. Вернем как-нибудь назад. А пока не связывайся, не лезь и не ищи новых приключений.

То, что Горликову предстоит уходить на пенсию, Родион слышал и как-то не верил, не представлял себе без него ремонтного цеха, где не знали ни окриков, ни суматохи. Во всем было спокойствие, слаженность и продуманная распорядительность.

Там, где случались порой особого рода трудности, звонили Горликову. И он уходил, надолго задерживался и в перерыв, и после работы.

— Эх, Горликов, Горликов. Скажу прямо, мужик он такой, каких мало. Видит, что несправедливо с тобой обошлись, ищет путь, как помочь тебе, исправить положение... — рассуждал Дементий.

— Ну а почему вы все-таки так прохладны друг к другу?

— Э, одним словом тут не объяснишь. А на многие слова у меня, понимаешь ли, душа не раскрывается. Может, когда-нибудь и расскажу.

\* \* \*

Дни неслись, вертелись, как токарный патрон. Рокотали летние грозы. Покрывалось белесо-синими прорехами небо. Сеял с крыши и деревьев прозрачными каплями ветер. Лето кончалось.

Размышляя часто над жизнью отца и матери, Родион отмечал: сколько оба вытерпели, пока росли его братья и сестры. А он? Что его невзгоды в сравнении с их невзгодами.

О собрании в перерыв между сменами разговоры пошли заранее. Да и понятно: ни о повестке, ни о каких-либо других вопросах в объявлении не упоминалось. Но раз собрание намечалось, пусть и в одном цеху Сипова, и в пе-

рерыв, значит, было что-то важное. Готовилось итоговое собрание за квартал. Профорг пригласил Родиона. Он остался в своем цеху на профсоюзном учете.

Толки о собрании ходили разные.

Говорили о приезде важного областного начальства, а то и выше — из самого министерства, и чем больше было догадок, тем сильнее каждый выдумывал. Поговаривали, что запорол кто-то деталь, и та случайно попала в другую страну.

Ко всему вдобавок водился за профоргом с прошлой зимы грешок. Не такой уж большой, но памятный. Дело больше касалось одного цеха. Уж так профоргу хотелось, чтоб на его первом отчете за год было бы как можно больше людей, что за день он возьми и вывесь в цеху маленькое объявление о завтрашнем «сеансе гипноза и черной магии». Ходили из этого цеха на собрание редко, а зимой и подавно.

А тут расхватили стулья, заполнили мигом ряды. Стояли даже у стен и проходов. Передавали друг другу скамьи, проносили поверх голов ящики. Тесно, гомонливо. Хлопали, вызывали нетерпеливо, но гипнотизер отчего-то медлил. Вместо него вдруг появился профорг и начал собрание. Спыхватились, да поздно: уходить на виду у всех было вроде бы неудобно. Так и просидели до конца. Шутку, однако, меж собой оценили: ради дела делалось.

И теперь кое-кто в перекур нет-нет да и высказывался, мол, не будет ли опять какой-нибудь «черной магии»? В этот раз уже настоящей.

Родион сvez пораньше от станков стружку. Вошел, когда собрание уже началось. Продолговатый стол, где обычно делали контролеры особо тщательную проверку и учетчица отмечала табель, занял президиум: директор, Сипов, двое станочников и незнакомый представитель откуда-то.

Профорг вел собрание. Отвечал после доклада на чей-то вопрос.

— Вручали, помню, мы грамоты. Многим раздали. А после подходит ко мне один из шлифовщиков и спрашивает: «Скажи на милость, что делать с ней? Грамот — хоть коллекцию составляй... Нельзя ли придумать новые поощрения?»

— А какие?

— Не знаю... — Продолжать до конца связно профорг не смог и, поняв это, сел.

Начали предлагать — каждый свое:

- Давай больше санаторных путевок.
- Кому? — изумился из-за стола Сипов. — Вам, молодым, здоровым?!
- Повышать разряды надо!
- Время не подошло... — пояснил Сипов.
- Медленно оно что-то подходит.

Следующим от партийного бюро выступал Горликов. Профорг объявил. Раздались хлопки. Вышло даже забавно: хлопали и профоргу, и Горликову, взявшему слово.

Дементий втихую курил за одним из станков. Увидев Горликова, он оборвал край сигареты да и оставил его на губе.

— Я, конечно, извиняюсь, — начал Горликов. — Так мы проговорим весь перерыв. Что тут мудрить. Будем проще смотреть. Хорошо сказать человеку и простое спасибо. Не от себя, а от народа нашего — поблагодарить за хороший труд. Я согласен, передовой — это передовой. Первый на стройке, фабрике, у станка. Но чаще, когда дело, к примеру, доходит до касс кино или театров — последний. Вот и случается, кто проработал день в цехе, на хороший фильм или спектакль не попадет. А бездельник какой-нибудь пользуется этой возможностью запросто. Не попавшему никуда остается одно — искать иных развлечений... — повернулся мастер к молча сидевшему представителю.

- Одну на двоих искать.
- Да, если хотите, и одну на двоих!
- Правильно, Алексей Алексеевич,
- Правильно.
- Дельно сказано.
- Верно!
- Молчал, молчал, да и высказался.
- Товарищи! Товарищи! — требуя тишины, Сипов вытянул руку. — Товарищи, об этом руководство завода позаботится.

Сказал Сипов спокойно и неожиданно. Пока выступали и говорили, он с настороженной юркостью водил по лицам глазами. Не знал, как повернется собрание, и теперь, успокоясь и как бы предчувствуя, что лучше первому подать голос, заговорил:

— За станком стоять, Алексей Алексеевич, да у касс еще — простоишь полжизни.

Старший мастер пропустил замечание.

Обычно глаза Сипова убегали, как бы прятались. Но Родион научился эти глаза разгадывать. Запрятанные,

они говорили, что грозы не предвидится. Если же глаза мельком на ком останавливались — жди огорчений.

Подобные глаза доводилось Родиону видеть и раньше. Глаза людей, исподтишка взирающих на мир. Где-то он даже то ли вычитал, то ли слышал, что у добрых людей глаза чуть грустноватые.

— Товарищи! — не теряя бойкости, повторно обращался Сипов к собранию. — Двадцать минут до смены, а целый вопрос еще...

— Какой?

— Вопрос у нас с вами, так сказать, по ходу собрания... — вынул из кармана бумажку. — Вопрос такой... Для собрания, в общем, он не основной. А раз...

— Какой вопрос?

— Коллективно обсудить, товарищи, текст призывов, которые необходимо нашему цеху вывесить.

— Какие призывы еще?

— Я предлагаю два: «СОВЕСТЬ ТВОЯ, РУКА ТВОЯ — ЛУЧШЕ ВСЯКОГО ОТК». Дополнения, изменения — будут?

Сидели на скамьях, на ящиках, на кучах деталей. Следили за каждым словом, собираясь с мыслями. Намерение Сипова было явным — внести при директоре и неизвестном преставителе свои «новые» предложения. Покамест об этом не сказал никто прямо, но все сразу поняли.

— Тогда лучше уж так, — подправили призыв с места: — «СОВЕСТЬ ТВОЯ, ТВОЯ РУКА — ЛУЧШЕ ВСЯКОГО ОТК!»

— Это зачем?

— Чтоб в рифму было.

— В рифму? Зачем?

— Для складности. Запоминать лучше.

— Другие есть предложения?

— Есть!

— Какие?

— Заменить последнее слово.

— ОТК?

— Да.

— Каким? — Сипов настороженно скосил глаза.

— Совесть твоя, твоя рука — лучше всякого му... Ну мудреца, скажем! — быстро закончил парень.

— А язык вы не хотели бы заменить?

— Меня он устраивает.

— Второй призыв такой: «МАШИНУ ПОЙМЕШЬ — ДАЛЕКО ПОЙДЕШЬ!» Как, товарищи?

— Если судить по Ракитину, в разнорабочие угодишь запросто!

Сипов поиграл желваками. Мельком взглянул на директора. Но тот сидел, не вмешиваясь в ход собрания, о чем-то про себя думая...

— Вы мешаете, товарищ,— заметил Сипов, сохраняя спокойствие.— Серьезное мероприятие превращаете в балаган.

— Как это мешаете? Вот что я скажу!— потеряв терпение, прогудел, выходя вперед, парень.— Это я о грамотах спрашивал у профорга.— Из-под комбинезона вышедшего виднелась тельняшка. В руке был зажат берет. Говорил бригадир шлифовальщиков, по-видимому читавший объявление о переводе Родиона в разнорабочие.

— Проблемы, которые выдвигали здесь, не из самых, я думаю, наболевших. Много звону, да мало толку. Я хочу о другом сказать. Как это вышло у нас? Только в этом году присвоили человеку ударника и перевели тут же. Сколько работаю на шлифовке, ни одной детали бракованной не припомню от Ракитина. Парень выше других на голову. И что же — от характеристики в институт воздержались — это ли о человеке забота? Нет! Чуть что, так вы, Анатолий Иванович: «Будь как все! Будь как все!» Да я собой хочу быть! Вы у нас, Анатолий Иванович, кое для кого этакий мудрец-знаменосец! Целый коллектив лихорадит и будоражит мнимая ваша находчивость.

С места заметили:

— Что верно, то верно!

— Потому я и предлагаю сегодня. Дать сейчас Ракитину Родиону самую что ни есть отличную характеристику, коллективно нами подписанную. Это и будет основой сегодняшней нашей повестки.

— А грамота — что, для вас уже просто кусок бумажки?— прищурившись, будто старательно прицеливаясь, спросил Сипов.

— А вы не подсекайте, товарищ Сипов. Грамота тоже для рабочего радость,— с достоинством ответил парень в тельняшке.— Только вручать ее надо не так, как вы делаете, товарищ Сипов. С душой надо вручать, чтобы хоть чуть-чуть торжественность, что ли. А вы, извините, как ветошь руки вытирать...

— Это уже демагогия,— вроде бы даже обиженно ска-

зал Сипов.— На требовании этой самой душевности, скажу прямо, некоторые стали самым бездушным образом спекулировать.

— Видал ты его? — воскликнул кто-то.

— Вот и попробуй покритикуй его, он же тебя и обмает.

— А ну, разрешите мне, — потребовал Горликов. — Я не только от себя, я от имени партбюро. Нет, товарищ Сипов, это вы демагогически обвиняете других в демагогии. Есть, есть такой прием! Коварный приемчик. Есть такая наука, Анатолий Иванович, — че-ло-ве-ко-ве-де-ни-е! Всем ли она ведома нам? Вон даже капиталисты учат своих сподручных улыбаться рабочим, знать их наклонности, семейные обстоятельства, заставляют мастеров, инженеров, управляющих все делать, чтобы скрыть пропасть между хозяином и рабочим. А как же нам, в таком случае, надо быть чуткими и, если хотите, е-с-т-е-с-т-в-е-н-н-ы-ми в проявлении душевности, человечности! Да, да, естественными! — Горликов умолк и как-то особенно пристально посмотрел на директора. Тот вскинул голову, выдержал взгляд. — А у нас порой некоторые так рассуждают: все знают, что я такой же рабочий, свой брат, простят мою черствость. Нет, Анатолий Иванович, этого прощать нельзя!

— А ты посмотри, прощают ли тебе, — негромко, словно бы только для Горликова, бросил Сипов.

— И посмотрю! Еще как посмотрю! И если в чем сплеховал — пусть скажут рабочие!

— Эх, жаль, такое собрание бы на часок, а не на двадцать минут! — сказал парень в тельняшке.

И тут встал директор. Тяжело поднимался, в глубоком раздумье. После долгого молчания сказал:

— Товарищ прав. Будем считать, что это не собрание, а только уговор. Наш общий... Уговор такой. Соберемся в самое скорое время, и не походя, а основательно, и поговорим по душам. Выложим друг другу все, что накипело.

— Нет вопросов? Вы свободны, товарищи...

Властно задрезжал звонок. Перерыв кончился, договорить не успели. По сути, только разговорились, да что поделаешь — станки не ждут. И к ним спешили, как к застоявшимся коням. На ходу рассуждали:

— Миром и медведя свалят.

— Ловит волк, ловят и волка.

— Ничего, ничего, Родион. На конус если пойдет — выправлять непросто.

Никто не поддержал Сипова. Хмурый и раздосадованный ушел директор. Быть может, и рад он был, что звонок прервал собрание, по крайней мере, можно еще обдумать многое.

Родион выходил вместе со всеми и дивился, думая про себя, что не сумел бы так спорить и говорить. В спорах казался он себе часто беспомощным, нелепым. Говорилось легко и спорилось, когда в душе был определенный настрой, порядок.

\* \* \*

Возвращаясь домой, присел Родион неподалеку от остановки автобуса на скамью в сквере. Трепетали, облетая, мельтешили высохшие листья. Ползли слоистые облака. Высоко в их разрывах скользила синева неба. В листве тополей и лип слышался птичий голос. Полоснет по душе, затанцует, прислушиваясь. То падая, то взмывая, с криком носились над крышами домов стрижиные пары.

Повисало над городом словно поддерживаемое за края небо. Лениво дул в сизоватом преддверии осени ветер. Кружилась листва. И, глядя на березовый лист, упавший к ногам, Родион вдруг заметил, что по форме лист напоминает человеческое сердце. Застрявшие в газонной траве листья березы — сколько их? Словно нарочно в природе придумано это внешнее сходство. И пока лист отмельтешит, пока упадет, его треплет ветер, сечет дождь, печет солнце, бьет град, и даже опав, все равно он красив, все равно украшает землю. Отшумели, отмельтешили листья, приникли, иссохнув, убрали землю.

Сидел, смотрел Родион на клумбы и холмики. Вокруг их ревели дети. Одинок сидящий на скамье человек... Что вынудило его присесть? У станка, в раздевалке, на собрании либо за проходной уже — где-то он задал себе работу. И вот обласкал предвечерний ветер, отвлекли птицы, заняли облака, и многое человеком забыто.

И только мозг работает с неусыпной ясностью. Птицы, листва, голоса детворы в этот час наделяют человека радостью. Она была с ним в разбуженном солнцем дне, оставалась с ним на работе, появилась по дороге к дому. Подобно весенним мартовским сокам, струилась по жилам бодрость, вытеснялась усталость. И хотелось сделать что-то доброе, сказать кому-нибудь слово хорошее, что ли. А потом рассеивала все неожиданно налетевшая мысль.

Столько лет, столько времени выходил Сипов сухим из разных жизненных ситуаций. Других наказывали, Сипова — никогда. И жил и оставался Сипов прежним. Ответа не находилось.

Когда-то в жизни встретил Родион за деревней в поле седого деда, сидящего подле приплюснутого, мшистого камня. Старик прислонил к камню суковатую белую палку, вокруг которой валялась наструганная кора. Щурясь, осматривал жавшийся к лесу луг. Жаркий полдень истомлял травы и воздух. Пересилив робость, Родион подошел к нему, и старик зашевелился, приподнялся, такой же мшистый, как и валун, заговорил:

«Где жарче, там и я.— Погодя немного, добавил: — У косарей, соколик, бываю».

«Косите?»

«Какое там — роднички им отыскиваю».

Хорошо бы вот так родники искать...

Пустыми, серыми виднелись клумбы сквера. Еще недавно они были покрыты цветами, теперь же громоздились на земле огромным горбатым зверьем, поросшим щетиной. Кончилось лето. Кончался и срок приказа. Считанные дни оставались до возвращения Родиона в цех.

Роднички... Далекая память сердца. Сильна эта не замутившая, не омраченная ничем память, приходящая в минуты раздумий.

Шли по скверу люди, наступали на листья, и бездумным казался им человек, одиноко сидящий на скамье. Как много еще надо дышать этому человеку, пока сольется он в словах и поступках с теми, кто только что выступал. Молчали на собрании одни подростки, работавшие первое время со старательностью и охотой, пусть и не такой усердной, но и ее Сипов быстро отбил частыми упреками без повода и по поводу. Сидел человек в сквере, думал про себя.

Есть от станка к станку провода. И есть провода между людьми. Ведь в каждом из них, и в станке и в человеке, существуют два заряда, две силы. У станка — мотор. У человека — сердце.

\* \* \*

Обильно шел предновогодний снег. Падало за окном, мело не переставая. Началось в сумерках, и который час не утихало. Из окна буфета просматривалась белая улица.

Рано зажглись фонари. В их свете снежинки словно бы и не опускались, не кружились, а вылетали и сыпались, будто из трубы, будто чья-то душа посыпала белизной землю.

— Хандришь?

— Нисколько.

Дементий в осеннем пальто и шляпе присел со стаканом в руке на край подоконника. Родион действительно не хандрил. Просто на вечер должна была прийти Лариска, но позвонила ему в общежитие, сказав, что ее матери нездоровится и чтобы Родион обязательно шел во Дворец один, где предстоял вечер, посвященный итогам года.

Родион знал. Не пошла Лариска не из-за матери. Она сердилась, что отказался он от квартиры. Она упрекала, что он совсем не подумал о предстоящей их жизни. Не давал себе отчета.

Все это Родион выслушивал. И не раз, и не два, а почти в каждую встречу. Родион не обижался, хотя и не мог толком все объяснить ей. Спустя три месяца его вернули к станку. Он жил в общежитии. И был уверен, что квартира от него не уйдет. Будет и для них новый дом.

В общежитии оставались немногие. Родион определил это по кухонным чайникам. По ним легко угадывать, кто был дома. Алюминиевый, со скособоченной крышкой чайник, изрядно помятый и вогнутый, говорил о буйной своенравной натуре. Эмалированный, хмурый и мрачный, давно не чищенный, свидетельствовал, что в общем-то владелец его живет спустя рукава.

Родион пришел на вечер один. Не оставаться же было в общежитии. На вечере долго одному быть ему не довелось.

— Выпьем, а?

— Нет, Дементий, неохота.

— Но со мной-то ты выпьешь?

Родион извлек из бумажника трехрублевку.

— Стоп! — Дементий отвел его руку. — Я. И никаких чтоб. Пре-е-мия!

Только что кончилось в зале Дворца собрание по поводу досрочно выполненного плана и пуска нового цеха. Собрание не затянули. Огласили благодарности, вручили подарки, премии. Даже памятные значки были, специально заказанные. Их раздавал каждому сам директор.

Представительница завкома — крутобедрая, дородная, заученно улыбаясь, поздравила директора, вручив, как

память о вечере, небольшой бочонок вина, подаренный заводу южным совхозом, приехавшим получать машины. В зале прокомментировали:

— Этак пройдет еще год-два, и целую бочку везти придется.

— Ничего. Когда до большой бочки дело дойдет — завком будет другой. И опять придется начинать с маленькой.

Раздался смех, а за столом, призывая к порядку, зазвенели карандашом по графину. Разговор долетел из первых рядов, оттуда было совсем уж недалеко до президиума. И там не вытерпели:

— Вы перестанете наконец? Или мы будем вынуждены назвать ваши фамилии.

И как только в зале утихло, продолжили:

— ...Благодаря высокой сознательности, правильной организации рабочего времени наш коллектив достиг высоких показателей. Спасибо ему!..

Родиону вместе с другими напоследок вручили грамоту. В танцзале ждал нанятый завкомом оркестр. Но валили прежде в буфет. Стояли, искали, поторапливали, ожидая свободного столика.

Дементий доливал стаканы. От выпитого лицо его нервно вздрагивало, как бывает у спящего. Прежде этого не замечалось. Язык слегка заплетался:

— Тебе, Родион, сколько?

— Двадцать три.

— А мне вот давно за пятьдесят, а иногда кажется, в жизни мог сделать гораздо больше... Проходит время, и только потом осознаешь это. Прежде и я обуздывал жизнь, теперь жизнь меня обуздывает!.. Оборвалась внутри какая-то гирилка, как у ходиков. А какая — сам не пойму.

— Это пройдет. Это с каждым бывает, — говорил Родион, отхлебывая вино. Оно напоминало ему запах просохшего на солнце мха. — Дементий, откуда у тебя эти пятна на лице? Не понять, порох или окалина?

— Это, брат, — Дементий поднес руку к щеке, — это давнее. Заводское. С молодости еще. Был я тогда моложе тебя. Расскажу, если хочешь?

— Давай.

Дементий затаился, стряхнул сигарету о край пельницы:

— Закалку деталей представляешь?

— Еще бы.

— Так вот, работал я до войны на одном новом заводе. Осваивал этот самый процесс закалки. Керосин в печи подавали тогда по шлангам — углеродили им поверхность.

Помню, выпала мне ночная смена. В цехе — трое. Бригадир, напарник и контролер. Хожу от печи к печи, слежу за приборами, чуть слышно шумят форсунки. И все. И вдруг — как ахнет! Дым, пламя, чад, что случилось — сообразить не могу. Осмотрелся: шланг прорвало, по которому к печам керосин поступал. Огонь фонтаном! Бросился я перекрыть, где там — взрывом сорвало с крана кольца. Решил через колено заламывать. Попробовал — вспыхнула спецовка. Тушить? В руках шланг. Сжимаю его, словно удава. Кое-как заломил, да не тут-то было — разорвало дальше, в сторону отлетел я.

Очнулся в больнице. В глазах — мгла. Несколько дней так и жил во мгле, пока мазали да обрезали с коленей лоскутья кожи. Провалился месяцев шесть. Лежу, бывало, в палате, вспоминаю житее свое: детство, школу, городок, где родился... А тут еще осень, за окном листья падают — душа осыпается. Лежу, считаю, сколько их с клена пооблетало, и все думаю. В палате уснут, а у меня сна — ни в одном глазу. Нытье и зуд во всем теле. Положили рядом больного — перелом бедра, тоже не спит, а уснул, давай повторять: «Поезд остановился! Поезд остановился!» Днем насмотрелся он в окна, как на подходе к станции останавливался вдалеке поезд, видать, и запало. Повторяет это он, повторяет, а мне кажется, не поезд — жизнь моя остановилась.

Вернуться на завод уже не надеялся. Обгорелые ноги до того загноились, что и пересадка не обнадеживала. Брала, знаешь ли, досада меня. Не за то, что обгорел, а за то, что рост мой жизненный судьба перекрыла. Термистом-то ведь не сразу я стал тогда. На завод определился разнорабочим. Вывозил, помню, тачками мусор, передвигал станки ломиком, работал учеником. Поступил в техникум. Учился как следует, да и легко учеба давалась. Смолоду, брат, все легче дается. Метил после техникума в институт. И вот тебе, полгода в больнице. Весь план мой к черту под хвост! Повторял сосед всю ночь: «Поезд остановился!» — а я лежал и слушал. Наслушался и тоже давай утром смотреть в окно на поезда мимо больницы.

Несутся, помню, составы по высокой насыпи, и кажется, что от их шума и у меня сердце громче постукивает,

а листья с кленов обрываются и падают чаще. И, знаешь, как-то само собой на душе становилось светлей, спокойнее, словно солнышко пробивалось сквозь тучку. Пробивалось оно, пробивалось, да и пробилось. Как будто на работе к клещам прикоснулся. Стал незаметно я отходить, отгонять от себя хмарь всякую. Всколыхнул поезд душу. Нет, думаю, поживу еще, поучусь, поработаю!

Ну а в больнице, как это обычно водится, навещали, восторгались поступком. Был однажды и корреспондент областной газеты...

Дементий кончил, раскурил новую сигарету.

— После этого напрягать мозги трудно,— кивнул он на пустую рюмку.— А бывало у тебя в жизни подобное? Не бывало, брат. Не бывало. То-то и оно. Сейчас я не рысак уже...

— Внушаешь себе ты.

Дементий молча налил.

— Ну, вздрогнем,— сказал он, подняв рюмку.— Вздрогнем! Говорил я тебе пословицу: «Глупый киснет, а умный все промыслит». Не мы первые, не мы последние. У иных и похуже бывало.

Дементий почти не закусывал. На столе все было нетронутым. Изредка запивал минеральной водой и курил, курил... От затяжек сильнее посмуглел, глубже запали щеки, заострилось лицо, видимо, переживал сильно из-за чего-то. Поблескивали, свежо смотрели глаза, чуть грустноватые, да над ушами курчавилась седина цыганских волос.

В буфете позванивали стаканами. Кто-то держал на весу коньяк и, глядя на этикетку, с хмельным прозрением бормотал:

— Три звездочки. Три звездочки. Где-то столько же и человеку, кто в один год с коньяком родился...

Родион в жизни приметил, успел уяснить, когда человек равнодушен к еде, да еще после выпитого, что-то неладно с ним. И попробуй тут узнай причину: умный умеет от других скрыть ее.

— Да, Родион... Порой кажется,— рассуждал Дементий,— что в искусственных одеждах люди стали искусственнее и вести себя.

— Скорее, искуснее.

Родион улавливал в рассуждениях Дементия некую неуясненность, недосказанность, отчего, по-видимому, тот и путался, и, когда умолк, пользуясь паузой, сказал:

— Не так все. Это пройдет у тебя.

— Нет. Не пройдет. Не пройдет, Родион. Хорошо знаю, что не пройдет!

— Пройдет. Только внушением заниматься не надо.

Лицо Дементия вздрогнуло, глаза непривычно вспыхнули, и сам он, казалось, воспламенился весь:

— Ты знаешь, что спасло в больнице меня? Людское участие. А участие было. И это меня сначала спасло, а потом, как ни странно, погубило. Да, да, представь себе. И дело не в том, что я против людского участия, товарищества, человеческой чуткости. Дело в том, что если ты все это на себе испытываешь, то будь достоин такой доброты, такого огромного сердца. А я оказался недостойн.

— Не пойму.

Дементий снова закурил. От глубоких затяжек запали щеки, заострилось лицо.

— Постараюсь растолковать. Видишь ли, несчастье мое сделало меня в какой-то степени героем. Беда в том, что во многом дутым героем.

Родион попробовал возмутиться:

— Ну, знаешь, Дементий, клепать на себя...

— Ты лучше не перебивай. Слушай. Может, в чем и пригодится. Все, пожалуй, началось уже после того, как я вышел из больницы. Пока я лежал обгорелый... приходила ко мне чудесная девушка... Надя Снегирева, чистая, такая самоотверженная. Полюбил я ее. Очень полюбил. А ей, ей, видимо, показалось, что глубокое сострадание ко мне и есть любовь. Одним словом, потом поженились мы. И годик, другой были куда как счастливыми. По крайней мере, так мне казалось...

— Ну, а потом?

— Да подожди. Не забегай. А то возьму и замолчу.— Дементий и вправду долго молчал.— Завод принял меня как сына родного, которого уже и не чаял увидеть. Я старался, честно работал. В техникуме грыз науку, да еще как грыз! Однако постепенно что-то со мной произошло непонятное. Избирали меня всюду в президиум, в первый ряд сажали, грамоты вручали, благодарности. Сначала смущался я, волновало все это, мучило, что не всегда и не вполне заслуживаю. А потом попритушилось, стал принимать за должное, нос так вот, понимаешь, постепенно стал задирать... — Дементий приложил палец к носу, чуть запрокинул голову, потом нервно морщился, тяжело

вздыхнул.— Кое-кто меня стал остерегать. Особенно Алексей Горликов старался. Однажды так по-мужски поговорили, что, кажется, на всю жизнь кошка между нами пробежала. А он-то, он... он, брат, добра мне хотел. Именно добра...

— А я-то думал, что это между вами такое. Хорошие мужики, а все время спиной друг к другу...

— Да, спиной. Я, брат, именно повернулся к нему спиной. А друзьями были. Потерял друга. Но это еще, может, и перенес бы. Беда покрупнее пришла — жену потерял. Вот, брат, когда я понял, что постигла меня катастрофа.

Родион хотел что-то сказать, но лишь вскинул переполненные недоумением и горестным сочувствием глаза, боясь проронить слово.

— Молчишь?— вяло спросил Дементий.— Это хорошо, что молчишь. Коли так, все выложу до конца. Да, катастрофа. Как гром с ясного неба. Надя была такая преданная, заботливая. Милосердие свое, видать, за любовь принимала, милосердие уже по привычке. Пока я человеком оставался, может, ей и полегче было себя обманывать, милосердие за любовь принимать. А вот когда я забурел — тут она и разглядела меня, все поняла. А забурел-то я настолько, что человечность ее стал принимать за должное, за привычное: дескать, а как же иначе, само собой разумеется!— Дементий погрозил Родиону пальцем.— Смотри, брат, смотри никогда не внушай себе, что любовь женщины к тебе — так себе, по штату полагается, а не подарок судьбы. Как про судьбу забудешь, так и без нее, без судьбы твоей, останешься, как вот остался я. Прихожу однажды, записка на столе: «...Прощай, Дементий, видно, я тебе нужна была, когда было тебе сначала больно, а потом тревожно. А вот боль прошла, тревогу заменило равнодушие, самоуверенность, и стал ты другим. Да и я другая стала. Наверное, хуже стала, потому что больше не люблю тебя. А может, я так и не знаю, что оно такое — любовь... Прощай». Вот так, на всю жизнь от слова до слова запомнил.

Дементий крепко зажмурил глаза, чуть покачал головой.

— С тех пор и стал я заглядывать в рюмку. Пока в героях ходил — хорохорился, недостатки терпеть не мог, воевал за порядок. А потом постепенно стал смотреть на многие вещи сквозь пальцы: а, дескать, мне больше всех надо, что ли.

Дементий опять погрозил Родиону пальцем.

— Смотри не вздумай жизнь пустить по этой подлой поговорочке или как уж назвать словечки эти. Удобные, понимаешь, словечки. Или вот еще: моя хата с краю, ничего не знаю... Сначала хата с краю, а потом, глядь-поглядь, и ты в жизни где-то с краю, в закутке темном, дышать нечем.

Дементий сделал такое движение, будто хотел растегнуть ворот, но тут же вяло уронил руку.

— Кстати, сейчас открою тебе такой секрет, что ты, может, после этого со мной и разговаривать не станешь...

— Ну, Дементий, ты меня сегодня...

— Удивляю? Может, может быть. Помнишь, в саду... когда я хотел было выпить в саду с тобой?

— А, это когда ты цветочки водкой полил?..

— Да, именно тогда, Сипов был уверен, что мы с тобой за галстук заложили. Поди докажи ему. Да дело не в этом. В другом дело, хотя Сипов потом, как тебе известно, здорово сыграл на сем сугубо «достоверном» факте. А дело в том, что я в тот день обнаружил маленький, крохотный кусочек металла. Отвалился кусочек, деталька отвалилась — вальчик кулачковый. Оказывается, масло было нечистым. С песком, с песочком масло оказалось. Это я обнаружил, когда промывал насос.

Родион даже привстал:

— Постой, ты про мой станок, что ли?

— А про что же, мил человек! Конечно, про твой станок, от которого тебя отстранили! Вот ты уже сколько переживаешь?

— Подожди, Дементий, ты, пожалуйста, по порядку. Я что-то ничего не пойму.

— Масло в твой станок было залито нечистым. С песком, понимаешь? Обнаружил я это после доклада комиссии. Конечно, я должен был немедленно доложить, отыскать виновного! И тогда тебе станок немедленно вернули бы, сняли бы всехдохлых кошек, которых на тебя навешали.

— Ну и что же ты не доложил?

Дементий широко развел руками:

— Вот-вот. Догадка-то у меня появилась, а доказательств никаких. Дай, думаю, еще посоображаю, факты сопоставлю. А время шло... А тут еще как вспомню, что Сипов нас застукал с бутылкой, так и опустятся руки. И другая поговорочка приходит на ум: поди докажи, что ты не верблюд...

— И все-таки надо, надо доказывать, что ты человек, — с невольным отчуждением отозвался Родион. — Но песок... Песок в масле... Тыфу, черт, будто на зубах он у меня хрустит... Откуда он в масле взялся?

— Бак с маслом знаешь? Кран внизу. Отвинтили кран, налили масла, а потом его в станок... — Дементий склонил голову над столом, добавил таинственно: — А на дне бака... бракованные детали Агафончика. А до бака он их в противопожарный ящик с песком — так сказать, перевалочная база... Вот какая она, цепочка...

Родион, облокотясь о стол, долго тер пальцами лоб.

— Да, история, — наконец сказал он. — А знаешь, я догадывался. Но как говорят, не пойман — не вор. А взяться за дело, докопаться, доказать — не хватило характера. И выходит, что бездействовал на свою голову. Но дело не в этом, пусть даже это был бы не мой станок.

Дементий вскинул руку, указывая на Родиона пальцем.

— Вот, вот оно! И у тебя тоже! Ох, смотри, Родион. Не делай в жизни больше ни одного шага по этой дорожке! Спокойствия ты себе этим не обеспечишь. В хате с краю нет спокойствия. Все равно жизнь заставит рано или поздно мучиться! Даже если бы и не твой станок... Ты прав. Важно то, что песок проклятый завелся. Я уже не о натуральном. Я о песке в душе Агафончика, а там, глядишь, и в твоей душе. Вот это противно и даже преступно.

Дементий выдернул руку из кармана пальто.

— На. На память возьми. Не знать бы таких ремонтов...

Небольшая, шероховатая, с отколотым основанием деталька перешла к Родиону. Сквозь хмель настойчиво и пытливо смотрели серые глаза Дементия, пока разглядывал и повертывал Родион детальку.

— Не понимаю... — произнес он, недоумевая и удивляясь еще сильнее.

— Что ж тут понимать, молодо-зелено. Нашел, когда масло спустил. Кулачковый валик — это в масляном насосе.

— Есть, кажется...

— Не кажется, а точно! — не терпел Дементий, если не знал кто станка. — Он-то и полетел. Режима не вынес. Только не думай, что я это самое... — вертел он у виска пальцами.

— Да ты что?

Родион молчаливо слушал. Казалось, не пили. Голова вмиг стала ясной. Дементий не унимался:

— Я, быть может, хочу порой больше твоего, чтоб во-круг забуранило, взбурлило, чтоб, как в симфонии — тихо, тонюсенько, а потом ка-а-ак дернет!

Молчал Родион, продолжал Дементий:

— Существует один, утвердившийся давно принцип, некая мода. Пришел человек руководить на новое место, сразу же переманивает к себе тех, с кем он прежде работал. Был директор в другом месте. Вдруг — перевели к нам. За ним — пришел Сипов. Тот в свою очередь привел Агафончика. При такой поруке обеспечен покой. Всякая сосна своему бору шумит. Уж тут не попрешь особо. Думаешь, не знал я о сверхплановых сиповских деталях? Знал как член завкома. И термитчики знали, получая одновременно за вредность и за перевыполнение. Знали и побаивались, вдруг я скажу? А я не сказал.

— Потому что пил с ними.

— Это ты брось!.. Пил по дружбе, а не по корысти. Кстати, бутылка та была ихняя — за ремонт конвейера. За время знакомства их ничего подобного с Дементием не случилось. Никогда еще не был таким он. Не скоро, видать, уймется. Памятно и надолго сорвался.

Из-за столов, справа от входа, на шум к ним подошел Горликов:

— Здравствуй, Дементий, — с какой-то усталой раздумчивостью сказал Горликов. — Здравствуй, Родион. Не перебил ли я вам беседу?

— Нет, Алексеич, — с глубоким вздохом облегчения ответил Дементий. — Ты пришел в самый раз. Понимаешь, угадал. Я честно, без подвоха. Поговорить нам, брат, надо, серьезно поговорить.

— Давно пора, Дементий. Хорошо бы не здесь.

— Да, да, не здесь. А хочешь, поедем ко мне?

— Что ж, поедем. Я только на полчаса покину вас. С директором сейчас виделся. — Глянул на часы. — Договорились через пять минут встретиться внизу. Хотя поздно уж...

— Нет, не поздно! Мое сердце говорит — не поздно. А точнее сердца ничто мне времени не подскажет. Ничего нет точнее сердца!

— Проводи его, Родион, — кивнул Горликов.

Вдвоем с Дементием вышли.

Фонари, словно бы ощупью, освещали улицу. Зима началась настоящей метелью. Разгульно носилась метель вдоль домов, лепила в лицо, взметала белой полой. Ни ав-

тобусов, ни троллейбусов вблизи. Удобней было отправить Дементия на такси. За углом находилась стоянка.

Насквозь продувало, а голове Родиона все равно жарко... Машины не было. Неподалеку прохаживался постовой. Дементий взял Родиона под руку и ходил взад-вперед, чтобы не мерзнуть. Стали на ветру, покуривая, и двое подростков.

— В тебе я узнал, Родион, себя, но того, который должен был сделать что-то, да не успел — МОЛОДОСТЬ ЖДАТЬ НЕ СТАЛА!.. Как не ждет опоздавших поезд, так и молодость: никогда, поверь, ждать не будет. Самую малость задержится, и пошла, понеслась себе дальше.

— Ты много работал, Дементий. Ты долго работал. Так долго, так много в завкоме был, что стал бояться. И знаешь почему?

— Ну скажи.

— Ты привык, ты боялся не попасть туда. Эта-то гирька и оборвалась теперь у тебя. Вот и все, что хотел я сказать.

— Правда. Но лишь отчасти.

Приближаясь, мигнул зеленый глазок машины, и Родион с Дементием поспешили к колонке в шашечках.

— Мы первые! — направились подростки к машине.

Однако негодовать Родиону с Дементием не пришлось. Постовой оказался рядом. Махнул, приглашая садиться.

— Лишнего я наговорил сегодня, — оправдывался Дементий.

— Ничего, ничего, — утешал Родион.

Назвав адрес, Родион договорился с шофером. Однако сесть в машину Дементий не торопился, продолжал рассуждать и на улице. Таксист в нетерпении просигналил. Сквозь опущенное стекло в машину несло снегом.

— Вы что, закаляться вздумали? — проворчал он.

— Я, брат, давно потрескался от закалки, — заметил Дементий. Водитель просигналил вторично. Родион еще раз назвал адрес. Втолкнули продолжавшего говорить Дементия.

— Трогай! — сказал тот, садясь и подбирая пальто.

Машина сразу же растворилась, пропала в густой снежной завороти. Ветер трепал по краям крыш поземку. Заснеженные, засыпанные вдоль улиц деревья походили на развешанные кружева, которыми махал ветер. Хорошо, что подвернулась машина. Дементий был в летних туфлях, и лишь Родион знал, что ноги у него обгорелые.

Брел Родион к буфету один.

Казалось, мела не метель, а шумел неподалеку где-то прибой, с волн которого срывал ветер пену и бросал за воротник хлопьями. И хлопья охлаждали, отрезвляли распаленную голову. Ветер лепил упрямо. И так же упрямо хотелось идти навстречу метели.

На пороге ждал Горликов.

— Проводил?

— Проводил.

— Посидим. Долго же вы расставались.

— Машин не было,— сказал Родион, не зная зачем.

За столиком — никого. Пил Горликов мало. Больше о чем-то устало думал, слегка покраснев лицом. Рядом с ним и сам кажешься забывшимся и отрешенным. Но Горликов заговорил, как если бы разговор был только что прерван:

— Через два дня уходить...

— Извините. Я слегка приложусь. Что-то голова трещит,— сказал Родион.

— Пожалуйста. Только почему слегка? Давайте выпьем как полагается. Мы ведь мужчины?

— Вот уж точно — без пол-литра не разберешься,— проговорил Родион, улыбаясь.— А вам куда уходить?

— Как куда? На пенсию. Отдыхать.

Одет был Горликов во все вязаное. Серый домашний джемпер, поверх кофта вязаная, нитяная, и будто бы сам человек — весь из петель и ниток. В словах нет-нет и блеснет мысль-рыбешка, но чтобы рыбешку за улов посчитать, приходилось долго и терпеливо выслушивать Горликова, словно бы вязавшего себе новую кофту.

— Через два дня уходить.

— Что ж, будете сидеть теперь в сквере на свежем воздухе,— рассудил Родион.— Играть в домино, разбирать в домовом комитете дела, стоять в очереди за вечерней газетой...

— Нет.— Горликов стукнул по столу ладонью.— Нет. Кто научил тебя так понимать мою жизнь? Кто?

— Просто я это видел, каждый день видел, проходя с работы и на работу.

— Видел?

— Да. Видел.

Родиону уже не хотелось больше ни о чем говорить. А голос Горликова то слабел, то крепчал, как волна прием-

ника, голос, схожий с дождем по осени, под который с печалью думается.

Выдержка... Вместе с усталостью и раздумьями покидала она Родиона все чаще. Боясь расстаться с ней окончательно, он гнал в эту минуту ненужное и слушал Горликова.

Однако продолжалось это недолго. Горликов заговорил, зачистил, и Родиона словно бы подменили — мигом настояжился.

— Я, парень, не строил Магнитки и Днепрогэса, но жил и работал с людьми всю жизнь. Переделал, переточил, переплавил бог знает сколько. Я сотворяю из металла нечто пригодное, и этот процесс, в свою очередь, делает из меня пригодного человека, из тебя, из других — из всех и каждого. Если хочешь знать, это расход сил зовется жизнью. Он не каждому по плечу. Далеко не каждому!..

— А как же те?

— Кто?

— Кому не по плечу.

— Живут по-своему. Ну как-то иначе. По-другому пытаются найти себя. Где у человека не хватает в своем деле ума либо таланта, он начинает хитрить. И будь здоров хитрит. Тут два типа есть. Одни — прямые, другие — скрытые, утонченные, живущие на полулжи, полуправде. И мы создаем им отчасти условия. Ведь как бывает. Вот слушай. Купил я однажды на рынке полбанки меда. В саду на ночь поставил банку в блюдце с водой. Муравьи утром сновали, друг на дружку карабкались, но вода не пускала их к сладкому. На второй день кто-то по неосторожности положил на блюдце чайную ложку, да так, что стала та небольшим мостком к банке. И что же, этого мостка было уже достаточно. У банки сразу задвигались два плотных потока. Один к меду, другой — обратно...

Для меня, Родион, люди так и делятся на земле. Есть люди — пчелы, заполняющие мир сотами. И есть — умудряющиеся выдавливать из всего плохое, даже из сот. И вот еще что: не давай себя каждому перемалывать.

— Переламывать?

— Нет, именно перемалывать. Понятно? Объясню. Не все на заводе я был. В молодости на одном комбинате, помню, дробили и терли мы сплавленный по реке лес, выжидали щелочи, спирт, словом, все соки...

— Спасибо, — перебил Родион. — Понимаю. Только я не боялся сроду любой работы.

— Любой?

— Любой!

— Вот это и плохо, если человек годен на любую работу. Я решил, Родион, весной уехать.

— Уехать... Куда?

— В село. В деревню. В глухую деревню. Пенсии мне везде сполна хватит. А общественная работа моя там будет нужнее. Заодно и сам еще кое-чему поучусь у людей. На земле поработаю. Мне что? Мне доживать. Но и дожить надо со смыслом!..

Если же хочешь знать, директор был прав, переводя тебя к нам. И Сипов был прав. Обе стороны были правы. Ты подумай как-нибудь наедине. Подумай. И ты прав. Все здесь правы. Люди ближе и ближе к доступному. Ну а потом, что дальше? Существует предел всему. У тебя нет квартиры? Да, нет. Но однажды все это будет. И как поведешь ты себя потом, после этого? Успокоение — это не путь к счастью.

К столику подошел директор:

— Алексей Алексеевич, а не засиделся ли ты? Нам вроде бы в одну сторону. Поедем-ка?!

— Поедем.

Горликов как-то охотно и разом поднялся и направился с директором к выходу. Во дворе он остановился:

— Петр Сергеевич, зайдем к тебе. А то ведь скоро на пенсию уйду, так и не поговорим с тобой по душам.

— Что ж, в конце года человеку положено говорить о прожитом.

— А в конце жизни — и подавно.

Они прошли сквозь снежную улицу к заводууправлению, поднялись в директорский кабинет. Уселись.

— Ты знаешь, что мне не все равно, кто после меня останется,— начал Горликов.

— Надо думать.

— Именно думать! Иначе...

— Что иначе?

— Даже такие старательные и правдивые натуры, как ты — потеряют авторитет.

— Это почему же?

— Опираясь на Сиповых. Заручаясь ими.

— Это первое?

— Да. Это первое.

— Перестаньте, Алексей Алексеевич! Сипов да Сипов! Он работник, понимаете, раа-абот-ник!

Горликов положил осторожно свою руку поверх директорской:

— Извини, но это толкач! Прежде всего.

— Допустим. Нужны и такие.

— Я не корю тебя, Петр Сергеевич пойми! Я делюсь как товарищ нелегким собственным опытом. И горькой, я бы сказал, полынной этакой мудростью. Хочу, чтоб ее горечь хотя бы немножко коснулась бы и тебя. Что с того, что ты директор, если за цифрами не разглядишь душу. К молодым тянись, к их помыслам. Это есть в тебе. Хороших парней набрал. Но и без толкачей не обошелся. Ах, да что говорить!..

Горликов поднес к глазам руку.

Лицо директора посуровело, отяжелело, осунулось.

— Верно ты говоришь,— вздохнул он.— Только сказал поздновато. Не встретился мне такой человек раньше.

— К молодежи, к ней ближе. Ты это умеешь. Давай ей ход, верь в нее, чтоб и она это чувствовала. Сразу легче пойдет все. Тогда и толкачи тебе не понадобятся.

— Ты хочешь, чтобы я с ним расстался? С Сиповым?

— Я хочу, чтобы вы расстались, если так громко можно выразиться, с сиповщиной. Никак не пойму... Ведь хорошо, замечательно, что ты, когда пошел к нам,— молодых рабочих за собой позвал. Хороших парней набрал, бывших солдат, в армии прошли закалку. Ну а Сипов, зачем Сипов за тобой уволокся? Что это за хвост?

— Да, хвост, это верно.— Директор подошел к окну, долго смотрел в темноту.— Надо рубить хвост. Атавизмом это называется. Ты не думай, я кое-что понял, не без твоей науки, не без науки рабочих. Я специально поставил для себя психологическую задачу: разберись, почему рабочие невзлюбили Сипова. В сущности, не такая и трудная задача. Гораздо сложнее понять, за что я его ценил? Хороший толкач? Умеет, особенно в дни штурмовщины, добиться своего? Да, для штурмовщины он был подходящий человек, и то не совсем. Там ведь тоже душа нужна. А речь идет о том, чтобы штурмовщину изжить, а душу оставить. Вот почему Сипов должен уйти, а ты остаться...

— Что ж, Петр Сергеевич, я подумаю. А сейчас, если разрешишь, я пойду. Мне сегодня еще предстоит разговор с одним очень нужным мне человеком. С бывшим другом...

— С бывшим?

— Да.

— Вернуть хочешь?

— Сделаю все возможное.

— Удачи тебе, Алексей Алексеевич. А Сипов мне далеко не друг...

— Важно понять, что он вам в чем-то был врагом.

Директор подошел к Горликову, поправил его галстук.

— За прямоту спасибо, Алексей Алексеевич. Большое спасибо.

Они сидели допоздна в огромном директорском кабинете. Было грустно и тяжело от понимания друг друга.

Двоем они и пошли домой по предновогодней метели.

\* \* \*

Родион был один. Мог все осмыслить за этот вечер, взвесить. Пришли тишина и сумерки. Думалось о Штареве, Горликове... Великий Чехов изрек: «Счастья нет и не может быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном...»

Больше счастливых — больше доброты в мире.

Быстро, однако, запомнилось это вычитанное. Но несмотря на это, никогда не давало оно прямого ответа, точного заключения — в чем были счастье, цель, радость. Оно просто заставляло об этом думать. Одни счастье ловят, другие — всю жизнь идут к нему. И нет конца пути этому. Может, в том и состоит оно, счастье, чтобы всю жизнь идти, всю жизнь искать его.

Пора было вставать, выходить на улицу, звонить Лариске. Оставаться в буфете не имело смысла. Вокруг нарастали шум и галдеж.

Несколько минут всего удалось Родиону посидеть одному. Легонько пошатываясь и извиняясь, к столику подошел, а потом и присел Агафончик.

— Не выпьешь? — спросил он.

— Не выпью.

— Со мной не хочешь?

— Вообще не хочу.

— Сложное, Родион, у тебя было лето. Ты прости меня. Прости, Родион!..

Родион опешил. Не знал, что и говорить: Агафончик просил прощения — за что?

— Не переживай за меня, — сказал он. — Не переживай! Считай, залетела горячая стружка. Ну обожгла, рубец оставила. И теперь ее можно вытряхнуть. Я ее, Агафонов, если хочешь знать, вытряхнул. Давно вытряхнул.

— Родион, зови меня просто.

— Как?

— Сергей. Просто Сергей.

— Ладно, Серега.

— Знаешь, давно хотел признаться тебе. Еще в раздевалке. Помнишь то утро, когда говорили о футболе. Я не думал, что Сипов пойдет к директору. Я одному ему сказал. И все. И больше никому. Разве знал я, что так получится. А Сипов — взял и сказал директору...

— Да о чем ты?

— Я видел, как брали стаканы. Видел, куда пошли. И сказал Сипову. Он все. Дурак я, ребята, дурак! Это Сипов. Он предупреждал меня и о каждом рейде по цеху. И я успевал убрать брак. Носил в пожарный ящик с песком, а когда утихало — в бак большой опускал. Думал, навсегда хороню. Это мои были детали. Их позже нашли в цистерне. Сказали Сипову. Но он замял дело. Я знал, точно знал, что ты догадываешься. Боялся, что ты пойдешь и расскажешь. А ты не сказал, спасибо тебе.— Агафончик всхлипнул.— За квартиру спасибо. Пойдем к нам прямо сейчас?!

— Лучше на новоселье. Или уже было?

— Будет. Обязательно приходи. Дурак, ох дурак же я был. Привык к этому Сипову. И жизни другой не знал. И не умел оставаться один в ней, куда Сипов, туда и я... Все делал как ему лучше. Я ребятам только что рассказал. Простили. И ты прости.

— Желаю тебе, Серега, добра так же, как и желал. Знаешь, что тебе мешало получить квартиру?

— Ну?

— То, что ты уходил, увольнялся часто.

— Спасибо. Может, и так. А правда, Родион, что после каждой болезни внутри человека остаются рубчики? Это мне жена говорила.

Родион рассмеялся:

— Если бы видел,— сказал бы! Пойду я. Ждут. Счастливо оставаться!

— А ты знаешь, почему я признался тебе? — спросил торопливо Агафончик, наклоняясь поближе к лицу Родиона.— Уж больно честный ты парень, светишься как-то. Хорошо светишься. Гонору нет, зато честь есть, честь все в тебе чувствуют. Ну и я тоже почувствовал... Не думай, что я уж такой... Агафончик, и все. Я хочу быть Сергеем Александровичем Агафоновым.

— Если хочешь, значит, будешь,— уже примирительно сказал Родион.— Все. Устал. Пойду домой.

На улице падало, кружило, мело и мело снегом.

Время от времени Родион опускал в карман пиджака руку, шарил там, комкая и перебирая рубли и монеты, пока не находил, не нащупывал среди них детальку — небольшой кусочек металла с отколотым основанием. Теперь-то он понимал, почему замялось дело с деталями. Агафончик мог бы сознаться. И тогда Сипову непоздоровилось бы.

Однажды Родион видел девчущку, пытавшуюся поймать в сачок мотылька. Не так ли и взрослые по-детски пытаются иногда поймать свое счастье. Каждый один раз в жизни ловит его подобно ребенку.

Сжимал в руке Родион детальку — до судорог, до хруста пальцев, пока металл не врезался, пока не становилось вдруг больно. Сама собой рука разжималась тогда и, не успев отойти, вновь сжимала ставший теплым обломок с отколотым основанием. Высокие дни... Сколько их было и сколько еще будет в жизни. Ни счастья, ни радости без них не бывать.

Он шел сейчас с обломком детали к телефонной будке. Шел сказать Лариске лишь несколько слов,— о том, что всегда надо откликаться на зов о помощи, всегда надо верить ему.

И все забыть, все оставить, пока слышится тебе этот зов.

# Короткие рассказы

## Красные пометки

Уходя, он так яростно, громко хлопнул дверью, что посыпалась штукатурка, а с ней и все, что было нажито, прочувствовано и как-то все же устроено...

Хорошо начинать жизнь сначала только в мечтаниях. Сама же она, реальная, движущаяся по своим, не всегда и известным тебе законам, может и не прислушаться к стуку одного человеческого сердца, и поступить даже наперекор ему.

На родине неторопливо и обстоятельно обходил он в этот раз городище: нетронутая густая трава, папоротник, иван-чай... Ровная же гладкая площадка с лужайкой представляла собой середину городища. Именно здесь, по преданию, некогда стояла небольшая церковь, которая будто бы в момент богослужения провалилась «сквозь землю», полная молящегося народу. И еще долго вроде бы слышалось из-под земли глухое церковное пение. Жившая в деревне бабка Филена, по рассказам односельчан, бегала девчонкой сюда, чтобы лечь с другими ребятишками на землю и чутко, с нетерпением вслушиваться: что там, под землею, по ту сторону света. По словам самой бабки, «не единожды» слыхивала она подземные голоса, крестясь после и ужасаясь своим воспоминаниям.

Церковная легенда волновала Григория Одинцова, и почудилось ему, стоящему на краю городища, что и в его собственной жизни оборвалось, рухнуло нечто серьезное, способное ровно бы на молитву, гревшее прежде душу и укреплявшее ее на радость и оптимизм. Что-то провалилось теперь в самой же душе, опрокинулось в невозвратное, навсегда будто ушедшее.

Кончилась между ним и Алиной любовь, и он перестал думать о жене как о единственной и прекрасной женщине. «Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье, и должен же когда-нибудь проснуться человек», — вспомнились грустноватые тютчевские прозрения. Но здесь, на городище,

думалось только о возвышенном, четко разделявшем суетный быт и вечную философию сошедшего с лица земли прошлого, оплодотворенного зовом предков и будущего.

Ушло, казалось, чувство к Алине, и нет ни его продолжения, ни отражения, ни обновления... И что делать с потраченными годами и что — с будущими, отведенными для осознания поступков и полноты жизни?

Перед глазами на фоне реки и огромной осенней родины возникло внезапно лицо Алины, как бы молчаливым вопрошавшей: «Ну что, брат, как будем жить дальше?» Осень отгорала, лес заметно темнел, река гляделась скучной, как и прошлая их с Алиной жизнь. Вдобавок зарядил затяжной дождь, совсем стало невмоготу, и Одинцов, вместо дома, вдруг направился в местную сельскую библиотеку, куда постоянно заходил еще будучи школьником. Библиотека в добротном здании сельсовета поманила его и сейчас.

Сиротливо стоял с краю полки голубоватый пятитомник Бунина, изданный когда еще Одинцов был юношей. Он взял в руки последний том, прочел алфавитный указатель — и целое море благородства, изящества, человеческого обаяния нахлынуло на него: последнее свидание, последняя осень, редкие встречи, и ветер, и дождь, и мгла, как были они сейчас созвучны его душе, ушедшего, убежавшего от жены человека!.. Хотелось скорее остаться наедине с книгой, и он заторопился домой.

Поставил на электрическую плитку чайник, сел за небольшой с вытершейся краской стол, за которым когда-то делал уроки, и принялся за чтение.

Воспоминания Бунина о Льве Николаевиче Толстом...

На полях книги — пометки-галочки, проставленные хорошо отточенным красным карандашом и заметно выцветшие от времени. Сколько лет им? Судя по всему, неведомый читатель находил для себя в воспоминаниях нечто родное, созвучное, захватившее его мысль и воображение. Иначе как могла бы рука потянуться к карандашу?

И еще подумалось: откуда бы в его деревне взяться такому вдумчивому, взыскательному читателю?.. Пометены красным карандашом подчеркивали наиболее важное, как раз то, что в последние дни и волновало Одинцова.

Например, отметка против суждения Бунина о непреходящем детстве в каждом воспитывающем себя человеке: «Вообще, то прекрасное, что я встречал в детстве, отрочестве, молодости, кажется, никогда не удивляло ме-

ня — напротив, у меня было такое чувство, точно узнал его уже давно, так что мне оставалось только радоваться встрече с ним». Одинцову показалось понятным и близким это состояние непреходящей духовной наполненности.

Неведомый читатель задумывался о бессмертности прекрасного, а как понять красоту, если никого не любить, если думать, что все женщины одинаково далеки и безразличны? Красная галочка как бы летела и на сокровенную мысль Толстого: «Смерти нету! Смерти нету!» Но более всего взволновала Одинцова отметина на странице, где шел рассказ о встрече двух великих писателей, когда Толстой спрашивал еще молодого Бунина:

«— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда».

Нечто очень далекое и знакомое мелькнуло разом в сознании после этих слов, будто стоял теперь Одинцов перед человеком, с которым когда-то встречался, и вдруг не может никак признать... Красные отметины зарыбили в глазах, сердце же всколыхнулось незнакомой радостью, и Одинцов на весь дом воскликнул:

— Бог ты мой! Да ведь это мои пометки, мои школьные царапины!

Красные пометины на полях бунинской книги оставил в юности он, обдумывающий бытие! Уже тогда интересовал его смысл жизни, коренные ее вопросы. Вспомнилось и то, как поразился он в ранней молодости толстовской мысли о том, что свою единственную никогда нельзя оставлять одну. «С любимыми не расставайтесь...» — неожиданно мелькнула в уме строчка из другого, советского уже писателя, возможно пришедшая от мысли Толстого.

Вот она, непреходящая истина, а стало быть, и красота. Мог ли Одинцов сейчас честно ответить себе: все ли сделал по совести, чтобы не оставлять Алину, не спасовал ли он, сегодняшний отпускник, перед юностью и началом молодости, когда в руках-то ничего и не было, кроме этой вот книги и красного карандаша?

Еще раз прочел он воспоминания и заново как бы прошел дорогой своего далекого духовного поиска, еще раз представил себя — того, чистого, совестливого, мечтающего о гармонии жизни, ждущего великой всеобъемлющей любви, на которую был способен.

Куда же все подевалось? Почему исчезло во времени, стерлось бытом и суетой, мелочными уколами жизненных

обстоятельств? Огромная машина времени будто подмяла его, сделала раздражительным, невнятным, чрезмерно расудочным.

Юношей в своем духовном поиске он ушел дальше, значительно дальше, нежели теперь, не сумевший подняться над обыкновенной семейной неприятностью...

Красные пометины своими живыми, искренними голосами разбудили его и силой крепнущих воспоминаний, укоров и прозрений подтолкнули к мысли о том, что жизнь и счастье его, как и определяющее «место под солнцем», в основном зависят от его с Алиной умения жить и любить. И в этом умении, в этом искусстве непреходяща и его роль.

За своим школьным давним столом Одинцов снова и снова перечитывал томик, ставя невольно новые галочки там, где открывалось близкое и волнующее.

И словно бы тоже участвовал в разговоре двух великих писателей.

## У моря

Между морем и домом темнела полоса голых деревьев, сквозь которую море казалось вздыбившимся выше берега. Морская гладь на горизонте напоминала как бы сизовато-лиловую тучу — мрачную, грозную.

В тот раз весна и на юге выдалась на редкость холодная и запоздалая. К вечеру, что ни день, крепчал ветер, лил дождь, а к утру появлялся иной раз и снег. Древний Карадаг, освещенный обычно солнцем, выглядел чаще всего угрюмо и неприветливо. Солнце к нему пробивалось поздно и как-то с трудом. Постоянно штормило, и суда почти не плавали, но в любой день летали птицы: одни — к прибрежным гнездовьям, другие — в глубь суши.

В одиночку и парами летали к отвесным расщелинам Карадага чайки, неподвижно распластав на лету крылья. Скалы были для них надежным пристанищем.

И в непогоду дышалось и жилось в Крыму привольнее, нежели в напоминавшей дыхание моря многоликой, шумной Москве. Под окнами комнаты, вопреки всему, белой кипенью напористо цвела, будто не желала уступать непогоде свое весеннее время, алыча.

Земля в саду также день ото дня покрывалась молодой густой зеленью, и в растущей рядом с балконом тую воровбу суетливо приводили себя после зимы в порядок.

Сменялись, бежали дни, а пересилить холод и непогоду солнцу не удавалось. Море бесилось, прибором вставал, словно бы взмахивал белыми полотнищами.

Временами небо все же светлело, и тогда появлялась надежда на ясную, устойчивую погоду. Однако дождь вскоре снова стучал водяными горошинами о крышу дома, возились в кипарисах скворцы, встряхивая с ветвей дождевые капли и оживляя песней занепогодивший день.

Как-то под самый вечер в саду замелькал крупный пушистый снег. Вначале не верилось: казалось, падают под ветреным порывом лепестки отцветших деревьев. Но, приглядевшись, можно было понять, что идет снег, и такой плотный и крупный, какой доводилось видеть лишь у себя дома, на Севере.

То косо, то прямо забивал снег холодным пухом траву, садовые заросли, ветви деревьев, кустарники. Крепкий ветер наискосок погнал в залив волны, и море заухало, завздыхало и, казалось, приблизилось к самому дому.

Вечером после прогулки я зажег в комнате свет и приоткрыл балконную дверь, впуская свежий солоноватый воздух. К моему удивлению, из метельной темноты ненастного вечера в комнату мгновенно метнулся трепещущий темный комочек, вроде бы брошенный кем-то нарочно, который, однако же, не упал.

По трепету крыльев и белой подгрудке я узнал ласточку, быть может первую, прилетевшую в эту весну из-за моря. Она заметалась под потолком, как бы изучая жилище, и я был уверен, что она сразу же вылетит в дверь обратно. Однако ласточка опустилась внезапно на карниз со шторой.

В смятении я стоял посреди комнаты, не зная, как держаться при такой необычной и странной гостье. По старому поверью, помнил: залетевшие в дом птицы приносят недоброе...

Между тем ласточка продолжала сидеть на карнизе, сжавшись, притихнув, и я отчетливо снизу видел, как медленно закрывались, словно у засыпающего ребенка, ее усталые веки.

И вопреки примете вдруг захотелось, чтобы ласточка в моей комнате оставалась дольше: человек и птица не-

ожиданно оказались наедине друг с другом. Я приехал на юг за теплом, птица стремилась из далеких краев на родину.

Первый раз в жизни в моей комнате ночевала ласточка: какое счастье или беду сулила?

Я погасил свет и тихонько лег. Близко шумело море. Волны ворошили гальку и бились о набережную, ряд за рядом катились на свет фонарей. Звякали камешками о металлические столбы на пляже, крышу над которыми за зиму растрясали шторма и ветры. Ветер и морской шум убаюкивали, и я уснул.

Ночью снег сменился дождем, часто барабанившим по жестяной кровле. С рассветом дождь полился затажно, отчего не хотелось вставать и идти на завтрак. В саду под окнами тем не менее радостно пели птицы. Наверное слышала их и ласточка. И тоже не просыпалась, как бы боясь потревожить хозяина.

Я осторожно повернул к ней голову. Ласточка неподвижно сидела на прежнем месте.

На цыпочках я пошел открывать балконную дверь. Ласточка однако не шелохнулась, никак не отреагировала на мои шаги. Как бы, чего доброго, не умерла за ночь, ведь странно, чтобы не слыхала шорохов столь чуткая птица... Но тогда она, должно бы, упала, а не сидела бы под потолком на карнизе.

На смену этой пугающей мысли пришла другая: не отдыхает ли птица после изнурительного полета над морем, не отогревается ли в освещенной и теплой на холодном берегу комнате, чтобы держать путь дальше?

Знать, в неблизких от Крыма краях ждал ее дом, где-нибудь на Смоленщине, в Белоруссии, на Вологодчине — на чердаке деревенского дома в полумраке спит она гнездо либо обновит старое и проведет в нем мимолетное росное лето.

Ради этой минуты и преодолела она море, обрадовалась родному берегу, впрорхнула в первый же дом.

Я тотчас вообразил майский денек, первотравные у деревенских домов лужайки, день выгона в поле стада. И вдруг над просохшей дорогой, трепеща крыльями, щелбнув, мелькнула первая ласточка.

«Прилетела, певунья!» — скажут, любуясь ею, женщины, провожающие в стадо коров. И у каждой хозяйки после суровой долгой зимы затеплится надежда на хорошее лето, на урожай.

И еще подумалось, что в краях, откуда ласточка прилетела, вероятно, жили добрые люди и она привыкла не бояться залетать к ним в дом.

На перекладине послышался легкий шорох.

Втянутая прежде головка неожиданно зашевелилась, и ласточка потянулась, повела поочередно то одним, то другим крылом, затем прошелестела кончиком хвоста по белой стене, проверяя оперенье после долгой дороги над морем. Это было нечто вроде зарядки, вслед за которой ласточка взялась поправлять перья.

После прихорашивания она внимательно оглядела жилище, покрутила головкой, изучающе и удивленно повела бу-синками глаз по сторонам.

Не знаю, понравилась ли ей моя комната вблизи моря, только ласточка вдруг сорвалась с карниза и устремилась, вскрикнув, к оконному стеклу в прихожей.

И я услышал, как клювом ударилась она о стекло. Растерянный и смятенный, я рванулся в прихожую. Сердце сжала щемящая тревога, что могло быть глупее и хуже, чем погибнуть в комнате на берегу моря?

Оконные стекла в прихожей выдержали ее удар. Под потолком трепыхал вновь темный комочек. Облетев несколько раз комнату, ласточка вырвалась в балконную дверь наружу, вскрикнула в полете от радости. Она исчезла наподобие пушинки в ясный день лета.

Шли дни, и за всю весну не было у меня большей радости, как радость от ночевавшей по дороге на родину ласточки.

И пока жил я у моря, всегда держал балконную дверь открытой — вдруг да залетит случайно изнемогшая птица?

Стаями и в одиночку пролетали они над приморским поселком, спешили к своим гнездовьям и гнездам, а я ждал, не закрывал стеклянной балконной двери, не гасил света, дрожал под одеялом...

Но ни одна из ласточек ко мне больше не залетела.

За полосой прибрежных деревьев стонуше билось о берег море, пленило и полнило весеннюю ночь звучными всплесками.

Согреваясь, засыпал я незаметно под шумящий прибой и думал часто о ласточках, садящихся на мачты кораблей, перелетая море. А то воображал их на проводах, одной большой стаей, перед тем как покинуть гнезда.

«Прощай, матушка-Русь! К теплу потянусь!» — вспоминалась мне кстати и некстати пословица.

И в прощальной птичьей многоголосице был голос и моей ночной крымской гостьи...

И не однажды думалось: какую же весть приносила ты из-за моря, что сулила мне, первая в весну ласточка?

В ответ с монотонной привычностью шумело вечернее море. Волны белели и бились, листали в ветреной темени вечную книгу, читать которую нам суждено всю жизнь.

## Два звука

Я лежал на прогретом у моря песке и, не поднимая головы, прислушивался к звукам. Их было два. Один я хорошо различал и знал, отчего и как он возникает... Второй же казался мне зыбким, щемяще-сладостным малиновым чудом, и я боялся шевельнуться, боялся потревожить его или рассеять. Я явственно слышал звук колокольцев, четко улавливал их бречание. Они словно бы возникали справа и слева, внезапной дробью тревожили душу. И то тянулась, то замирала, затаивалась на их звук душа, не веря, что в южной осени мглисто рассыпается невидимый чей-то звон. Чей и откуда он? Чья упряжка, какой ездок с колокольцами пронесится близ меня по местной дороге?

И как возник в наши дни этот забавный звук, когда и в помине-то нет никаких троек, тарантасов, шарабанов, основательно вытесненных упорным автомобильным наплывом?!

Колокольцы меж тем нет-нет да и отзывались чарующим тихим стоном. Но лишь тогда, когда не глушил, не перекрывал их второй, тугой и более сильный звук, как-то сразу же мною распознанный.

Он был привычен — знакомый звук самолета.

Затаенно лежал я, пытаюсь вникнуть и разобраться в двух озвученных, непохожих друг на друга мгновениях.

Звук колокольцев, размышлял я, древен, почти забыт, быть может, оттого и непривычен. Звук же пропеллера

известен каждому и, пожалуй, где-то даже обыден. Я ловлю одновременно оба звука, и кажется при этом, будто они соперничают друг с другом.

Первым я ищу вокруг себя тоненький, паутинный голосок колокольчика. Оглядываю внимательно местность. И не-вдалеке вижу: подросток запускает с футбольного поля маленькую модель самолета. Ее моторчик нарастающе оглашает роскошь осеннего дня, врезается стремглав в октябрьскую голубизну.

Модель, кувыркаясь, делает виражи. И как только иссякает в самодельном моторчике запас бензина, приземляется точно, легко и быстро. Гибкий подросток тотчас бежит к ней. Он берет с земли созданное им творение и радостно несет к месту запуска. Наступают несколько минут благословенной врачующей тишины, в которой вновь возникает знакомое звяканье колокольцев.

Но в кратком затишье я успеваю теперь уловить, что звон доносится не со стороны дороги, как полагал я вначале, а от моря, от самой воды, от чего-то как бы понизу движущегося...

Я удивленно вглядываюсь в светло-желтую песчаную полосу. Видны рыбацкие удилища. На их-то лесах и висят маленькие колокольцы, позванивающие от трогаящей приманку рыбы. Малиновым звоном осыпают они осенний берег. Вот оно, древнее чудо, в памяти воскресившее исчезнувший звук. Наивно не догадаться об этом сразу!

А в душе — невысказанное благодарение рыбакам за их колокольцы, что пронесли близ тебя невидимого ездока да припомнили тютчевское: «Впросонок слышу я — и не могу вообразить такое сочетание, а слышу свист полозьев на снегу и ласточки веселой щебетанье».

## Содержание

Кольцевая дорога. Повесть . . . . .	3
<b>Рассказы</b>	
Яблоко из города . . . . .	75
Переполох . . . . .	88
Поезда . . . . .	96
В лесу . . . . .	108
Мартовский костер капсли . . . . .	119
Узелок матери . . . . .	129
Соловьи под дождем . . . . .	140
Шашка . . . . .	148
Трое из дальней . . . . .	159
Дым за деревней . . . . .	170
Старая скрипка . . . . .	177
Лодка . . . . .	183
Высокие дни. Повесть . . . . .	189
<b>Короткие рассказы</b>	
Красные пометки . . . . .	263
У моря . . . . .	266
Два звука . . . . .	270

### Геннадий Борисович Паценко

#### КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА Повести и рассказы

Редактор Л. Костина  
Художник В. Комаров  
Художественный редактор Г. Саленков  
Технический редактор Г. Бойцова  
Корректор И. Попова

ИБ № 2749.

Слано в набор 22.01.83. Подписано к печати 22.04.83. А06591. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 14,28. Усл. краск.-отт. 14,28. Уч. изд. л. 15,37. Тираж 30 000 экз. Заказ 40. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР  
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25